

Album

1880

Mamma Chapman



Николай Эдуардович Гейнце

Малюта Скуратов

Часть первая

Любовь опричника

I

На лобном месте

Был десятый час вечера 16 января 1569 года.

На дворе стояла непроглядная темень. Свинцовые тучи сплошь заволакивали небо и, казалось, низко-низко висели над главами монастырей и церковей московского кремля.

Шел частый мелкий снег, а порывы резкого ветра поднимали его с земли, не дав улечься, и с силой крутили в воздухе, готовые ослепить каждого смельчака, решившегося бы выглянуть в такую ночь за дверь своего дома. Подобного смельчака, впрочем, и не было: как кремль, так и местность, его окружающая, известная под именем Китай-города, были совершенно пустынные, и на первый взгляд можно было подумать, что находишься в совершенно безлюдном месте, и лишь слышавшийся отдаленный или, быть может, разносимый ветром лай собак давал понять, что кругом есть жилища живых, но спящих или притаившихся обывателей.

Необходимо заметить, что в то время, к которому относится наш правдивый рассказ, даже и в хорошую погоду Москва казалась безлюдной.

Не мудрено, что в поздний вечер и в такую адскую погоду город был похож на пустыню.

Белокаменная, каковую в то время она далеко не была, так как большинство теремов боярских были деревянные, подлый же народ — так назывались тогда простые, бедные люди — ютился в лачугах и хижинах, переживала в это время, вместе со всею Русью, тяжелые годы.

Царь и великий князь всея Руси Иоанн Васильевич покинул столицу и жил в Александровской слободе, окруженный «новым боярством», как гордо именовали себя приближенные государя — опричники, сподвижники его в пирах и покаянных молитвах, резко сменяющихся одни другими, и ревностные помощники в деле справедливой, по его мнению, расправы с «старым боярством».

Объятый ужасом при зрелище ежедневных казней, народ притаился и притих: каждый старался сплотиться в своей семье, укрыться от начальства, чтобы подчас неповинно не потерпеть в продолжающейся общей кровавой расправе. Никому не было ни до дел, ни до гульбищ.

Потому-то город и казался пустынным, начиная с восьми, много с девяти часов вечера, всюду уже тушили огни и ни одна живая душа не показывалась на улице.

Менее всего можно было ожидать встретить кого-нибудь в описываемый нами вечер 16 января, когда на дворе стояла такая погода, в которую, как говорится, хороший хозяин и собаки за ворота не выпустит.

Рассчитывая, вероятно, на это, но все же озираясь пугливо по сторонам и чутко прислушиваясь к едва слышному за разгулявшейся вьюгой, скрипу собственных шагов, со льда Москвы-реки поднимались три пешехода, одетые в черные охабни, в высоких меховых шапках на головах, глубоко надвинутых на самые глаза, так что лиц их, закрытых еще приподнятыми воротниками, различить не было возможности. По походке и фигурам можно было только заключить, что один из них, шедший порою впереди, был моложе двух остальных и казался их начальником или руководителем.

— Ну, уж и погодку Бог дал! — глухим голосом произнес один из пешеходов.

— Оно и лучше, по крайности безопаснее, — заметил другой.

— Тсс! — остановил молодой разговорившихся было своих спутников.

В этом сказанном им «тсс!» прозвучало нечто властное.

Незнакомцы наши, той же неторопливой, крадущейся походкой шли вдоль кремлевской стены, мимо собора Богоматери, по направлению к лобному месту.

Лобным местом называлась площадь, где казнили преступников, где они теряли головы (лоб); она находилась в Китай-городе, тотчас же за кремлевской стеной, между двух ворот московской твердыни — Никольскими и Спасскими. В настоящее время на этой площадке воздвигнут памятник князю Пожарскому и Кузьме Минину-Сухорукову.

В описываемую нами эпоху лобное место было днем самым оживленным в городе. Это место смерти более всего проявляло жизни, так как без казни не проходило ни одного дня, и приспособления к ней, в виде громадного эшафота, виселицы и костров, так и не убирались с площади, в ожидании новых и новых жертв человеческого правосудия и уголовной политики.

Смертной казнью наказывались: богохульники, еретики, соблазнитель к чужой вере, государственные изменники, делатели фальшивых бумаг и монет, убийцы и зажигатели, церковные тати, обыкновенные воры, попавшиеся в третий раз, и уличные грабители, пойманные во второй раз. Отсечение головы было уделом большинства преступников; немногие попадали на виселицу.

Костер служил для казни еретиков и зажигателей. Делателям фальшивых монет вливали в рот растопленный свинец. Муже- и женоубийцы зарывались по шею в землю.

Богатство могло спасти многих преступников от наказаний, но не спасало государственных изменников.

Малейшее подозрение было достаточным основанием для предания суду, то есть пытки, что было одно и то же.

Орудиями пытки были, обыкновенно, палки и кнут; кроме того, пытаемого жгли раскаленным железом, рвали раскаленными щипцами или, привязав к столбу, поворачивали на медленном огне.

Важнейших преступников за шесть недель до казни заключали в нетопленые темницы, а еретиков сжигали, после троекратного увещания к раскаянию.

Смертные приговоры над государственными преступниками, которые в то время назывались общим именем «изменников», исполнялись вместе с другими ворами и убийцами, в один и тот же день, на одной и той же плахе или виселице.

Преступников, казненных через повешение, оставляли на виселице до раннего утра следующего за казнью дня, и вид этих висящих тел, в белых саванах, казался для тогдашних исполнителей закона лучшим средством к обузданию злой человеческой воли, в силу господствовавшей тогда в законодательстве теории устрашения: «дабы другим не повадно было».

День 16 января 1569 года тоже не обошелся без казни, хотя при этом, по распоряжению самого царя, не было пролито крови, так как день этот был годовщиной венчания его на царство.

Всех четверых приговоренных повесили, и самая казнь была совершена не ранним утром, как было обыкновенно, а после поздней обедни, затянувшейся далеко за полдень по случаю торжественного дня.

Трупы казненных, колеблемые порывами ветра, мерно покачивались на виселице, когда к ней подошли наши, не побоявшиеся непогоды, путники.

Это страшное орудие казни и было, оказалось, целью их таинственного путешествия.

Все трое осторожно поднялись по обледенелым ступеням и остановились на подмостках, почти около качающихся тел.

— Который? — хриплым шепотом произнес тот, который начал несвоевременный разговор еще на берегу реки.

— Крайний слева... — также тихо ответил молодой.

Спросивший обратился к третьему:

— Никитич, разыщи-ка чурбан.

Названный Никитичем наклонился и начал шарить руками по настилке подмосток, пока не нащупал большой деревянный чурбан, подставляемый палачом под ноги преступников во время накладывания им на шею петли и выбиваемый затем из-под их ног.

Чурбан, оказалось, стоял под последним висельником, который и упирался в него ногами.

За господствовавшей темнотой этого сначала не заметили.

Никитич сообщил о своем открытии.

— Так оно и должно было быть! — прошептал молодой. — Наш-то был казнен последним, когда уже совсем стемнело... — стал припоминать он события истекшего дня.

Никитич, с помощью своего сотоварища, по знаку, сделанному молодым, и переданному им шепотом приказанию, взобрался на чурбан и довольно быстро снял петлю с шеи повешенного, которого молодой, обладавший, видимо, недюжинной силой, приподнял за ноги.

Когда петля была сброшена, тело приняли на руки стоявшие внизу, а Никитич осторожно спустился с чурбана.

Затем с висельника сняли саван, и тот, который, как видно, руководил этим загадочным

предприятием, сбросил с себя охабень и остался в одном кафтане.

— Несите осторожнее, — сказал он своим товарищам, — а княжне от меня земной поклон! Да скажите ей, что совета и любви желает ей Яков Потапов.

Голос говорившего дрогнул, и в нем послышались худо скрываемые слезы.

— А разве ты не с нами, Яков Потапович? — недоумевающим голосом спросил Никитич.

— Нет, мне другая дорога! — с горечью усмехнулся молодой.

— А как на заре могильщики придут убирать их, — кивнул в сторону висевших тел другой, ан четвертого и нет, — пойдут сыски да розыски, до княжны да до нас доберутся... Не быть бы беде, горше нынешней...

— Небось, не доберутся, — глухо ответил Яков Потапович, — не твоя забота: на себя я все дело взял, а меня, чай, знаешь, в слове крепок, никого под ответ не подведу, для того и остаюсь здесь...

— Здесь? — испуганно спросил, вступив в разговор, другой.

— А то где же? — оборвал его Яков Потапович. — Однако не теряйте времени, несите с Богом, — заключил он, указав рукою на завернутое в охабень тело снятого висельника.

Оба его спутника послушно и молча приподняли свою страшную ношу и стали спускаться с ней по ступеням подмосток.

Яков Потапович зорко следил за их малейшими движениями и не спускал глаз с удалявшихся, пока они не скрылись в непроглядной темноте снежной ночи. Шум их шагов еще некоторое время доносился до него, и он жадно прислушивался к ним, и только когда, кроме завывания вьюги, ничего не стало слышно, снял шапку и истово перекрестился в сторону едва различаемой громады собора Богоматери, ныне известного под именем Василия Блаженного, затем огляделся кругом, провел рукой по волосам, уже смоченным снегом, и, опустившись на колени на подмостках виселицы, под мерно раскачивающимися трупами, стал молиться.

Приехавшие на рассвете могильщики сняли с виселицы четыре трупа и, уложив их в сколоченные из досок некрашенные гробы, повезли на кладбище, где и зарыли в приготовленные неглубокие могилы.

Город был все так же пустынен, и телегу с четырьмя гробами провожал лишь какой-то юродивый, которых в столице было много в те тяжелые времена, и народ любил и уважал их, как «людей Божиих», боязливо прислушиваясь к их предсказаниям в надежде на лучшее будущее.

Двое приехавших на лобное место могильщиков тоже не воспрепятствовали Божьему человеку не только сопутствовать им, но даже помогать снять трупы казненных и уложить их в гробы.

— Видно, кто-нибудь из них мученическую кончину принял! — рассуждали шепотом они про казненных, видя, как усердно помогает им «Божий человек» в их печальной работе.

II

В царских палатах

Царь Иоанн Васильевич сидел в одной из кремлевских палат, рядом с опочивальней, и играл, по обыкновению, перед отходом ко сну, в шахматы с любимцем своим, князем Афанасием Вяземским.

Последний был видный мужчина, с умным выражением правильного, чисто русского лица, с волнистыми темно-каштановыми волосами на голове и небольшой окладистой бородкой.

Сам царь был тоже высок, строен и широкоплеч, в длинной парчовой одежде, испещренной узорами и окаймленной вдоль разреза и вокруг подола жемчугом и дорогими камнями. В это время Иоанну было от роду тридцать девять лет, но на вид он казался гораздо старше.

Он только что выслушал перед тем доклад Малюты Скуратова о сегодняшней казни, и время, оставшееся до отхода ко сну, посвятил своей любимой игре.

Царь был в Москве 16 января 1569 года лишь потому, что, как мы уже знаем, в этот день была годовщина его венчания на царство, и утомленный почти целый день не прерывающимся по этому случаю богослужением, отложил свой отъезд в Александровскую слободу до утра следующего дня.

В этот день сам он не присутствовал на казни, но все же сделал распоряжение, чтобы перед сном к нему явился игумен Чудова монастыря Левкий для духовной успокоительной беседы, потребность в которой грозный царь чувствовал всегда в день совершенной по его повелению казни.

Афанасий Вяземский угождал царю при всяком его настроении, изучив слабые струны его души, и теперь, несмотря на то, что, отлично играя в шахматы, знал всегда все замыслы своего противника, умышленно делал неправильные ходы и проигрывал партию за партией. Царь пришел почти в веселое расположение духа.

Он любил чувствовать даже в мелочах надо всеми свое превосходство, и горе было бы царедворцу, осмелившемуся обыграть царя. Несчастный дорого бы мог поплатиться за этот выигрыш и, пожалуй, проиграть жизнь.

— Шах и мат! — воскликнул царь. — Ну, Афоня, тебе что-то не везет со мной.

— Помилуй, государь, я хотя и считаюсь лучшим игроком на Руси, но как ни бьюсь и не вдумываюсь в игру, никак не могу постигнуть твоих ходов. Кажется, вот совсем умно считаешь, а потом и попадешься.

Иоанн самодовольно улыбался, поглаживая рукой свою бороду, затем откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.

Вяземский сидел не шевелясь, чтобы не нарушить царственного молчания.

— Да, Афоня, — ласково начал Иоанн, открывая глаза, — ты молвил сейчас, что не понимаешь моей игры, но едва ли вы все можете проникнуть в мои намерения и в государственных делах. Меня называют тираном, но есть ли в этом правда?..

— Кто осмеливается, великий государь, говорить это. Разве только тот, кто не любит своей земли.

— Истинно, истинно рек! — с одушевлением воскликнул царь. — Что было в нашем царстве в мое малолетство? Ведомо ведь и тебе, что оно запустело от края до края, а я лишь стараюсь искоренить тому причину.

— Одно можно молвить, государь, что там, где рыскали прежде дикие звери и были безлюдны пустыни, теперь цветут села и города.

— Я всегда следовал и до конца бранных дней моей трудной жизни буду держаться правила, что горе тому дому, где владычествует жена, горе царству, коим повелевают многие. Верных моих слуг я люблю, караю только изменников. Для всех я тружусь день и ночь, проливаю слезы и пот, видя зло, которое и хочу искоренить.

Царь глубоко вздохнул, снова закрыл глаза и впал как бы в забытие.

В его пламенном воображении стали проноситься одна за другой картины будущего величия России. Он видел сильное войско и могучие флоты, разъезжающие по всем морям под русским флагом и развозящие русские товары. Воображались ему приморские гавани, кишачие торговой деятельностью, русские люди, живущие в довольстве, даже в изобилии. Представлялись ему нелюбезные судьбы и суды, — везде общая безопасность и спокойствие.

Очнувшись, царь взял стоявший около него посох и стал большими шагами ходить по комнате.

В это время тихо отворилась дверь и в палату вошел стольник царя Борис Федорович Годунов.

Это был красивый юноша, сильный брюнет, с умным лицом, на котором читались твердость, решимость и непреклонность воли, но теперь во всей его фигуре выражалась робость, почтительность и покорность перед царским величием.

Иоанн, остановясь, бегло взглянул на Годунова и быстро спросил:

— Что тебе, Борис?

Тот, низко поклонившись и почтительно сложив на груди руки, сказал:

— Преподобный игумен Чудова монастыря, архимандрит Левкий желает предстать пред светлые твои очи, государь!

— Зови его!

Стольник вышел, и вскоре в палату вошел Левкий, угодник и потворщик страстям Грозного.

Он предстал с смиренным видом: глаза были опущены вниз и руки сложены крестообразно.

Помолившись пред иконами, он подошел к царю и смиренно произнес:

— Да благословит тебя Господь на всякое благое дело!

Царь набожно подошел под его пастырское благословение.

— Пойдем, отец, — проговорил Грозный, — ты нужен мне.

Оба они прошли в опочивальню.

Князь Вяземский, отвесив обоим низкий поклон, тихо удалился.

— Чем может служить недостойный пастырь великому государю? — усаживаясь в кресло по приглашению Иоанна, промолвил игумен, когда они вошли в опочивальню и остались там вдвоем.

Грозный сел на свое роскошное ложе и оперся на посох.

— Слушай, отец: я царь и дело трудное — править большим государством; быть милостивым — вредно для государства, быть строгим — повелевает долг царя, но строгость точно камень лежит на моем сердце. Вот и сегодня, в годовщину моего венчания на царство, вместе с придорожными татями погиб на виселице сын изменника Воротынского, — неповинен он был еще по делам, но лишь по рождению. Правильно ли поступил я, пресекши молодую жизнь сына крамольника, дабы он не угодил в отца, друга Курбского?

Говоря эти слова, Грозный пытливым оком смотрел на игумена и, казалось, хотел насквозь проникнуть в его душу.

Левкий несколько минут молчал, смиренно опустив глаза в землю и перебирая четки. Казалось, он придумывал и составлял ответ, который бы понравился Иоанну и не раздражил бы его.

Нетерпение Иоанна постепенно усиливалось, и он наконец вскрикнул:

— Ну, что же ты молвишь мне?

Игумен поднял голову и ответил:

— Наказывать преступников — долг государя, иначе он сам будет преступником. Вспомни, о царь великий и мудрый, о пророке Моисее: он был на горе Синае, а израильтяне в то время сотворили себе золотого тельца и поклонялись ему. Что сделал он? Избил тысячи преступников. Среди них были и неповинные дети преступных отцов. Сам Господь часто повелевает карать до седьмого колена. Притом ведомо и Отцу Небесному, что действуюешь ты, государь, радея лишь о благе своего народа, и первый среди всех богомolec за убиенных крамольников.

Иоанн просиял.

— Добрый ответ, отче! А другие не так мыслят: называют меня кровопийцей, а не ведают того, что, проливая кровь, я заливаюсь горячими слезами. Кровь видят все: она красная, всякому в глаза бросается, а сердечного плача моего никто не зрит; слезы бесцветно падают на мою душу и словно смола горячая прожигают ее.

Царь при этих словах поднял взор свой кверху, как бы исполненный глубокой горести.

— Яко же древле Рахиль, — продолжал он и глаза его закатились под самый лоб, — яко же древле Рахиль, плачуще о детях своих, так и аз, многогрешный, плачу о моих озорниках и злодеях. Добрый твой ответ, преподобный отец.

Игумен с смиренным видом слушал похвалы своего венценосного духовного сына. На секунду лишь едва заметная улыбка торжества промелькнула на его тонких губах.

— Помолимся о новопреставленном боярине Владимире, — вдруг сказал царь и встал с кресла.

Левкий быстро вскочил и рядом с Иоанном опустился на колени перед громадным иконостасом, стоявшим в царской опочивальне и освещенным несколькими лампадами червонного золота, блеск которых отражался в литых золотых окладах множества образов.

Время этой молитвы царя и игумена об упокоении души новопреставленного боярина Владимира как раз совпало с временем загадочного похищения с виселицы на лобном месте одного изtrupов казненных в день 16 января 1569 года.

Малюта Скуратов

Григорий Лукьянович Малюта Скуратов-Бельский по внешнему виду был человек высокого роста, сильного телосложения, с неприятной, отталкивающей физиономией. Опишем подробнее наружность этого «знаменитого опричника», — она стоит такого описания. Низкий и сжатый лоб, волосы, начинающиеся почти над бровями, несоразмерно развитые скулы и челюсти, череп спереди узкий, переходивший сразу в какой-то широкий котел к затылку, уши, казавшиеся впалыми от выпуклостей за ушами, неопределенного цвета глаза, не смотревшие ни на кого прямо, делали то, что страшно становилось каждому, кто хотя вскользь чувствовал на себе тусклый взгляд последних, и каждому же, глядя на Малюту, невольно казалось, что никакое великодушное чувство, никакая мысль, выходящая из круга животных побуждений, не в силах была проникнуть в этот сплюснутый мозг, покрытый толстым черепом и густою щетиной. В выражении этого лица было что-то неумолимое, безнадежное, возбуждавшее страх и ужас, смешанные с отвращением, во всех так или иначе сталкивавшихся с ним людях, даже в его сотоварищах, приближенных и родных, исключая самого царя Иоанна Васильевича, который любил и дорожил своим верным слугою.

Малюта действительно являлся всегда точным и самым старательным исполнителем жестокостей Грозного, угадывал его малейшее желание, волю, никогда не противоречил его приказаниям, вполне убежденный в их необходимости и разумности, — словом, был слепым орудием в руках царя, беспрекословным, почти бессловесным рабом его, собакой, готовой растерзать без разбора всякого, на кого бы ни вздумалось царю натравить ее.

За это-то Иоанн и любил его и всецело доверял ему, не находя для своих жестоких повелений более достойного и лучшего исполнителя.

Ограниченный умом, Григорий Лукьянович по природе своей был мстителен, зверски жесток, и эти отрицательные качества, соединенные с необычайною твердостью воли и отчаянной храбростью, делали его тем «извергом рода человеческого», «исчадьем кромешной тьмы», «сыном дьявола», каковым считали его современники и каким он до сей поры представляется отдаленному на несколько веков от времени его деятельности потомству.

Летописцы и историки не жалели и не жалеют темных красок для наложения позорного исторического клейма на этого, почти мифического, поборника зла и порока.

Имя Малюты стало синонимом палача.

Нельзя положительно утверждать, что в нем не было ничего человеческого, порядочного и честного, но все это проявлялось так слабо в этой сильной натуре, что на первый план выступало все-таки нравственное уродство этого человека.

Мы застаем его на другой день описанных нами в предыдущих главах событий в собственных, роскошных московских хоромы, в местности, отведенной в столице исключительно для местожительства опричников, откуда, по распоряжению царя, еще в 1656 году были выселены все бояре, дворяне и приказные люди. Местность эта заключала в себе улицы Чертольскую, Арбатскую с Сивцевым-Врагом и половину Никитской с разными слободами.

Григорий Лукьянович сидел в большом кресле, обитом малиновым бархатом. На нем был богатый, шитый золотом кафтан, за кушаком торчал длинный кинжал в дорогих ножнах.

Перед ним в почтительной позе стоял маленький, сутуловатый толстенький человечек. Кругленькое, сравнительно с ростом огромных размеров, брюшко покоилось на коротеньких ножках и придавало всей фигуре стоявшего шарообразный, комический вид.

Это был наперсник Малюты, более умный, чем он сам, а потому и необходимый для него советник.

Григорий Лукьянович доверял ему все свои тайны и полагался на него, как на самого себя.

Звали его Тимофеем Ивановичем Хлопом или, как звал его Малюта, а также все домашние и приближенные грозного опричника — последние, конечно, заочно, — Тимошка Хлоп.

Тимошка был злобен и жесток, любил наушничать, и все окружающие ненавидели и боялись его.

— Так ты говоришь, что Яшка повесился, сам себя предал казни? Как будто на его шею не достало бы у нас другой петли, не нашлось бы и на его долю палача! Али затруднять не пожелал? Чуюл, собака, что не стоит новой веревки. Исполать ему, добру молодцу!

Малюта оглашал воздух хриплым, злобным хохотом и чуть не прыгал на кресле. Глаза его сверкали диким огнем зверской радости, и морщины, эти печати преждевременной старости и разгульной жизни, расходились по всему лицу.

Тимошка глядел в упор на своего властелина. В его маленьких, сереньких глазах отражались все его внутренние качества: хитрость, лукавство, злоба и зверство, а на его тонких губах играла торжествующая, змеиная улыбка.

— Как докладывал твоей милости, Григорий Лукьянович, повесился Яков вчера ночью, а ноне утром зарыли его, пса смердящего.

— Ловко, неча сказать, подстроил ты, брат, эту штуку, ловко, хвалю... — разразился Малюта новым взрывом дикого хохота.

— Рад раскинуть своим холопским умишком для твоей милости! — с низким поклоном отвечал Тимофей Иванович.

— Раскинул, брат, по-молодецки раскинул, дьявольски умно придумал — трех зайцев, вопреки пословице, мы с тобой одним ударом ухлопали: любимца князя Василя — треклятого Яшку извели, самого князя подвели под государеву немилость, и даже дочка его, княжна Евпраксия, теперь в нашей власти. Так-ли говорю, Тишка?

В голосе Скуратова послышались почти нежные ноты. От сильного удовольствия он стал потирать себе руки и замурлыкал какую-то песню.

— Так, так, правильно, Григорий Лукьянович! — ухмылялся улыбкой змеиного довольства наперсник.

На несколько минут воцарилось молчание.

— Подождать, брат, надо и не то еще будет! — снова заговорил Малюта. — Откликнется еще не так Прозоровскому обида моя! Сам жив не останусь, а придумаю ему такую казнь, от которой содрогнется сам царь Иоанн Васильевич!

— Всем бы давно надо знать, что не сподручно ссориться с твоею милостью, — льстиво заметил Тимошка.

Безобразное лицо Малюты искривилось улыбкой удовольствия.

— Да, в силе я у великого государя моего, сильнее всех бояр его.

— И быть бы тебе над боярами боярином, да мало к царю с докуками ходишь... Ты-ли не единый почти среди всех вернейший слуга его?

— Не люблю я докучать ему... — проворчал сквозь зубы Григорий Лукьянович, и лицо его омрачилось.

Сан боярский был издавна вышею степенью в государстве. Малюта был честолюбив и страстно добивался его, но Грозный не возводил его в эту степень, как бы уважая древний обычай и не считая своего любимца достойным носить этот верховный сан. Получение боярства было, таким образом, заветною, но пока недостижимою мечтой Григория Лукьяновича.

— Ты продолжай все же свои розыски о князе, надо покончить его поскорей! — переменял он разговор.

— Трудновато, ох как трудновато, — задумчиво промолвил Тимофей Иванович. — Уж как я ни стараюсь, а никто из княжеских холопей не хочет идти против своего боярина... Все любят его, как отца родного, готовы за него в огонь и воду...

Малюта нахмурился.

— Это, брат, плохо, надо придумать...

— Я уж придумал. Вот что разве сделать: есть у меня знакомый человек, за деньги он согласится назваться холопом князя Владимира Андреевича. Составим под руку князя к князю Василию грамоту, в которой тот будет советовать ему известить царя. Эта грамота пойдет к князю Прозоровскому, а мы его тут и накроем. Да еще подбросим в подвалы княжеского дома мешки с кореньями и другими зельями, тогда и другая улика будет налицо.

— Это похоже на дело! Действуй, действуй! — радостно заметил Григорий Лукьянович. — Тебя же, знаешь чай сам, награжу по-царски, — прибавил он, отпуская слугу.

— И так много довольны твоею милостью, — сделал тот земной поклон и хотел удалиться.

— О главном-то я позабыл: что наш казненный княжеский сын? — остановил его Малюта.

— Порядком, видимо, помаялся на петле, доложу твоей милости, насилу отдох, как принесли к Бомелью, княжна, чай, сама за ним ухаживает...

Ревнивый огонь блеснул в глазах Малюты.

— Долго, — скажи ему, — чтобы не проклажался... Нужда до него есть. Елисею же Бомелию скажи, чтобы за княжной глядел в оба, — головой своей басурманской ответит мне за нее.

— Исполню все в точности! — отвечал Тимошка и удалился.

Малюта остался один и глубоко задумался.

Кто мог проникнуть в черные думы этого изверга?

Заранее ли предвкушал он всю сладость жестокого отмщения, придуманного им для врага своего, князя Василия Прозоровского, радовался ли гибели Якова Потапова, этого ничтожного сравнительно с ним по положению человека, но почему-то казавшегося ему опаснейшим врагом, которого он не в силах был сломить имевшуюся в руках его власть, чему лучшим доказательством служит то, что он, совместно с достойным своим помощником,

Хлопом, подвел его под самоубийство, довел его до решимости казнить себя самому, хотя хвастливо, как мы видели, сказал своему наперснику об умершем: «Разве не достало бы на его шею другой петли, не нашлось бы и на его долю палача», но внутри себя таил невольно какое-то странное, несомненное убеждение, что «другой петли» для этого человека именно не достало бы и «палача не нашлось бы», — или, быть может, Григорий Лукьянович погрузился в сластолюбивые мечты о красавице княжне Евпраксии Васильевне, которую он теперь считал в своей власти, — не будем строить догадок и предупреждать событий.

IV

Детство и юность Иоанна IV

Прежде чем нам придется, по необходимости, перенестись почти на пять лет назад для объяснения всего таинственного и недосказанного в предыдущих главах, мы считаем не лишним, скажем более, неизбежным, познакомить читателей, хотя вкратце, с первою, славною половиною царствования грозного царя, дабы по возможности выяснить характер этого загадочного до сей поры исторического деятеля, который явится и одним из главных действующих лиц нашего повествования, а также причины и обстоятельства, сложившиеся для образования этого характера.

До появления в свете IX тома «Истории Государства Российского» у нас признавали Иоанна государем великим, видели в нем завоевателя трех царств и мудрого, попечительного законодателя. Знали, что он был жестокосерд, но и то только по темным преданиям, и отчасти извиняли его во многих делах, считая эти меры жестокости необходимыми для утверждения благодетельного самодержавия.

Сам Петр Великий хотел подражать ему. Это мнение поколебал Карамзин, прямо заявивший, что Иоанн, в последние годы своего правления, не уступал ни Людовику XI, ни Калигуле, но что до смерти первой супруги своей, Анастасии Романовны, он был примером монархов благочестивых, мудрых, ревностных к славе и счастью государства.

Где искать объяснения подобной перемены? Великий историк, гениальный и беспристрастный отметчик событий минувших веков, не дает нам его.

Существует по этому вопросу ответ историка — современника Иоаннова — князя Андрея Курбского-Ярославско-го, написавшего «Историю князя великого московского о делах, яже слышахом у достоверных мужей и яже видехом очима нашими».

В начале этого сочинения знаменитый изгнанник говорит, что многие светлые мужи просили его убедительно объяснить им причины странной перемены в государе московском царе Иоанне, ознаменовавшем себя в юности доброю славою, а в старости покрывшем себя бесславием. Долго отвечал он одним молчанием и тяжкими вздохами, наконец, убежденный неотступными просьбами друзей, написал для них и для потомства эту историю.

Если верить Курбскому, Иоанн, до покорения Казани, действовал невольно, по совету бояр, а потом начал поступать по внушению собственного разума и сердца. Вследствие этой мысли приписывая всю славу оружия доблестным стратегам,[1] Курбский старается доказать, что Россия наслаждалась золотым веком только тогда, когда великие сиклиты,[2] поседевшие в добродетелях, руководили Иоанном, как младенцем; когда же их не стало и он сам начал царствовать, тогда Россия испытала иную участь.

Но в данном случае мы легко можем подозревать Курбского в несправедливом пристрастии,

так как он питал к царю злобу непримиримую. Одному Богу известно, не думал ли он очернить память Иоаннову, чтобы оправдать свою измену и спасти имя от вечного позора.

Мы вправе лишь сказать одно: кто, как сделал то Иоанн, в решительную минуту, когда наше войско стремглав бросилось из Казани, преследуемое неприятелем, стал перед ним и остановил робких, кто своею рукою писал правила Стоглава, заботился о торговле, о просвещении, тот не был бегун, не знавший, где укрыться от толпы татар, как описывает его Курбский, или малодушный властитель, которого силою заставили полюбить на время добродетель.

Сделаем же сами посильную попытку разрешить этот вопрос и уяснить себе характер грозного царя по данным истории первой половины его царствования.

Царь Иоанн Васильевич родился от второй супруги Василия Иоанновича — Елены Глинской. Сохранилось предание, что будто в момент рождения Иоанна была такая страшная буря, что колебалась земля. Это произошло в 1530 году, а в 1533 великий князь Василий Иоаннович внезапно заболел и скончался.

За малолетством Иоанна делами царства начала править мать его, Елена. Братья Василия Иоанновича, Юрий и Андрей, вздумали было воспользоваться малолетством своего племянника, великого князя, и завладеть тронем, но их замыслы были обнаружены правительницей и они оба были лишены за это свободы.

Сама Елена, впрочем, удержала в своих руках бразды правления только около пяти лет. Причиной этого было то, что она приблизила к себе боярина Телепнева-Оболенского, поручила ему все важнейшие дела в царстве, одного его только слушала и заставляла остальных бояр признавать своего любимца старшим между ними.

Это крайне не нравилось последним, и они наконец решились погубить и правительницу, и Телепнева, в чем и успели. Елена была отравлена, а Телепнев-Оболенский задушен.

Иоанну было всего восемь лет, и он, понятно, не мог вступить в дела правления, а потому бояре, по смерти правительницы — матери царя, поделили власть между собою и возымели даже мысль возвысить свое павшее значение, которое имели в удельно-вечевой период.

Взаимные интриги, постоянные несогласия, борьба из-за первенства помешали, к счастью для потомства, достигнуть им этой цели, разрушить работу великих князей — собирателей земли русской. Они достигли лишь противоположного: боярское влияние уничтожилось навсегда.

Они даже не были способны приобрести расположение народа, который, видя их постоянные крамолы и междоусобия из-за власти, их кривосудие и грабеж казны государевой, глядел на них как на ненавистных чужеземцев, а не как на своих родовых бояр, полезных государственных деятелей и блюстителей законов.

При таком порядке вещей им, разумеется, некогда было заниматься воспитанием великого князя. Они едва успевали опутывать друг друга сетями интриг и крамол; они даже дошли до такой дерзости, что оказывали явное неуважение особе будущего царя, затевая в его присутствии всевозможные ссоры и делая его свидетелем неприличных сцен, долженствовавших оставить след в душе впечатлительного царственного отрока.

Князья Шуйские, Бельские и Глинские были главными виновниками всех неурядиц во время малолетства великого князя, от которых страдал народ православный. Они своим недостойным поведением подавали дурные примеры восприимчивому от природы Иоанну.

«Смуты и козни придворные, — пишет Карамин, — занимали думу более, нежели внутренние

и внешние дела государственные».

Во главе сонма новых правителей, заменивших Елену Глинскую и ее любимца — Телепнева-Оболенского, стал князь Иван Васильевич Шуйский, но недолго пользовался властью, болезнь, как надо думать, заставила его отказаться от двора. Он жил еще года два или три, не участвуя в правлении, передав его в руки своих ближайших родственников: князей Ивана и Андрея Михайловичей Шуйских и Федора Ивановича Скопина, людей недалеких по уму, грубых эгоистов, которые и не думали истинным усердием в делах заслужить народную любовь и признательность юного венценосца.

Подрастая, Иоанн начал чувствовать тягость этой незаконной опеки, ненавидел Шуйских, особенно князя Андрея, и склонялся душою к их тайным и явным недоброжелателям. В числе последних были советник думы Федор Семенович Воронцов и воспитатель великого князя — князь Иван Бельский.

Их обоих удалили от двора, несмотря на заступничество юного царя и престарелого митрополита.

Иоанну исполнилось тринадцать лет. Он обладал пылкою душою, редким умом, непоколебимою, выдающеюся силою воли и имел бы все главные качества великого монарха, если бы воспитание образовало или усовершенствовало в нем природные способности, но рано лишенный отца и матери, отданный на произвол буйных вельмож, ослепленных безрассудным личным властолюбием, он был на престоле несчастнейшим сиротою русской державы, и не только для себя, но и для миллионов своих подданных готовил несчастье своими пороками, легко возникающими при самых лучших естественных свойствах, когда еще ум, этот исправитель страстей, недостаточно окреп в молодом теле.

Один князь Иван Бельский мог еще быть хорошим наставником и примером добродетели для державного отрока, но Шуйские отняли достойного вельможу у государя и государства. Стараясь привязать к себе Иоанна исполнением всех его желаний, они постоянно забавляли и тешили царя во дворце шумными играми, в поле — звериною ловлею, воспитывали в нем склонность к сластолюбию и даже к жестокости, не думая о последствиях.

Любя охоту, царь любил не только убивать диких животных, но и мучить домашних, бросая их с высокого крыльца.

А бояре говорили:

— Пусть державный веселится!

Они же восхваляли в нем смелость, мужество и проворство, когда, окруженный толпою сверстников, он бесчинно резвился с ними или скакал по улицам и давил женщин и стариков, забавляясь их криками.

Об укоренении каких-либо нравственных правил в душе их будущего властелина они не помышляли.

Такая безумная система воспитания прежде всего обрушилась на головы ее виновников. На них, потерявших впоследствии один за другим свои гордые, непоклонные головы, всецело оправдалась русская пословица: «Сама себя раба бьет, что не чисто жнет».

Собственными руками направили они, эти властолюбцы-ограничители, на свои негнувшиися выи карающую руку грозного неограниченного самодержца.

Время между тем шло. Иоанн приближался к совершеннолетнему возрасту. Придворные козни в Кремлевском дворце, а вместе с ними «затруднения» господствующих бояр и число

врагов последних увеличивались с каждым днем.

Родные дяди государя, князя Юрий и Михаил Васильевичи Глинские, мстительные и честолюбивые, несмотря на бдительность Шуйских, внушали своему племяннику, что ему время объявить себя действительным самодержцем и свергнуть похитителей власти, которые угнетают народ, осмеливаются глумиться над самим государем; что ему надо только вооружиться мужеством и повелеть; что Россия ожидает его слова.

Эти советы не пропали даром, и четырнадцатилетний царь вдруг созвал бояр и в первый раз явился перед ними грозным повелителем.

Опалы и жестокости нового правления устрашили сердца.

Это был первый период казней. Он продолжался до вступления Иоанна в первый брак с юною Анастасиею, дочерью вдовы Захарьиной, муж которой, Роман Юрьевич, был окольничьим, а потом и боярином Иоанна III. Род их происходил от Андрея Кобылы, въехавшего к нам из Пруссии в XIV веке.

Царица Анастасия была ангелом на престоле. Современники приписывают ей все женские добродетели, для которых только находили они имя на русском языке: «целомудрие, смирение, набожность, чувствительность, благость, соединенные с умом основательным, не говоря о красоте, так как она считалась уже необходимою принадлежностью царской невесты».

Обряд венчания совершился в храме Богоматери. Сумев внушить к себе искреннюю любовь своего венценосного супруга, она незаметно подчинила его своему благородному влиянию, и царь, приблизив к себе иерея Сильвестра и Алексея Адашева, начал тот славный период своего царствования, о котором с восторгом говорят русские и иноземные летописцы, славный не только делами внешними, успехами войн, но и внутренними, продолжавшийся около шестнадцати лет, до самой смерти царицы Анастасии и удаления Сильвестра и Адашева по проискам врагов.

Удалились те, которые, по выражению Карамзина, «исхитили юношу из сетей порока и с помощью набожной, кроткой Анастасии увлекли на путь добродетели», и царь снова остался предоставленным своим, извращенным воспитанием, инстинктам, взводимым в добродетели окружавшими его льстецами и наушниками.

Потребовалось, однако, несколько лет этим новым развратителям венценосца для окончания своей адской работы, но в конце концов они достигли цели, и государь, любимый, обожаемый, с высоты блага, счастья, славы низвергнулся в бездну ужасов тиранства.

Это было в начале 1565 года.

К этому-то году мы и перенесемся с тобою, читатель.

V

В осиротелой Москве

Лета от сотворения мира семь тысяч семьдесят третьего, от Рождества же Христова 1565 года, в самый день Крещения, 6 января, к высоким дубовым воротам обширных хором князя Василия Прозоровского, находившихся недалеко от Кремля, на самом берегу Москвы-реки, подъехали сани-пошевни, украшенные вычурной резьбой, покрытые дорогими коврами и

запряженные шестеркою лошадей. Несколько десятков всадников, по обычаю того времени, окружали их, и по этому пышному кортежу можно было безошибочно заключить, что это был «боярский поезд». Действительно, в санях, закутанный в медвежью шубу, сидел князь Никита Прозоровский, родной брат князя Василия, у ворот чьих хором и остановился «поезд».

Князь Никита прибыл к брату, не заезжая к себе домой, прямо из Александровской слободы, и такая поспешность для далеко неповоротливых старых вельмож того времени уже одна указывала на неотложное, серьезное дело.

Князь Василий с нетерпением ожидал приезда брата из новой резиденции. Услыхав доклад слуги о приближавшемся поезде, князь, несмотря на серьезную болезнь ноги от раны, полученной им незадолго перед тем при отражении литовцев от Чернигова, ознаменовавшемся геройским подвигом со стороны князя — взятием знамени пана Сапеги, — несмотря, повторяем, на эту болезнь, удержавшую его дома в такой важный момент московской жизни, он, опираясь на костыль, поспешно заковылял из своей опочивальни навстречу прибывшему брату в переднюю горницу.

Дубовые ворота быстро отворились настежь для желанных гостей, и весь поезд въехал на обширный двор.

Не торопясь вылез князь Никита с помощью соскочивших с коней слуг из пошевень и, поддерживаемый ими под руки, так же неторопливо поднялся по ступеням крыльца, ведшим в хоромы.

Двери отворились, и встретившиеся братья обнялись и трижды расцеловались.

Князя Василий и Никита Прозоровские были еще далеко не старые люди: старшему, Василию, кончался шестой десяток, а младшему, Никите, он был только в начале. Впрочем, труды по службе, воинской и думской, тяжесть переживаемого времени вообще, положили свою печать на обоих братьев, и они казались много старше своих лет, особенно князь Василий, которого удручало, кроме того, еще личное горе: не прошло и года, как он похоронил свою любимую жену, княгиню Анастасию, сошедшую в могилу в сравнительно молодых годах. Двадцать лет прожил он с покойной, что называется, душа в душу, нашедши в ней не только любимую супругу, но, что особенно редкостью было в описываемый нами период теремной жизни русской женщины, друга и умного и верного советника, если не в государственных, то в придворных делах.

Князь жил безутешным вдовцом с своей единственной дочерью — Евпраксией Васильевной, цветущей молодостью, здоровьем и красотой, на которую старый князь перенес всю нежность своего любвеобильного сердца, уязвленного рановременной потерей своей любимой подруги жизни. Княжне в момент нашего рассказа шел шестнадцатый год, но по сложению и дородству она казалась уже совершенно взрослой девушкой, вполне и даже роскошно сформировавшейся.

Князь Никита не испытал семейных огорчений, как не испытал и сладостей семейной жизни: он был, как сам называл себя, «старым холостяком», отдававшим всю свою жизнь исключительно делам государственным и придворным интригам, что было в описываемое нами время нераздельно. Его сердце и ум были всецело поглощены колоссальным честолюбием, но в первом, впрочем, находили себе место привязанность к брату и нежная любовь к племяннице.

Князь Василий платил брату за любовь любовью же и, скажем правду, более искреннею. Хотя и его думы, как думы всех государственных деятелей того времени, были заняты переживаемой отечеством тяжелой, едва начавшейся, но угрожавшей своими последствиями годиною, но к этим думам не было примешано личного беспокойства. В противоположность брату, князь держался вдали от придворной жизни, насколько, конечно, позволяло ему его

положение, и лишь несомненно сознаваемая им польза его вмешательства или участия в судьбах любимого им отечества заставляла его с энергией браться за ратное или думское дело, по усмотрению государя. Это-то и было причиной, что сердце князя Василия было отзывчивее на призыв родственного чувства.

Переживаемая Русью упомянутая тяжелая година началась в самом конце 1564 года и почти неожиданно.

Случившаяся незадолго перед тем измена Андрея Курбского, бежавшего в Литву, и неудавшийся замысел Сигизмунда потрясти Россию, произвели в Москве только кратковременную тревогу, но далеко не в такой малой мере отразились в подозрительном сердце Иоанна. Царь продолжал кипеть гневом и волноваться: все бояре казались ему тайными злодеями, единомышленниками Курбского: он видел предательство в их печальных взорах, слышал укоризны или угрозы в их молчании. Наступило время доносов, их требовали и жаловались, что их мало: самые бесстыдные клеветники не удовлетворяли жажде подозрительного государя. Еще какая-то невидимая десница удерживала тирана. «Жертвы были перед ним, — как образно говорит Карамзин, — но еще не вздыхали, к его изумлению и муче».

Вдруг, в начале зимы 1564 года, Москва узнала, что царь уезжает неизвестно куда со всеми своими ближними, дворянами, приказными и воинскими людьми, созванными поименно с семействами из самых отдаленных городов.

Рано утром 3 декабря изумленные москвичи увидели необычное зрелище: на Кремлевской площади появилось множество саней, на которые начали сносить из дворца золото и серебро, святые иконы, кресты, драгоценные сосуды, одежды и деньги.

Государь, окруженный боярами, вышел из дворца и прошел в церковь Успения, где митрополит Афанасий отслужил обедню.

Иоанн молился с необычным усердием, принял от Афанасия благословение, милостиво допустил к своей руке бояр, чиновников и купцов и, вышедши из церкви, сел в приготовленные роскошные пошевни с царицей, двумя сыновьями, с Алексеем Басмановым, Михаилом Салтыковым, князем Афанасием Вяземским, Иваном Чеботовым и другими любимцами и, провожаемый целым полком вооруженных всадников, выехал из столицы, оставив ее население ошеломленным неожиданностью.

Осиротелая Москва пришла в ужас.

— Государь нас оставил, мы гибнем! — раздавались возгласы.

— Кто будет нашим защитником в войнах с иноплеменниками? — слышались беспокойные вопросы.

— Как могут быть овцы без пастыря! — причитали третьи.

Чувство народа, привыкшего к самодержавию и глубоко сознающего его несомненную пользу, сказались рельефно в этот тяжелый, слава Создателю, не повторявшийся исторический момент.

Догадывались о причинах, побудивших царя на такой решительный шаг, — измена Курбского была слишком свежа в народной памяти, — и все, от бедного до богатого, от простого до знатного говорили:

— Пусть царь казнит своих лиходеев, в животе и смерти его воля, но царство да не останется без главы! Он наш владыка богоданный, иного не ведаем.

— Пусть укажет нам царь своих изменников, мы сами истребим их.

Громче и настойчивее заговорили в том же духе после 3 января 1565 года, когда присланный Иоанном чиновник Константин Поливанов вручил митрополиту грамоту царя, в которой тот описывал все мятежи, неурядицы и беззакония боярского правления во время его малолетства, доказывал, что они расхищали казну, земли, радели о своем богатстве, забывая отечество, что дух этот в них не изменился, что они не перестают злодействовать, а если он, государь, движимый правосудием, объявляет гнев недостойным, то митрополит и духовенство вступаются за виновных, грубят, стужают[3] ему.

«Вследствие чего, — так заканчивал Иоанн свое послание, — не хотя теперь ваших измен, мы, от великой милости сердца, оставили государство и поехали, куда Бог укажет нам путь».

От Поливанова узнали, что царь из Москвы проехал в село Тайнинское, а оттуда в Троицкий монастырь, и лишь к Рождеству прибыл в Александровскую слободу.

Митрополит один хотел немедленно ехать к царю умолять его возвратиться, но бояре сказали ему:

— Мы все с своими головами едем за тобою бить челом государю и плакаться.

Собрался совет и на нем положили, чтобы архипастырь остался блюсти столицу, в которой господствовало необычное смятение: все дела пресеклись, суды, приказы, лавки и караульни опустели. Ударить челом царю и «плакаться» избрано было посольство, в числе которого поехал в Александровскую слободу и князь Никита Прозоровский.

VI

В хоромах князя Василия

Не с веселыми вестями вернулся князь Никита из Александровской слободы.

Но прежде чем мы узнаем их из келейной беседы двух братьев князей, столь различных характерами и жизненными целями и столь сходных по внешнему облику, опишем в нескольких словах их наружность.

Князь Василий Прозоровский был высок и дороден. Темно-русые, с сильною проседью волосы в беспорядке падали на умный лоб с несколькими рассеченными шрамами — почетным украшением воина. Окладистая борода, почти совершенно седая, покрывала половину груди. Из-под темных нависших бровей сверкал открытый, честный пронизательный взгляд прекрасных, сохранивших почти юношескую свежесть карих глаз, а вокруг уст играла приветливая улыбка. Непокколебимое сознание своего достоинства, своих способностей и заслуг, не переходя границ, где начинается чванство, проявлялось во всех движениях и речах князя Василия. Его младший брат, князь Никита, был замечательно схож с ним, но казался гораздо моложе, хотя разница в годах братьев была невелика. Он был только несколько ниже ростом. Взгляд его глаз, глядевших исподлобья, хотя и выражал тоже недюжинный ум, но с большой примесью хитрости и искательства, а сквозь улыбку просвечивало то, что в просторечье называется «себе на уме». Быть может, печать этих свойств, разнивших его от брата, положила на него придворная жизнь того времени, мутные волны которой для него, как мы знаем, были родной стихией.

Троекратно облобызав приехавшего брата, князь Василий ввел его в брусяную избу с изразцовой лежанкой, с длинными дубовыми лавками вокруг стола, стоявшего ближе к

переднему углу, и со множеством золотой и серебряной посуды, красиво уставленной на широких полках.

В этой комнате, в сопровождении четырех сенных девушек, уже дожидались князя Никиту его племянница, княжна Евпраксия Васильевна, с двумя золотыми кубками, наполненными дорогим заморским вином, на серебряном подносе.

Такие «встречные кубки» были обычаем того времени для дорогих гостей.

Потчевание этими кубками в домах женатых людей лежало на обязанности жены, у вдовцов же — на взрослой старшей дочери. Неподнесение кубка считалось высшею степенью холодности приема.

В обычаях «встречного кубка», да еще в «поцелуйном обряде», когда хозяин, по старинной русской «обычности», как выражались тогда, просил гостя или гостей не наложить охулы на его хозяйство и не побрезговать поцеловать его жену или дочь, после обнесения последними гостей «кубком приветия», который хозяйка пригубливала первая, проявлялось и ограничивалось всякое дозволенное женщине того времени сообщение с посторонними мужчинами, кроме ее мужа, отца или брата. Тихо и плавно приблизилась княжна Евпраксия к отцу и дяде и отвесила им обоим поясной поклон «малым обычаем». От этого движения и от тяжести подноса, который она держала в руках, кубки, стоявшие близко друг к другу, зазвенели.

Княжна была в голубом, вышитом серебром сарафане, прекрасно шедшем к ее светло-каштановой широкой косе, заплетенной в девяносто прядей. Заплетена она была очень слабо и закрывала, подобно решетке, весь затылок и потом падала вдоль спины, суживаясь непомерно.

Много требовалось на то умения и досуга, но первого не занимать было санным девушкам княжны Евпраксии, а второго было много и у боярышень, и у прислужниц в те праздные для русской женщины времена. В косу были искусно вплетены нитки жемчуга, а на ввязанный в конце косы треугольный косник насажены дорогие перстни с самоцветными камнями.

Изящный овал лица, белизна кожи и яркий румянец, горевший на полных щеках, в соединении с нежными, правильными, как бы выточенными чертами лица, густыми дугами соболиных бровей и светлым взглядом темно-карих глаз, полузакрытых густыми ресницами, высокой, статной фигурой, мягкостью очертаний открытой шеи, стана и полных, белоснежных рук, видневшихся до локтя из-под широкого рукава сарафана, ни единым штрихом не нарушали гармонию в этом положительном идеале русской красоты, выдающеюся представительницей которого и была княжна Евпраксия Прозоровская.

Ей, как мы знаем, шел шестнадцатый год. Что же можно было ожидать в будущем от этого, едва распустившегося, но уже роскошного цветка?

Недаром князь Василий гордился своей дочерью, но ее чарующая красота порой наводила его на печальные думы.

Сыщется ли для нее достойный суженый? Ни на одном молодом боярском сыне не мог он остановить своего выбора. Ни в одном из них, по совести, не желал бы видеть он своего будущего сына. Годы между тем промелькнули незаметно, да и не много осталось их до полного расцвета юной княжны.

Как тогда уберечь ее?

Эти неотступные вопросы все чаще и чаще стали появляться в голове старого князя.

Что же касается до княжны, рано развившейся физически, но еще девочки по летам, то Бог весть, были ли заняты ее ум и сердце чем-либо иным, кроме нарядов да игр и забав со своими санными девушками?

Как угадать в девичьем сердце момент пробуждения нежного чувства? Легче подслушать, как трава растет летом в чистом поле, как звезды шепчутся между собой на небе зимнею ночью!

Князь Никита выпил вместе с братом кубок душистого вина, троекратно облобызал свою племянницу в алые губы и сел, по приглашению князя Василия, в красный угол избы.

Княжна Евпраксия удалилась со своими прислужницами.

Многочисленные слуги князя Василия поставили между тем на стол всевозможные яства на серебряных блюдах, вина и меда в дорогих кувшинах, и братья стали трапезовать, так как был обеденный час, — перевалило за полдень.

Благоразумная осторожность того времени заставляла не проронить при холопах лишнего слова.

Разговор трапезовавших был односложен и вертелся на обыденных предметах: князь Никита не начинал своего рассказа о событиях в Александровской слободе, а брат его не задавал до заземления сердца интересующих его вопросов.

Только по лицу своего брата видел он, что тот привез ему невеселые вести.

Впрочем, многоглаголанье за столом и не было в обычае того времени.

Наконец трапеза окончилась, слуги убрали со стола и удалились.

Братья остались одни.

Княжна Евпраксия между тем вернулась к себе в верхние светлицы и была, по обыкновению, весела, смеялась и шутила с девушками.

Она сидела на лавке, покрытой дорогим ковром, и перед ней, на маленьком, низеньком столике, стояла большая, вычурной «немецкой» работы шкатулка; крышка шкатулки, наполненной доверху драгоценностями, была открыта.

Евпраксия занималась их примериванием.

— Княжна, — сказала одна из девушек, — примерь еще вот эти запястья — они повиднее.

— Будет с меня примерять, девушки, надоело! — капризно произнесла княжна и захлопнула крышку шкатулки.

— Запевай-ка, Танюша, песню повеселее! — сказала княжна.

Стоявшая около нее чернобровая, круглолицая и краснощекая девушка с вздернутым носиком на миловидном и здоровом личике лихо подбоченилась:

Пантелей государь ходит по двору,

Кузьмин гуляет по широкому,

Кунья на нем шуба до земли,

Соболья на нем шапка до верху,

Божья на нем милость до веку.

Сужена-то смотрит из-под пологу,

Бояре-то смотрят из города,

Боярышни-то смотрят из терема.

Бояре-то молвят: чей-то господин?

А сужена молвит: мой дорогой!

Последние слова девушки подхватили хором. Песня сменялась песнею. Девичьи песни известны: все о суженом, о расплетении кос, о бабьем кокошнике.

После песен разговор продолжал вращаться около этих девичьих тем.

— А коса, девушки, ведь красивей кокошника? — заметила Евпраксия.

— Все в свою пору, княжна, — отвечали, смеясь, девушки. — Ты и в кокошнике, например, будешь краше солнца красного.

— Не хочу расставаться с косой, не хочу кокошника, девичья волюшка всего милее!

— Захочешь, княжна, как выищется суженый; конем его не объедешь; и косу, и волюшку — все отдашь за ласковое слово.

Евпраксия молчала, как бы о чем-то задумавшись.

Девушки тоже примолкли, но ненадолго.

Увидав, что княжна затуманилась, они снова защебетали вокруг нее.

— Вот, Танюшка, например, не прочь бы очень от кокошника, — заметила Маша, белокурая полная девушка с большими голубыми глазами.

— Полноте, вы, пересмешницы, — огрызнулась Танюша, — мне бы хоть век не расплестать косы. Я же знаю таких, что глаз не сводят с Якова Потаповича.

Девушки залились звонким смехом, а иные смутились и покраснели. В числе последних была и княжна.

Одна Танюша заметила это, бросила на нее пылливый взгляд и вдруг затянула веселую песню, подхваченную хором.

Веселье пошло своим чередом.

Внизу между тем князь Василий и Никита вели серьезную беседу.

VII

Слободские вести

Когда слуги удалились, князь Василий подошел к обоим дверям, ведшим в смежные горницы, тщательно притворил их и, вернувшись на место, обратился к брату:

— Ну, как и что? Рассказывай.

Князь Никита откашлянулся, погладил свою бороду и, придав своему лицу, как это было в его обыкновении при всякой серьезной беседе, возможно бесстрастное выражение, начал передавать брату, который весь, что называется, превратился в слух, о виденном и слышанном им в Александровской слободе.

— Мы остановились в Слотине и послали доложить о себе государю. Он прислал за нами приставов, которым приказал препроводить нас в слободу, а вчера только впустил нас во дворец. Сперва предстало духовенство. Архиепископ Пимен говорил первый перед царем от лица духовенства, вельмож, дворян и приказных людей. Он передал ему благословение от митрополита и слезно, красноречиво молил снять опалу, не оставлять государства, царствовать и действовать как ему угодно, молил также дозволить боярам видеть царские очи. Царь согласился и нас впустили. От лица бояр, по поручению остальных послов, говорил я. С силою убеждал я государя сжалиться над Россией, возвеличенной его победами и мудрыми уставами, славною мужеством ее многочисленного народа, богатою сокровищами природы и еще славнейшею благовением. «Когда, — сказал я в заключение, — ты не уважаешь мирского величия и славы, то вспомни, что, оставляя Москву, ты оставляешь святыни храмов, где совершались чудеса божественной к тебе милости, где лежат целебные мощи угодников Христовых. Вспомни, что ты блюститель не только государства, но и церкви: кто спасет истину, чистоту нашей веры? Кто спасет миллионы душ от гибели вечной?»

Князь Никита повторял свои слова, сказанные Иоанну, с такою же торжественностью, как бы говоря пред лицом самого царя.

Его брат сидел недвижимо. Он любил в брате эту восторженность речи, стараясь не замечать ее деланности. Он благоговел пред его умом и красноречием, осуждал в нем только излишнее подобострастие, претившее его прямоту.

— Я упал на колени перед государем, — продолжал князь Никита, — остальные, и даже духовенство, последовали моему примеру.

Он замолчал.

— Что же государь? — почти шепотом, после продолжительной паузы спросил князь Василий.

— Он отвечал нам, — продолжал князь Никита, но уже тоже понизив голос до шепота, — по своему обыкновению, многоглагольно, пересыпая свою речь текстами Священного Писания и ссылками на историю; он упрекал нас в своеволии, нерадении, строптивости; доказывал, что мы издревле были виновниками кровопролитий и междоусобий в России, издревле врагами державных наследников Мономаха, говорил, будто мы хотели извести его, его супругу и сыновей...

На губах слушавшего князя Василия мелькнула печально-горькая улыбка.

Князь Никита между тем продолжал:

— Но, — сказал Иоанн, смягчившись, — для отца моего, митрополита Афанасия, для вас, богомольцев наших, архиепископов и епископов, я соглашаюсь паки взять свои государства, но на условиях.

— Какие же это условия? — прошептал Василий.

— Невозбранно казнить изменников опалою, смертью, лишением достояний, без всяких претительных докук со стороны духовенства... — тихо, наклонившись к самому уху брата, проговорил князь Никита.

Князь Василий вспыхнул и вскочил со скамьи.

— И вы поняли, что это значит?

Никита только опустил голову.

— В этих словах изречена гибель почти каждому из нас, — продолжал Василий, быстро ходя по комнате, насколько это позволяла ему его больная нога.

— Мы не думали о жизни, мы хотели возвратить только царя царству! — гордо подняв голову, отвечал князь Никита и замолчал.

— А царство, лишенное добрых и сильных, будет ли, по вашему, процветать при одних царедворцах?.. — воскликнул князь Василий.

Князь Никита пугливо оглянулся.

— Нельзя всего думать вслух! — уклончиво заметил он.

— Вот вы когда опомнились! — засмеялся князь Василий горьким хохотом. — А кто подготовил все ныне происходящее? Плоды чьей работы пожинаете вы в настоящее время? Чьих, как не своих собственных рук?

Он умолк на минуту, видимо, от волнения.

Брат с беспокойством глядел на него.

— Не вы ли у постели умирающего царя не забывали интриг и крамол ваших, думали лишь о своих выгодах, не постыдились у одра смерти венценосного отца отступить от его сына, переметываться на сторону князя Владимира.

— Мы лишь хотели, чтобы нами не владели Захарьины, и чем нами владеть Захарьиным, думали мы, и чем нам было служить государю молодому, так мы лучше станем служить старому князю Владимиру, — возразил князь Никита.

— А разве вы не целовали крест сыну государя? — остановился князь Василий прямо против брата.

Он не получил ответа.

— За это клятвopеступление и покарал вас Бог, поставив снова на ноги царя, которого вы почти считали в могиле. Я далек от двора, но видел больше вас и, кажись, не дурной подал тебе совет присягнуть одним из первых маленькому Иоанну.

Он в упор глядел на брата.

— Правда, правда, я не забуду твоей услуги, ты спас этим мою голову... — кивнул тот в знак согласия.

— И это все проделывали вы, хвелящиеся своей дальновидностью царедворцы, когда знали, как возбужден царь против бояр еще с самого малолетства. Я сам слышал, как после взятия Казани государь, рассердившись на одного из воевод, сказал ему: «Теперь оборонил меня

Господь от вас». Если бы ты слышал, каким голосом это было сказано, то ужаснулся бы звучащей в нем ненависти. Господь за ваши грехи ожесточает сердце государево все горшими и горшими испытаниями. Ваше поведение за время его последней болезни уже переполнило чашу его озлобления против бояр. Смерть сына была той каплей, которая заставила ее пролиться. Теперь надо готовиться ко всему. Ты говоришь, что возвратили царству царя, а я говорю тебе, что вы и мы, ни в чем неповинные ратные люди, проливавшие за него несчетное количество крови, потеряли его и... приобрели лишь мстителя.

Последние слова князь Василий произнес почти без звука, одним движением губ.

Князь Никита продолжал молчать; да и что было отвечать ему? Он глубоко сознавал, что брат был прав, но ему не хотелось этого выказать. Он был слишком самолюбив, чтобы не страдать от сознания правоты другого, даже родного брата.

— Повторяю, мы потеряли его, — продолжал между тем князь Василий, — потеряли совершенно: он окружит себя новыми людьми, он последует совету неистового Вассиана.

Князь Никита удивленно и вопросительно посмотрел на него.

— Разве ты не знаешь и того, что, когда после болезни государь ездил, по обету, на богомолье в Кириллов-Белозерский монастырь, то заехал в Песношский, близ Дмитрова, и был в келье Вассиана Топоркова, любимца покойного князя Василия?

— Знаю, но что же из этого?

— Государь, — я слышал это за достоверное, — спросил Вассиана: «Как должен я царствовать, чтобы вельмож своих держать в послушании?» Вассиан наклонился к нему и тихо сказал: «Если хочешь быть самодержцем, не держи при себе ни одного советника, который был бы умнее тебя, потому что ты лучше всех; если так будешь поступать, то будешь тверд в царстве и все будешь иметь в руках своих. Если же будешь иметь при себе умнее себя, то по необходимости будешь им послушен». Царь поцеловал его руку и отвечал: «Если бы и отец мой был жив, то и он такого полезного совета не подал бы мне».

— Так, так, оно на то и идет! — невольно вырвалось у князя Никиты.

— А что? — спросил князь Василий.

— Сказывали в слободе, что Василий Юрьев да Алексей Басманов составляют царю запись о новом дворе, и будет тот двор называться «опричиной».

— Опричиной? — удивленно произнес князь Василий, присаживаясь на лавку к столу.

Князь Никита в коротких словах стал рассказывать ему устав этого нового, до того времени неизвестного в России, учреждения особых царских телохранителей.

— Царь объявит своею собственностью несколько городов, — повествовал он, — выберет тысячу телохранителей из князей, дворян, детей боярских и даст им поместья в этих городах, а прежних вотчинников и владельцев переведет в иные места; в самой же Москве займет под них некоторые улицы. Телохранителям этим дано будет особое отличие: к седлам их коней будут привязаны собачьи головы и метлы в «ознаменование» того, что они грызут царских лиходеев и выметают измену из России.

Несмотря на то, что для князя Василия все это, как мы видели, не было особенною неожиданностью, такое быстрое исполнение его пророчества о потере для бояр царя поразило его.

Он глубоко задумался.

Наступило молчание, которое прервал первый князь Никита.

— Кроме Басманова и Юрьева, в большой чести у царя Григорий Скуратов.

— Татарин! — презрительно, сквозь зубы, процедил князь.

— Ништо что татарин, а теперь сила. Я, признаться, к нему заискал, гостем у него был.

— Ты, князь Прозоровский! — вспыхнул Василий.

— Ничего не подделаешь: такие времена переживать приходится, что не знаешь, где потеряешь, где найдешь.

— Не стать бы князьям Прозоровским находить что у Малюты! — высокомерно оборвал брата князь Василий.

— Не говори, брат, я и к тебе с челобитьем.

— С каким?

— Надо нам Скуратова на свою сторону переманить: силен он у государя, так не прогневишь на меня, я его к тебе пригласил, за гостеприимство-де и брат, и я тебе, Григорий Лукьянович, заплатим.

— Ко мне? Малюта? Нет, этому не бывать!

— Сам ты молвил сейчас, и правду святую молвил, что царя-де мы потеряли, так надо нам его и возвратить попытаться; силой сам, чай, знаешь, ничего теперь не возьмешь, стороной надо действовать полегоньку, людьми пользоваться, а на это у меня, сам ведаешь, уменя не занимать стать.

Князь Никита замолчал.

Князь Василий продолжал сидеть, гордо подняв свою красивую голову.

— Молчи лучше, не муди меня, опять интригу затеваешь! Говорил не раз — брось, просись у царя на воеводство, подальше... Ишь, что задумал, через татарву поганую православного царя добывать... Молчи!

— Молчу, молчу, — замахал руками князь Никита. — Но коли любишь меня — в лгунах перед Скуратовым не оставишь. Татарин он, согласен, так не след князю Прозоровскому перед татаринном в лгунах быть. К слову же молвить, род Скуратовых, бают, от князей происходит, да и к царю близкий человек, тот же боярин, сам ты не раз осуждал наше местничество.

— Не родовая честь говорит во мне, — смягчился князь Василий, — претит он душе моей... подальше от него... покойнее...

— Да чем же, чем? Человек он угодливый... С лица только не вышел, так мы с тобой не красные девушки, не под венец с ним идти, а на твое знакомство он очень льститесь, и от угощенья его тебя не убудет, — льстиво продолжал князь Никита.

— Угостить я рад всякого! — заметил князь Василий, задетый братом за струнку гостеприимства. Ин будь по-твоему... Скажи когда позовешь...

— Вот за это спасибо!

Братья расцеловались.

— Да, — с горечью произнес князь Василий после некоторой паузы, — тяжелые времена и впрямь переживаем мы, и за татарина приходится ухватиться, ублажать его да кланяться. Скоро, впрочем, на Руси кроме татар да холопьев никого не останется... Куда все боярские роды подевались? Сгинули, как ветром разнесло... Видано ли когда было, чтобы боярского сына к чужим людям подкинули? А теперь Яков мой — налицо.

— Да полно, боярский ли он сын? — заметил князь Никита, желая переменить разговор и зная, что брат не оставит этого вопроса, составлявшего его конек, без горячего возражения.

— Ты опять за свое... Сказывал я тебе, тельник на нем надет был золотой с алмазами, не холопью же отродью надевать такой будут. До конца прошлого года хранил я его у себя в образной, не раз и тебе его показывал, и только с месяц тому назад, как Якову исполнилось восемнадцать лет, возвратил ему. Да и по лицу, по сложению, по разуму его видна порода, не меня кому-либо учить различать людей...

Князь Василий нахмурился.

— Где же он теперь, что поделывает? — спросил его брат.

— Чай, у себя в горнице, по обыкновению, за книгой сидит. С нынешнего года к лекарской науке пристрастился, у Бомелия в учениках ходит!

— У Бомелия? — удивился князь Никита.

— Не боярская это наука, сам знаю, да без имени боярин — что басурман; все наука лучше разбойного дела, а ему, сиротинке, только и было два выбора, ну, из двух зол я и выбрал меньшее. А захребетником моим быть гордость ему не дозволяет, так мне и высказал, порода-то не свой брат, заговорила.

Князь Василия пустился в длинную похвальбу своего приемыша.

Цель князя Никиты была достигнута — разговор о придворных делах не возобновлялся.

VIII

Подкидыш

В одной из отдаленных горниц обширных хором князя Василия Прозоровского, сравнительно небольшой, но все же просторной и светлой, с бревенчатыми дубовыми, как и во всех остальных, стенами, за простым деревянным столом и на таком же табурете сидел молодой человек лет восемнадцати. Два широких окна горницы выходили в обширный, запущенный снегом сад, сквозь оголенные, покрытые инеем деревья которого виднелась узкая лента замерзшей Москвы-реки, а за ней скученные постройки тогдашнего Замоскворечья.

Кроме стола и табурета в комнате стояли две лавки у стен да кровать с пузатой периной и несколькими подушками; на полке, приделанной к стене, противоположной переднему углу, лежали, в образцовом порядке, несколько десятков книг в кожаных переплетах и свитков с рукописями.

Одна из книг лежала открытою на столе перед сидевшим юношей.

Из переднего угла кротко глядел, освещенный большою лампадою, лик Богоматери греческого письма.

Сидевший был брюнет: волнистые волосы густою шапкой покрывали его красиво и правильно сложенную голову и оттеняли большой белый лоб, темные глаза, цвета, неподдающегося точному определению, или, лучше сказать, меняющие свой цвет по состоянию души их обладателя, смело и прямо глядели из-под как бы нарисованных густых бровей и их почти надменный блеск отчасти смягчался длинными ресницами; правильный орлиный нос с узкими, но по временам раздувающимися ноздрями, и алые губы с резко заканчивающимися линиями рта придавали лицу этого юноши какое-то властное, далеко не юношеское выражение. Пробивавшиеся уже темным пухом усы и борода резко оттеняли белизну кожи и яркий румянец щек.

Роста повыше среднего, широкоплечий и мускулистый, он на всякого производил впечатление того сказочного русского витязя, описаниями которого полны народные песни и былины.

Одет он был в кафтан тонкого черного сукна; черные же шерстяные шаровары были засунуты в высокие сапоги желтой кожи, красиво облегавшие стройную ногу. Вся его фигура, до белых с тонкими пальцами рук включительно, красноречиво говорила о породе.

Это и был тот подкидыш Яков Потапов, о котором беседовал с братом князь Василий и упоминание чьего имени черномазю Танюшей смутило княжну Евпраксию и некоторых находившихся в ее светлице сенных девушек.

Яков Потапович был далеко не занят чтением лежавшей перед ним латинской книги. Глаза его были устремлены в окно, но едва ли внимание его могло быть приковано той видневшейся ему картиной, которую он мог достаточно изучить в проведенные им в княжеском доме, и даже в этой самой горнице, годы. По выражению его глаз можно было заметить, что перед ними проносились иные, невидимые никем, кроме него, картины.

Годы, проведенные им под кровом приютившего его князя Прозоровского, с тех пор, как только стал он себя помнить, с лет самого раннего детства, проносились перед ним однообразной чередой.

Воспоминания всего пережитого в первый раз посетили его. До сей поры жизнь его текла безмятежною струей: не задумывался он над своим положением в княжеском доме, считая себя дальним родственником своего благодетеля, сиротой, лишившимся еще в колыбели отца и матери; для мыслей о будущем также не было места в юной голове, — юноши живут настоящим, а это настоящее было для него светло и радостно, вполне, впрочем, лишь до последнего года.

Помнит он себя совсем маленьким: помнит — и тогда удал он был. Начнут, бывало, ребята в городки играть — беда той стороне, что супротив его. Разлетится, словно сокол ясный, как расходится в нем кровь молодецкая, и начнет он валять направо и налево — сам старый князь Василий только радуется, глядя из окна с молодой женой и малюткой-княжной Евпраксией. Борьба ли с кем начнет он или на кулачках биться — даст себя скорее на землю свалить, чем подножку подставить или что против уговора сделать. Все, бывало, снесет он, а лукавства ни себе, ни другим не позволит.

Любил и хвалил его за это князь Василий.

С двенадцати лет отдали его в науку одному из приезжих «бусурманов»; не показалась трудна ему ни своя, ни латинская грамота, а года с два уж он проходит лекарскую науку у Бомелия и доволен им этот «колдун и чародей», как звали его в народе.

Все это вспоминается Якову Потаповичу, а наряду с этим проносятся и другие воспоминания — детские игры с княжной Евпраксией, подраставшей и расцветавшей на его глазах. Сильно привязались они друг к другу с молодой княжной, не расстаются, бывало, в часы и игр, и

забав. Годы между тем летят своей чередой, в сердце юноши пробуждается иное чувство, любовь пускает свои корни на почве детской привязанности, кровь молодая горит и волнуется, не сдержит взгляда — и обожжет он невольню красавицу-княжну.

Та тоже что-то переменялась — сторониться стала. Кончились игры — и дружба порвалась, но мечты влюбленного юноши остались и что день, то росли и все сбыточнее казались ему.

Родня-то он княжне дальняя, князь Василий души не чаёт в нем, отчего бы и не сбыться радужным грезам?

Молодец он из себя красавец — сам знает, на то глаза есть. Сенные девушки молодой княжны под взглядом его молодецким только ежатся, так и выются вьюнами вокруг него, особенно одна — чернобровая... Да на что ему, боярину, их холопья любовь? Не по себе дерево рубить вздумали — пришибет неровен час. Княжна, княжна... касаточка...

И вдруг...

Смертельной бледностью покрылось лицо Якова Потаповича; до крови закусил он свои алые губы; две слезы назойливые блеснули на ресницах, но он смахнул их молодецким движением.

Восстало в его памяти недавнее свидание с князем Василием, глаз на глаз, в его опочивальне.

Могильным холодом охватило всего Якова Потаповича.

Было это в день его рождения, когда исполнилось ему восемнадцать лет.

Позвал его старый князь к себе, поздравил с торжественным днем и подал ему золотой крест, осыпанный алмазами, на золотой цепочке.

Чувствует Яков Потапович и теперь его на груди своей, — жжет он его, как раскаленным железом.

Слышится ему речь князя Василия, тихая да ласковая. Но какой ужасный смысл для него имела она.

— Я тебе всегда буду вместо отца, но не родня ты мне... Ведомо мне доподлинно, что ты не простого роду, а боярский или княжеский сын, но чей — мне неведомо, и нет у тебя ни отчества, ни родового прозвища. Ровно восемнадцать лет тому назад, в лютый мороз, под вечер, ключник мой, Потап, — лежит он уже в сырой земле, — нашел тебя в корзине у калитки, что в сад от реки ведет. Шел от с прорубей — верши поправлял. У меня с княгинюшкой в те поры еще детей не было. Принял я тебя, тельник с тебя снял и положил к образам, а тебя окрестили сызнова и назвали Яковом, а по отцу крестному, тебя нашедшему, стал ты Потаповым. По тельнику судя — рода ты знатного, но кто ты — о том мне неведомо...

Обнял его князь и поцеловал крепко-накрепко, видя, что он затуманился.

— Не кручинься, молодец, может, твой род и сыщется. А на всякий раз науки не бросай. Не боярское это дело, да боярин без имени — что басурман.

И теперь, как тогда, страшною горечью наполнилось сердце Якова Потаповича при воспоминании об этих словах старого князя.

«Без роду, без прозвища. Как траве без корней — перекасти-поле — катиться мне по полю житейскому... Прощайте, сладкие мечты! Прощай, княжна, моя лапушка!.. Легко на словах

попрощаться, а как из сердца-то вырвать? Смерть лучше, чем жизнь такая бездольная»!..

Таковы были первые мысли Якова Потаповича после беседы с князем Василием.

Любовь и молодость взяли, однако, свое. Небесная искра надежды снова затеплилась в сердце.

— А может, род мой и сыщется! Если же нет...

Он на мгновенье задумался.

— Не гожусь в мужья — пригожусь в холопья верные, — может, когда и мои услуги ей понадобятся. Сердце не надобно — головы не пожалею, за нее положу, за мою лапушку. Жить будет Яков Потапович только для тебя, княжна, и умрет только за тебя или для тебя, мое солнышко!

Неудержимым криком наболевшего любящего сердца вырвались эти слова у юноши.

Клятвой великой, клятвой исполненной, не пустыми словами оказались они, как увидим далее.

Не ведала юная княжна Евпраксия Васильевна, слушая песни своих сенных девушек, что в эту минуту ограждена на всю жизнь ее безопасность святою решимостью многолюбящего сердца.

Не ведал и князь Василий, расхваливавший в это время брату своего приемыша, какую великую службу сослужит этот приемыш его дочери, какую великую сторицею заплатит он за приют, любовь и ласку его.

IX

Сон Якова Потапова

Солнце давно уже закатилось. Ночной сумрак окутал землю.

Засидевшийся с братом долее вечерен князь Никита давно уже уехал со своею челядью.

Сам князь Василий отошел на покой, огни были потушены, и все в доме погрузилось в глубокий сон.

Спал и Яков Потапович, утомленный проведенным в мучительных думах днем, не первым со дня роковой беседы с князем Василием. Молодой организм взял свое, и сон смежил очи, усталые от духовного созерцания будущего. Спал он, но в тревожных грезах продолжала носиться перед ним юная княжна Евпраксия — предмет непрестанных его помышлений за последние дни.

Видит он во сне, что идут они с княжной узкой тропинкой дремучего леса; вдали виднеется зеленая полянка; цветы лазоревые рассыпаны по ней; солнце приветливо и ярко освещает эту далекую чудную картину и светлые очертания этой красивой полянки еще резче выделяются от господствующего кругом лесного мрака, так как сквозь густолиственные верхушки вековых деревьев чуть проникают лучи дневного светила.

Идут они с княжной рука об руку, почти ощупью; то и дело спотыкается она о корни деревьев, переплетающихся по тропинке; но бережно поддерживает он свою дорогую спутницу.

Вдруг раздается свирепый змеиный шип и из чаши леса с раскрытым зевом, с трепещущим в нем ядовитым жалом, прямо на княжну Евпраксию бросается огромный змей. Вскрикивает княжна и невольно прячется за спину своего спутника.

Схватывает он змея своими могучими руками прямо под голову, жмет ее изо всей силы, наливаются кровью глаза чудовища, и вдруг струя алой крови как фонтаном брызжет из пасти и жало смертоносное падает к ногам Якова Потаповича.

Выпускает он из рук бездыханное, казалось ему, чудище, падает оно наземь, но, к ужасу его, вновь схватывает потерянное им жало и с злобным шипом быстро удаляется в лесную чащу.

Хотел погнаться он за ожившим змеем, да оглянулся на княжну — и видит, лежит она на тропинке без памяти, вся алою кровью забрызгана. Забыл он и чудище, и все на свете, бросился к Евпраксии, близко наклонился к ней — и крови алой еще больше стало на голубом сарафане.

Взял он ее за белую руку, открыла она свои чудные глаза и приподнялась, зардевшись, как маков цвет. Наполнилось сердце его радостью неописанной — невредима она стоит перед ним, а кровью они оба обрызганы из пасти скрывшегося чудовища.

Далее путь держат они — далеко еще все светлая полянка. Кажется, что чем дальше идешь, тем дальше и она уплывает от жадно прикованных к ней взоров путников.

Идет Яков Потапович уже оглядываясь, за княжну опасаясь, нет ли какой опасности; держит ее крепко за руку, чувствует, как дрожит эта маленькая рука; идут они тесно бок о бок, чувствует он, как трепещет ее сердце девичье. Идет, ведет ее, глядит по сторонам, а вверх не взглядывает.

Вдруг зашумело что-то вверху; поднял голову Яков Потапович и видит — коршун громадный из поднебесья круги задает и прямо на княжну Евпраксию спускается. Выступил вперед Яков Потапович, заслонил собою дорожную спутницу и ждет врага, прямо на него глядячи. Как камень падает коршун сверху к нему на грудь, клювом ударяет в самое сердце, да не успел глубоко острого клюва запустить, как схватил его добрый молодец за самую шею и сжал, что есть силы, правой рукой.

Это что же за притча такая: почудилось али нет Якову Потаповичу, что держит он в руке не коршуна, а того же змея, что ушел перед тем в чащу леса. Выпустил он птицу из руки — и поднялась она быстро над верхушками вековых деревьев, скрывшись из виду с злобным карканьем.

Княжна стоит поодаль, ни жива ни мертва — не шелохнется.

Чувствует Яков Потапович жгучую боль в левой стороне груди, из свежей раны алая кровь сочится, да не до того ему — спешить надобно.

Снова берет он княжну за руку белую, снова ведет далее свою лапушку, и чудная полянка близится. Не одна трава зеленая и цветы лазоревые на ней виднеются, поднимается вдали белая высокая стена, а за нею блестят золотые кресты церковей Божиих.

— Видно, обитель иноческая, — думается во сне Якову Потаповичу.

Вот уже несколько шагов осталось, стало светлей и на лесной тропинке, как вдруг в лесу страшный треск послышался, точно кто на ходу деревья с корнем выламывает, и все ближе, ближе тот шум приближается.

Остановились в страхе оба путника. Добежать бы надобно, да полянка-то ясная опять вдаль ушла, — чуть виднеется, в лесу же мрак сгустился еще непрогляднее, еще ужаснее.

Медленно выходит на тропинку громадный матерый серый волк, глазища горят зеленым огнем, из полураскрытой пасти глядит кровавый язык, облизывает он им губы красные в предвкушении добычи.

Прет он прямо на княжну и на Якова Потаповича.

Снова заслоняет последний княжну своею могучею грудью, вынимает из-за пояса длинный нож, и не успевает «серый» облапить его, как вонзает он нож ему в грудь по самую рукоятку.

Задрожал зверь, застонал диким голосом, и от этого стога весь лес как бы вздрогнул, а эхо гулкое тот стон на тысячу ладов повторило, — упал «серый» бездыханный к ногам Якова Потаповича.

Глядит тот и дивуется — у волка-то голова змеиная.

Поглядел Яков Потапович на княжну, стоит та веселая, радостная и приветливо ему улыбается.

Собрались дальше идти, ан дорога-то загорожена — мертвый зверь поперек лежит, от ствола до ствола во всю длину протянувшись.

Перешагнуть его надо, да взял Яков Потапович княжну, перевести хотел, а она вся побледнела, задрожала, не идет — упирается.

Схватил он ее на руки, да с ношей драгоценной и перескочил через зверя прыжком молодецким.

Глядь, они на самой полянке очутились перед воротами обители.

Гулко звонят Божьи колокола, а из-за ограды доносится до них стройное пение.

Посмотрел Яков Потапович на себя и на княжну — оба они в белоснежных одеждах: ни кровинки на них не виднеется.

Тихо тяжелые ворота обители отворяются — храм Божий, весь освещенный внутри, а снаружи озаренный лучами солнечными, предстает перед глазами путников.

Вдруг по лесу, что позади их остался, раздается свист неистовый. Обернулся Яков Потапович — и в тот же миг и обитель, и княжна — все исчезло; остался он один среди светлой поляны, а на ней кругом, насколько видит глаз, ничего, кроме травы зеленой да цветов лазоревых.

По лесу же, вместо свиста, злобный хохот так и раскатывается.

Проснулся Яков Потапович весь в холодном поту — темная ночь глядит в окно.

Осенил он себя крестным знаменем и снова заснул.

И снова весь сон ему привиделся.

Проснулся он — поредела лишь немного ночная тень.

Опять засыпает он, и опять тот же сон ему видится.

Просыпается он и в третий раз — чуть брезжущий свет зимнего утра в окно врывается.

Хочет он заснуть еще раз и не может — с боку на бок лишь ворочается.

Заря утренняя уж на небе загорелась.

Встал Яков Потапович, оделся, в сени пошел, умылся ледяной водой и вышел на двор смотреть, как утро с ночью борется, как заря ночную тень гонит взащей.

Прошел он широкий двор, вошел в сад, к реке стал спускаться, к той калиточке, где восемнадцать лет тому назад лежал он в корзиночке, неизвестно кем на произвол судьбы брошенный.

«Плакала ли о нем его родимая матушка? Может, до сей поры, родная, слезами обливается. Где-то его родимый батюшка? Чай, в сырой земле лежит давно, али, может, в чужедальной сторонушке горе мыкает».

На минуту, впрочем, эти мысли посетили его голову — снова вещий сон вспал ему на ум.

«К добру или к худу он? — раздумывает Яков Потапович. — Полагать надо, что к добру, потому княжну от трех напастей вызволил. Но кто-то будет для нее тем чудищем — что в трех видах во сне появилось? Вещий это сон от Господа, надо смотреть в оба, тотчас же прогнать ворога, каким бы зверем или добрым молодцем он ни прикинулся. Вызволить-то вызволил, а уберечь не мог, скрылась княжна от него и остался он снова один сиротинушка! — раздумывает он далее. — Ну, да скрылась она с Божьей обителью — худа ей в том не предвидится», — успокаивает себя Яков Потапович и идет себе, понутив голову.

Вдруг шум легких шагов долетает до его слуха. Поднимает он голову — перед ним стоит Таня чернобровая, любимая сенная девушка княжны Евпраксии.

В одной душегрейке, на заре, в саду, и видно ей не холодно.

Щеки огнем горят, глаза черные, лучистые, глядят прямо на него, вызывающе.

Остановился он как вкопанный.

Что ей от него надобно?

Х

В опочивальне княжны Евпраксии

Две свечи желтого воска мягким светом озаряли опочивальню юной дочери князя Василия Прозоровского, и блеск их беловатого пламени сливался с блеском лампы, отражавшимся в драгоценных окладах множества образов в киоте красного дерева с вычурной резьбой.

Сама опочивальня, тонувшая в этом мягком полусвете, представляла из себя довольно обширную комнату с двумя окнами, выходившими в тот же сад, куда выходили окна комнаты Якова Потаповича, и завешанными, за поздним ночным временем, холщовыми, вышитыми узорным русским шитьем занавесками, с большой лежанкой из белых изразцов с причудливыми синими разводами.

У стены, слева от входа, стояла высокая кровать с толстейшей периной, множеством белоснежных подушек и стеганым голубым шелковым одеялом. В углу, противоположном переднему, было повешено довольно большое зеркало в рамке искусной немецкой работы из деревянной мозаики, а под ним стоял стол, весь закрытый белыми ручниками, с ярко и густо вышитыми концами; несколько таких же ручников были повешены на зеркало.

Атмосфера комнаты не была, по обычаю того времени, жарко натопленной, но входившего

охватывала чарующая, манящая к неге, умеренная теплота, а вместе с тем и какая-то живительная свежесть.

В тот момент, когда мы нескромным взором, по праву бытописателя, заглянули в считавшуюся в те давно прошедшие времена недоступной для взора постороннего мужчины девичью спальню, княжна была уже в постели, но не спала.

Прикрытая небрежно откинутым одеялом только до половины груди, в белоснежной кофте, с заплетенными в толстую косу роскошными волосами она была прелестна в своем ночном наряде.

Княжна полулежала, облокотивши голову на левую руку, а перед ней, на низкой скамейке, сидела ее любимица, знакомая уже нам чернобровая и круглолицая Таня. Тот же, как и днем, кумачный сарафан стягивал ее роскошные формы, длинная черная коса была небрежно закинута на правое плечо и змеей ползла по высокой груди.

Княжна и ее любимица молчали, как бы погруженные каждая в свои собственные думы.

Но смолкли они незадолго перед этим. Более часу вели они вполголоса оживленную беседу.

Спавшая чутким старческим сном нянька княжны Евпраксии старушка Анна Панкратьевна, устроившаяся на теплой лежанке, несколько раз просыпалась от их непрерывавшегося полупшепота и наконец заворчала:

— Не наговорились за день-то, полуношницы! Ночь на дворе, добрые люди третий сон видят, а они, как басурманки какие, после молитвы ни весть о чем перешептываются! Уймись вы, неугомонницы!..

Старушка перевернулась на другой бок и снова заснула, о чем красноречиво засвидетельствовало ее легкое похрапывание.

От этой ли отповеди Панкратьевны, как звали все в княжеском доме старушку-няню, вынянчившую и покойную княгиню, и молодую княжну, горячо любимую последней и уважаемую самым старым князем, оттого ли, что на самом деле наговорились они досыта, но молодые девушки вдруг примолкли.

Старушка Панкратьевна была права, утверждая, что они «после молитвы ни весть о чем перешептываются». Далеко не божественного касались их девичьи задушевные разговоры среди ночной тишины.

Говорила, впрочем, более одна Таня, княжна же слушала ее, задавая лишь по временам односложные вопросы, и слушала с непрерывным интересом и трепетным вниманием.

Лицо княжны то пылало вдруг загоравшимся румянцем, то бледнело, видимо, от внутреннего волнения, а глаза ее то искрились радостью, то подергивались дымкой грусти, то влагой истомы.

О чем же о таком говорила ее любимица, что так волновало молодую девушку?

Нетрудно догадаться, что говорила она о том чувстве, которое впервые заставляет до наслаждения больно сжиматься сердце на расцвете юности, — о чувстве любви. Княжна еще не испытала его.

Несмотря на раннее развитие тела, мысли о существовании другого пола, долженствующем пополнить ее собственное «я», не посещали еще юной головки, хотя за последнее время, слушая песни своих сенных девушек, песни о суженых, о молодцах-юношах, о любви их к своим зазнобушкам, все ее существо стало охватывать какое-то неопределенное волнение, и

невольно порой она затуманивалась и непрошенные гости — слезы навертывались на ее чудные глаза.

Княжна не могла объяснить себе этого чувства, да и не пыталась.

Образ красивого, статного юноши, воспеваемого песнями, лишь порой мелькал в ее девичьем воображении. Более всех из виденных ею мужчин под этот образ подходил Яков Потапович, но его, товарища детских игр, она считала за родного, чуть не за сводного брата и не могла даже вообразить себе его как своего суженого, как того «доброего молодца», что похищает, по песне, «покой девичьего сердца». Спокойно, до последнего времени, встречала она его ласковый взгляд и слушала его тихую, сладкую речь.

Лишь незадолго перед описываемым нами временем стала она как-то инстинктивно сторониться от него, избегать беседы с ним. Огневой взгляд его глаз стал смущать ее, вызывая на лицо жгучую краску стыда. Она, сама не зная отчего, стала бояться его.

Она поняла теперь, что это не любовь. Не то говорила об этом чувстве чернобровая Таня.

— Кипит в сердце кровь смолою кипучею, места не находишь себе ни днем, ни ночью, постылы и песни, и игрища, и подруги без него, ненаглядного; век бы, кажись, глядела ему в ясные очи, век бы постепенно сгорала под его огненным взором. Возьмет ли он за руку белую — дрожь по всему телу пробежит, ноги подкашиваются, останавливается биение сердца, — умереть, кажись, около него — и то счастье...

— Да кого же любишь ты, коли все так знаешь доподлинно? — допытывалась княжна, слушая восторженные речи своей любимицы.

— А тебе, княжна, на что знать? Ведаешь, чай, пословицу: «Много будешь знать — скоро состаришься». С тобой на одной дорожке, авось, не столкнемся — не пара он тебе. Не холоп он хотя, но без роду и племени... Кто он — никто не ведает.

Княжна удивленно смотрит на Таню.

У той щеки пылают, глаза горят, губы вздрагивают.

— А на тебя он, меж тем, свои буркалы частенько забрасывает, — не могла не заметить ты этого.

Глаза княжны, широко, с недоумением раскрывшись, глядели на говорившую.

— Ну, да обойдется теперь, как старый князь глаза ему открыл, каков он на самом деле есть добрый молодец! — продолжала Таня.

В ее голосе слышались злобно-насмешливые ноты.

— Кто же это такой? — низким шепотом, с тем же недоумением в глазах спросила княжна.

— Ишь, какая ты, княжна, недогадливая! Уж скажу тебе, — ужогу али нет, — не ведаю: кому быть иному, как не Якову.

Горевшие злобным огнем глаза сенной девушки так и впились в княжну Евпраксию.

— Якову? — повторила та. — Но как же ты говоришь без роду без племени? Ведь он нам с батюшкой родней приходится!..

Таня злобно усмехнулась.

— По забору по княжескому он в родне состоит с тобой, княжна, и с князем, твоим

батюшкой!..

— Что ты, Танюшка, несешь что-то несуразное?.. — перебила ее княжна. По какому такому забору?..

Не спуская с княжны пытливого взгляда своих горящих глаз, начала Таня передавать ей узnanную ею новость о том, что Яков Потапович подкидыш, найденный под забором княжеского сада у калитка, которая ведет на берег Москвы-реки.

Как ни старался князь Василий сохранить от всех в тайне разговор с Яковом Потаповичем в день его рождения, когда он передал ему его родовой тельник, не мог он этого скрыть от любопытной челяди, и пошла эта новость с прикрасами по людским и девичьим.

Шепотком, за тайну великую передавалась она из уст в уста и, как мы видели, дошла до княжны Евпраксии.

В конце этого рассказа Танюши и прервала беседу девушек своей воркотней проснувшаяся Панкратьевна.

Обе девушки, как мы видели, замолчали.

Княжна задумалась под впечатлением услышанной новости: жаль ей стало Якова, которого она с самого раннего детства привыкла считать за родного.

«Каково ему-то, бедному сиротинке!» — думалось ей.

О чем задумалась чернобровая Таня — как решить?

Довольна ли была она своим наблюдением над княжною, успокоившись, что в ней не будет для нее опасной соперницы, что не любит княжна Якова Потапова настоящею любовью, тою любовью, от которой готово разорваться на части ее бедное сердце? Задумалась ли Танюша о способе привлечь к себе своего кумира, приворожить его к себе на веки вечные, потому что смерть краснее, чем жизнь постылая, без любви, без ласки его молодецкой, с высокомерной его холодностью при встрече и беседе?..

А как избежать этих желанных встреч при жизни под одною кровлею?

Несколько времени длилось упорное молчание.

Танюша первая прервала его.

— А Панкратьевна и впрямь права: спать нам пора, княжна, — встала она, тряхнув головою и потягиваясь всем корпусом. — Покойной ночи!

Княжна не ответила ей ни слова.

Танюша загасила свечи и неслышной походкой вышла за дверь.

Задумавшуюся, полулежавшую княжну Евпраксию освещал лившийся из переднего угла мягкий, дрожащий свет лампы.

В опочивальне наступила тишина, изредка лишь прерываемая легкими всхрапываниями Панкратьевны.

XI

Первая бессонная ночь

Княжна Евпраксия не заметила ухода своей любимой сенной девушки, не заметила и того, что в опочивальне, когда Танюшей были потушены восковые свечи, стало темнее. Но молодая девушка не спала.

Она полулежала на своей мягкой постели с широко раскрытыми глазами, устремленными в одну точку.

Легкие подергивания линий ее красивого рта и появление изредка чуть заметных морщинок на ее точно высеченном из мрамора высоком лбу выдавали обуявшие ее думы.

Страстные речи Танюши произвели на этого полуробенка, полудевушку сильное, неотразимое впечатление. Она впервые поняла, что стоит на рубеже иной жизни, иных ощущений, что эти ощущения и составляют истинный смысл грядущей настоящей жизни, что они страшны, но привлекательны, мучительны, но сладки.

Такою жизнью живет Таня, такие ощущение переживает она теперь.

И княжне становится страшно за свою любимицу, и вместе с тем завидует она ей.

Это воспетое в песнях чувство любви, которое составляло для нее до сей поры только слово — звук пустой, вдруг воплотилось в воображении молодой девушки в нечто неотразимое, неизбежное для нее самой, в нечто ею видимое и ощущаемое, в какой-то томительно-сладкий кошмар.

— На тебя он свои буркалы закидывает! — припоминается ей резкая фраза Танюши.

Мысли княжны сами собою переносятся на Якова Потаповича, а вместе с тем невольно приходят воспоминания так еще недавно минувшего детства.

Образ ее покойной матери, княгини Анастасии, восстает перед ней.

Видит она ее красивое, с выражением небесной кротости, лицо, взгляд ее умных и нежных глаз как бы и теперь покоится на ней; чувствует княжна на своей голове теплую, мягкую, ласкающую руку ее любимой матери.

Две блестящие слезинки выступают на чудных глазах княжны Евпраксии.

Припоминает она свою дорогую мать во время ее болезни. Заболела она огневицей[4] ни с того ни с сего; ума не могли приложить домашние, где она ознобилась: разве в амбаре по хозяйству налегке задержалась.

В то далекое время наши предки не любили лечиться у ученых лекарей, считая их, с одной стороны, басурманами, так как они приходили к нам из-за границы, а с другой — чародеями, знающими с нечистой силой. Все, начиная с последнего холопа до знатного боярина, пользовались советами домашних знахарей, которые лечили простыми средствами, и иногда очень удачно.

Старая нянька Панкратьевна была в княжеском доме и лекарь, и акушерка, и отличная ворожея.

Все знания, все старания свои приложила она к уходу за больной княгинюшкой, — тоже ее воспитанницей, в которой она, как и в ее дочери, души не чаяла, — да ничто не помогло побороть болезнь.

Старый князь решил позвать Бомелия.

Поворчала старуха втихомолку, «не ладно-де отдавать православную княгиню в руки нехристя», да смирилася: «Авось милосердный Господь помилует».

Не помогла, увы! и «басурманская» наука, только «даром осквернили голубушку-княгинюшку», как умозаклучила Панкратьевна.

Отдала княгиня Богу душу, очистив себя, впрочем, последним покаянием и напутствием в жизнь вечную.

Искренне пожелали «золотой княгинюшке», этому «ангелу на земле», как называли ее домашние, царства небесного все, до последнего холопа в княжеском доме.

Сам князь Василий был положительно ошеломлен разразившимся ударом.

Смерть горячо любимой матери была для юной княжны Евпраксии первым жизненным горем, первую черную тучу на горизонте ее безоблачного детства.

Удвоившаяся к ней нежность отца, пришедшего наконец в себя от безвозвратной потери, все же не могла заменить ей ласк матери. Да и не со всеми волнующими ее молодой ум вопросами может обратиться она к отцу.

Инстинктивно догадывалась она, что не поймет он, мужчина, при всей его к ней любви, многого из ее девичьих дум.

Ощутительнее всего это отсутствие матери, это полусиротство явилось для молодой княжны в описываемую нами ночь, после ее разговора с Таней.

Запали горячие речи сенной девушки в юную головку княжны Евпраксии.

Сама не ведает она, что творится с ней, а творится что-то неладное. Кровь кипучая бушует во всем теле, то в жар, то в озноб бросает княжну, голова горит, глаза застилаются мелкою сеткою. Не испытала она до сих пор ничего подобного! Что с ней такое приключилось? Кабы была жива родимая матушка, побежала бы она к ней, как бывало, прижала бы к ее груди свое зардевшееся личико, передала бы ей, что томит ее что-то неведомое, не весть что под сердце подкатывается, невесть какие мысли в голове ходуном ходят, спать ей не дают, младешеньке. Объяснила бы ей ее матушка, что ключится с ней, успокоила бы свою доченьку, и заснула бы она сладким, тихим сном у груди материнской. А теперь, увы! сон бежит от ее воспаленных глаз.

Не спит княжна и всякие думы думает. Разбудить, разве, няньку Панкратьевну, да начнет она причитать над ней, да с уголька spryskivay: сглазил-де недобрый человек ее деточку, сказки, старая, начнет рассказывать, все до единой княжне знакомые. Чувствуется княжне, что не понять Панкратьевне, что с ней делается, да и объяснить нельзя: подвести, значит, под гнев старухи Танюшу — свою любимицу. Доложит она как раз князю — батюшке, а тот, во гневный час, отошлет Танюшу в дальнюю вотчину — к отцу с матерью.

От Панкратьевны это сбудется: не любит она «врогострогую занозу и смутьянку», только и есть у нее для Танюши прозвища.

Знает княжна, что горячо, беззаветно любит ее Панкратьевна и тем более не простит Тане, что смутила покой ее «ненаглядной княжны-кралечки», ее «сиротинки-дитятки Божьего».

«Уж одна как-нибудь до чего-нибудь да додумаюсь!» — решает княжна, и снова бегут перед ней картины прошлого и снова отдается она во власть воспоминаний.

— На тебя свои он буркалы закидывает!

Как живой стоит перед ней Яков Потапович. Припоминает она с ним свои игры детские: как ловко скатывал он ее, бывало, зимой с высокой горы, индо дух у нее захватывало! Отчего же на последях стало ей его вдруг боязно? Не знает, с чего стала она избегать его сама?! Поглядит он на нее — краскою жгучею стыда покрывается ее лицо белое и спешит она поскорей от него уйти, глаза потупивши.

«Об этих взглядах, видно, и говорит Танюша, что он на нее закидывает буркалы. Да с чего же это он? Ужели она ему полюбилась, не только как родная, или по играм подруженька, а как красная девица полюбиться должна добру-молодцу, как хочет Танюша полюбиться ему?» — задает себе княжна мысленно вопросы.

Не бьется в ответ на них ее сердце девичье учащенным биением, не ощущает княжна того трепета, о котором говорила Танюша как о признаке настоящей любви. Не любит, значит, она Якова Потаповича тою любовью, о которой говорится в песнях, а если привыкла к нему, жалеет его, то как родного, каким она привыкла считать его, как товарища игр ее раннего детства.

— Не можешь ты мне быть соперницей, не пара он тебе! — вспоминается княжне опять речь Танюшина.

«Значит, и я могу то же, что она, чувствовать! Оттого, может, и тяжело мне, что впервые я это сведала? Где же мой-то суженый? В каких местах хоронится? Скоро ли явится?»

Гвоздем засели вопросы эти в юную головку княжны Евпраксии; переворачивает она их на все лады.

Время в ночной тиши пролетает незаметно.

Не спится совсем княжне, даже не дремлет.

Заря утренняя уже в края окон, сквозь занавеси, пробивается.

На дворе вдали где-то дверью хлопнули.

Жмурит княжна насильно глаза свои — не смыкает их на заре сон живительный.

Вот и солнышко встало и заиграло лучом по занавесям, в горницу пробралось, скользнуло по стене, по лежанке, по морщинистому лицу спящей Панкратьевны. Заворочалась старушка, глаза раскрыла, зевнула раза три, осенив свой рот крестным знаменем, и стала спускаться с лежанки.

Притаилась княжна Евпраксия, закрыла глаза, притворилась спящею.

Слышала она, как подошла к ней Панкратьевна, поправила одеяло и на цыпочках вышла из опочивальни.

Вернувшись через часок, она застала уже княжну проснувшуюся.

— Хорошо ли, касаточка, выспалась? — спросила ее заботливая нянюшка.

— Благодарствуй, нянюшка, что ни на есть лучше выспалась, — в первый раз в жизни солгала своей няне княжна.

Так и не узнала Панкратьевна о первой бессонной ночи своей питомицы. Не догадалась старуха, что княжна, ее касаточка, по русской пословице, «не спала — да выспалась», легла

ребенком — встала девушкой.

XII

Любовь сенной девушки

Не спала в эту ночь и «востроглазая смутьянка» Танюша, нарушившая душевный покой княжны Евпраксии, заставившей ее впервые испытать весь ужас бессонницы.

Вышедши из опочивальни княжны, она вошла к себе в горенку, находившуюся рядом, и, не вздувая огня, скорее упала, чем села, на лавку у окна, вперив взгляд своих светящихся в темноте глаз в непроглядную темень январской ночи, глядевшую в это окно.

Еле брезжущая лампада перед образом Спасителя слабо озаряла передний угол, оставляя все остальное пространство маленькой горенки почти во мраке.

Стол, кровать да деревянная укладка, стоявшая в углу, довершали незатейливое убранство жилища любимой сенной девушки княжны Евпраксии.

Познакомимся поближе с этой далеко не второстепенной героиней нашего правдивого повествования.

Таня, Танюша — как звала ее княжна, Татьяна Веденеевна — как полупочтительно величали ее, ввиду ее близости к молодой княжне, княжеская дворя, Танька-цыганка — по заочному прозвищу той же дворни, была высокая, стройная, молодая девушка. Черные волосы, цвета вороньего крыла, обрамляли смуглое, почти с бронзовым оттенком круглое личико, с задорным, вызывающим выражением; большие, черные как уголь глаза метали искры сквозь длинные ресницы из-под густых дугообразных бровей.

Татьяне Веденеевне шел двадцатый год. Только что набросанный нами портрет этой княжеской сенной девушки красноречиво доказывал, что прозвище цыганки не было лишено достаточных оснований. Тип лица Танюши был совершенно не русский.

Да и на самом деле она была настоящей цыганкой по происхождению.

Ее отец с матерью и двумя ее старшими братьями, случайно отбившись от своего табора, попали в дальнюю вотчину князя Василия Прозоровского, где у последнего были громадные табуны лошадей, и так как цыган Веденей оказался отличным коновалом, то князь Василий охотно принял его в свою дворню, отвел ему землю под постройки и помог обзавестись оседлым хозяйством.

Семейство цыган зажило в княжеской вотчине как у Христа за пазухой. Там и родилась Татьяна Веденеевна.

В одну из летних поездок князя Василия, после женитьбы, с семьей в эту вотчину, трехлетней княжне Евпраксии приглянулась семилетняя смуглянка Танюша, встреченная ею в саду. Каприз девочки, как и все капризы своей единственной боготворимой дочки, был исполнен князем Василием: цыганочка Танюша была взята в княжеский дом и княжна Евпраксия стала с нею неразлучной, привязавшись всей душой, к величайшей досаде старой няньки, к этому «иродову отродью», как прозвала Танюшу Панкратьевна.

Невлюбил маленькую цыганку и шестилетний Яша, — хоть она около него больше, чем около княжны, увивалась, — ни за что ни про что, а невлюбил.

Приехала Танюша в Москву, в хоромы княжеские, да в них и поселилась.

Княжна стала подрастать; росла и Танюша, и определена была к ней в число сенных девушек. Не изменилась к ней с годами княжна Евпраксия, так и осталась она ее любимицей: ей и сарафан с плеча княжны, благо княжна была рослая, ей и ленту в косу от княжны в подарочек.

Как сохранилась к Танюше привязанность княжны, так не исчезла и антипатия к ней Яши, ставшего уже Яковом Потаповичем, не любил он ее одну, кажись, во всем княжеском доме.

А она год за годом все загадочнее стала на него поглядывать, не сводит с него своих блестящих глаз; все норовит с ним остаться глаз на глаз, а Яков Потапович избегает ее, равнодушен совсем к красоте ее.

Эта холодность еще пуще распалает ее цыганскую кровь. Не глядит она ни на кого из княжеской дворни, а много среди этой дворни молодых парней, красивых и статных, хотя, конечно, не чета Якову Потаповичу.

Почти все они заглядывались на красавицу Танюшу.

Одного же из них, Григория Семенова, совсем извела ее красота дикая; сгинул парень, ни за что пропал, с год уже как в бегах числится.

Сидит Танюша у окна, вперила свои очи в мглу ночную, и все пережитое припоминается ей.

Слышатся ей сердечные, полные неподдельного отчаяния речи Григория Семенова.

Понимает она по себе теперь, что выстрадано было этим отвергнутым, любящим сердцем, что перечувствовал в те поры этот добрый молодец.

Красавец был он из себя: роста высокого, в плечах косая сажень, русые кудри кольцами вились, а с лица — кровь с молоком.

Служил он у князя Василия в доезжачих: не было никого удалей его на псовой охоте, любил его и дорожил им старый князь, не задумался бы дать согласие покрыть его любовь к сенной девушке честным венцом и наградил бы молодых по-княжески.

Да с сердцем своим ничего Танюша поделывать не могла. Не люб ей был красавец Григорий; нехотя приворожил к себе девушку чернокудрый Яков Потапович.

Памятен для нее день последней беседы ее с Григорием Семеновым. Загородил он ей дорогу в нижних сенях.

— Куда спешишь, красна девица, дай слово молвить недостойному.

Остановилась Танюша и оглядела его своим быстрым взглядом.

— Недосуг мне лясы точить попусту...

— А может и не попусту!.. — молвил Григорий Семенович.

— А какие такие дела завелись между нами? Что-то мне неведомо!..

— Уж будто и неведомо красной девице, что иссыхает и мрет от нее добрый молодец, как тень за нею бродит он, места себе не находит спокойного?..

— Нешто я причинна тому, что дурь лезет в голову добрым молодцам?

— Не шути с огнем, Татьяна Веденеевна, обожжешься, неровен час!..

— Не пугливого я десятка, не застращивай!.. И чего ты пристал ко мне? Сказано, недосуг мне языком чесать...

Хотела Танюша проскользнуть мимо него, да схватил ее Григорий Семенович за руку, как клещами сжал, индо она вскрикнула.

— Ошалел ты, что ли, парень, хватать так за руки?

— Ошалел и есть, совсем ты меня одурманила; коли больно сделал, прости Христа ради меня, окаянного, прости, но не уходи и выслушай...

Выпустил Григорий Семенович ее руку, и чудится и теперь Танюше вся боль душевная, с какою были им те слова сказаны.

Нечто вроде жалости к нему закралось в ее сердце девичье.

Согласилась она его выслушать.

Стал он говорить ей о любви своей, об испытываемой им муке мученической от ее невнимания.

Молчала она и ни слова ему не вымолвила.

— Скажи же напоследки мне: люб я тебе или не люб? — крикнул Григорий Семенович.

В голосе его слышалось отчаяние.

Не сказала она ему ничего в ответ.

— Коли люб, так мы с тобой честным пирком да и за свадебку; сейчас пойду к князю, до земли поклонюсь ему, не обездолит он своего холопа верного и заживем мы с тобой, моя лапушка, голубком с голубкою; в глаза буду век я глядеть тебе, угадывать, что тебе пожелается, верным рабом твоим по гроб остануся, а не люб если...

Глаза его затуманились, а лицо стало мрачнее грозной тучи.

— Отвечай же, не томи меня!.. — наболевшим голосом выкрикнул он эти последние слова.

Совсем было склонилось к нему сердце Танюши, да образ Якова Потаповича мелькнул перед глазами.

— За привет, ласку и доброе слово благодарствую, Григорий Семенович, но не люб ты мне...

Исказилось все лицо доброго молодца, очи огнем загорелись.

— Так попомни ж ты меня, Татьяна Веденеевна! Добром не захотела в закон идти — силком тебя возьму к себе в полюбовницы... С зарей не видать мне уж дома княжеского... Убегу в леса дремучие... Можешь похвалиться, что сделала ты из меня душегуба, разбойника... Отольются мои слезы теперешние, и не столько тебе, как разлучнику Якову... Падут на тебя и на него мои грехи будущие... Прощай же, красна девица... Недолго тебе придется ожидать Григория Семенова... Скоро подаст он о себе весточку... А пока, вот тебе последний земной поклон от любящего.

Не успела Танюша опомниться, как Григорий Семенович поклонился ей в ноги и как шальной выбежал из сеней.

Звучат до сих пор в ушах Танюши эти речи недобрые, и хоть не робкою родилась она, все же страх берет порой за будущее.

Первое слово он выполнил: в ту же ночь сбежал со двора княжеского и пропал, как в воду канул, несмотря на все розыски. Не таков он, чтобы второго не выполнить, хотя с год не подал о себе весточки.

Невольно бьется ожиданием сердце Татьяны Веденеевны, — мрачные предчувствия неминуемой, близкой беды все чаще и чаще стали посещать ее за последнее время.

А тот, для кого она загубила доброго молодца, за кого терпит теперь муку нестерпимую, все дальше и дальше от нее сторонится, не хочет знать ее — холопку княжескую.

С злобною радостью встретила она весть, что он не велика птица, не боярин именитый, а невесть кто, без роду и племени.

Авось спесь-то теперь пособьется с него, забудет о княжне, — далека она от него, как звезда небесная, — и ее ласке девичьей, горячей ласке, обрадуется.

— Будет моим он, хоть после сгнуть мне пришлось бы, али и впрямь идти в полюбовницы к разбойнику...

Так раздумывала Танюша, сидя у окна в своей горенке.

Утренняя заря занялась и застала ее за теми же думами.

Кипит ключом в ней кровь цыганская, как смола горючая.

— Только бы мне с ним встретиться...

Душно стало ей в горнице. Накинула она на себя душегрейку, спустилась вниз, в сад прошла отдышаться свежим воздухом.

Стук захлопнутой ею двери слышала из своей опочивальни не спавшая княжна Евпраксия.

Лютый мороз трещит на дворе, но не чувствует холода Татьяна Веденеевна. Бродит она бесцельно по саду, хрустит обледенелый снег под ее ногами, а то вдруг остановится как вкопанная, простоит на одном месте несколько минут, в даль воздушную вглядываясь и как бы к чему-то прислушиваясь.

Тишина кругом стоит мертвая, ветра нет, деревья не шелохнутся, все спит еще не только что в княжеских хоромах, но и в людских; собаки на дворе и те на заре прикорнули, за ночь умаявшись.

Вдруг доносится до Тани, бывшей уже в дальней части сада, шум чьих-то шагов, тяжелых, мужских, видимо, — снег хрустит сильнее, не то что под женской ногой.

Кто же это второй полуночник шатается?

Остановилась Танюша, прислушивается: все ближе, ближе, вот уж по саду шаги слышатся.

— Уж не Григорий ли вернулся ненароком? — мелькает в голове девушки мысль, не дававшая ей покоя за последние дни.

Сердце вдруг зачастило биением, ноги подкашиваются.

Вот мелькнула между деревьями стройная фигура молодецкая.

«И впрямь, кажись, вернулся, шальной! Бежать от него, схорониться», — было первую мыслью Танюши, но какая-то неведомая сила точно остановила ее на месте, а затем потянула навстречу раннему пришельцу.

Как пантера бросилась она по направлению все ближе и ближе слышавшихся шагов и как из земли выросла перед Яковом Потаповым.

XIII

На берегу Москвы-реки

Яков Потапов и Танюша, оба пораженные неожиданностью встречи, несколько минут молча глядели друг на друга.

Первый опомнился Яков и сделал движение, чтобы обойти остановившуюся несимпатичную ему сенную девушку, но Татьяна Веденеевна, как бы только и подстерегавшая это движение, быстро подскочила почти к самому лицу молодого человека, уже снова наклоненному вниз, и загородила ему дорогу.

Он вскинул на нее глаза и обвел ее удивленно-вопросительным взглядом.

— Чего это ты, добрый молодец, от красной девки, как от серого волка, в сторону мечешься, ладком даже не поздоровавшись?.. И с чего, спросить надо, ты спесивишься? Али боишься, что голова твоя боярская от поклона отвалится?..

Последние слова Тани звучали явной насмешкой.

Яков Потапович понял это. Вся кровь бросилась ему в голову, он до боли закусил свою нижнюю губу, но сдержался и отвечал, не возвышая голоса:

— Не след бы тебе, девушка, с глазу на глаз, в пустынном месте, чуть не ночью, с молодым мужчиной речи заводить праздные. Иди-ка, куда шла, своей дорожкой.

— Ишь, подумаешь, какой указчик нашелся!.. А может, мне с тобой одной дорогой и надобно!.. — рассмеялась вызывающим смехом Танюша.

— Что тебе, девушка, может быть от меня надобно — я не ведаю... — не глядя на нее, произнес Яков Потапович.

— Коли не ведаешь, так я тебе поведаю, все равно не миновать мне приходить к какому ни на есть концу!..

Услыхав эти загадочные речи, он снова вскинул на Таню взгляд своих черных глаз.

В это время на дворе, прилегающем к саду, раздались чьи-то шаги, где-то в людской хлопнула дверь, — словом, княжеская дворня, видимо, стала просыпаться.

— Несподручно нам тут с тобою, Яков Потапович, беседовать: лишние глаза да уши, неровен час, подглядят да подслушают, — вполголоса заговорила Таня.

— Да разве и впрямь дело есть? — недоверчиво спросил он.

— Знамо дело, я не в других, лясы попусту точить не охотница, потому и спрашиваю, где бы схорониться нам?

«Не от княжны ли засылочка?» — мелькнуло в голове Якова Потаповича.

— Где же тут схоронишься? — заметил он вслух.

— Эх ты, молодец, видно, мне моим девичьим умом пораскинуть приходится! Пойдем-ка на берег, там шалаш рыбацкий порожняком стоит; мы о святках с княжной да с девушками над прорубью гадали, так я видела.

Таня пошла, не оглядываясь, к калитке, ведшей из княжеского сада на берег Москвы-реки.

Она была уверена, что Яков Потапович последует беспрекословно за ней, и не ошиблась.

Рассчитывала ли она на мужское любопытство вообще, недостаток, упорно скрываемый, но несомненно присущий почти всем мужчинам, хотя этими последними и приписывается исключительно женщинам, или же была на его предположение, что дело ее касается княжны Евпраксии, любимицей, почти подругой которой была она, чего не мог не знать Яков Потапович?

В последнем случае ее расчет оказался, как мы видели, еще более верным.

«Что ей-то может быть от меня надобно? Наверное о княжне речь поведет. Может, есть ко мне от нее какое поручение?» — думал он, шагая по хрупкому снегу за свое путеводительницей.

Он не избег вековой ошибки всех влюбленных — думать, что все и вся касается предмета их непрерывных помышлений, касается исполнения их затаенных, подчас сознаваемых неосуществимыми, но все же кажущихся исполнимыми желаний.

Они скоро достигли калитки и вышли на берег реки. Морозный ветер на открытом пространстве стал резче, но шедшая впереди, одетая налегке Танюша, казалось, не чувствовала его: лицо ее, которое она по временам оборачивала к Якову Потаповичу, пылало румянцем, глаза блестели какою-то роковою бесповоротною решимостью, которая прозвучала в тоне ее голоса при произнесении непонятных для Якова Потаповича слов: «Все равно не миновать мне приходить к какому ни на есть концу».

Берег от сада к реке был крутой и неровный, но Таня шагала твердо и уверенно по протоптанной пешеходной тропинке, и Яков Потапович едва поспевал за нею, продолжая раздумывать, что поведает ему эта черномазая девушка от имени своей госпожи.

Вот и сплетенный из прутьев занесенный снегом рыбацкий шалаш, входное отверстие которого прикрыто прислоненным деревянным щитом, сбитым из нескольких досок.

Таня сильною рукою, но осторожно отодвинула этот щит, отодрав примерзшие к земле и к прутьям доски, и юркнула в образовавшийся оттого вход. Яков Потапович последовал за нею. В шалаше был полумрак. Свет проникал лишь в узкое верхнее дымовое отверстие, не сплошь засыпанное снегом, да в оставшуюся щель от полупритворенного щита. На земляном полу шалаша валялся большой деревянный чурбан...

— Садись, Яков Потапович, гость будешь, — указала на него с улыбкой Таня, а сама подошла к щиту и, ловко дернув его, закрыла им щель почти вплотную. Полумрак в шалаше еще более усилился. Якова Потаповича несколько смутила ее последняя выходка, тем более, что ему вспомнились не раз замеченные им прежде красноречивые, страстные взгляды, видимо бросаемые по его адресу эту «черномазою», как всегда он про себя называл Татьяну.

— Ну, говори скорей, что надо, а то вдруг тебя еще княжна взыщется...

— Не беспокойся, не взыщется: мы, почитай, целую ноченьку с ней проговорили, так она теперь спит и сны видит радужные, только не тебя в них, добрый молодец!..

Яков Потапович вспыхнул, снова угадав в этих словах ядовитую обдуманную насмешку.

— Говори же, какое дело есть, а так мне бобы разводить с тобой не приходится, да и некогда.

— За каким же это ты делом ни свет ни заря по саду шатаешься? От какого такого дела я оторвала тебя?..

Таня насмешливо в упор посмотрела на него.

Он стоял, нервно кусая губы.

— Говорю тебе, садись, — продолжала она, — потому речь моя долга будет, а в ногах правды нет... Коли хочешь узнать все доподлинно, удели хоть полчаса-то.

Яков Потапович пожал плечами и опустился на валявшийся чурбан.

«Коли почти целую ночь она с ней проговорила, значит о ней и речь будет», — пронеслось в его голове.

Таня между тем уселась рядом с ним и фамильярно положила ему руку на плечо.

Она как-то учащенно тяжело дышала; глаза ее горели в полумраке зеленым огнем.

Несколько минут она молчала, как бы собираясь с мыслями.

Якову Потаповичу, хотя он не сознался бы в этом и самому себе, стало почему-то почти жутко.

— Молод ты, Яков Потапович, но считают тебя все не по летам разумным, а потому понимаешь ты, чай, многое, что еще и не испытывал, поймешь, чай, и сердце девичье, когда первую страстную любовью оно распалается, когда притом не понимает или, быть может, не хочет понять той любви молодец, к которому несутся все помышления девушки... Понимаешь ли ты все это, Яков Потапович?

Она говорила быстро, каким-то подавленным полушепотом, близко наклонясь к нему.

Он ощущал ее огневое дыхание, чувствовал колыхание ее высокой груди.

Ему стало еще более жутко; он хотел отстраниться от нее, но она крепко держала его рукой за плечо.

— Понимаю, — прошептал он, невольно подчиняясь ее тону, — но о ком ты речь ведешь?

Последние слова он произнес чуть слышно.

Она не слыхала их или быть может сделала вид, что не слышит, и продолжала:

— А коли понимаешь, так и оценишь всю силу любви такой, что заставляет девушку отбросить самый стыд свой в сторону и самой избраннику сердца своего первой на шею броситься...

Она стремительно обвила его шею своими руками, что было делом одного мгновения.

— Люблю тебя, Яшенька, желанный, ненаглядный мой, давно люблю, изныла по тебе вся моя

душенька, бери меня, я твоя рабыня, верная до самой смерти!

Яков Потапович вскочил как ужаленный.

Танюша не отпустила своих рук и повисла у него на шее всею тяжестью своего тела, продолжая свой бессвязный шепот:

— Давно я ждала минуты этой, соколик мой ясный, ждала не дождалась... думала раздумывала, гадала да разгадывала...

— Прочь от меня!.. — хриплым голосом крикнул Яков Потапович и с силой старался оттолкнуть от себя висевшую на его груди девушку.

Это не удалось ему сразу, потому что она, как обезумевшая, все сильнее и сильнее прижималась к нему.

В шалаше произошла борьба.

Наконец, обессиленная Танюша выпустила шею Якова Потаповича и, упав к его ногам, обвила их своими руками.

— Не отгоняй меня, соколик мой, ответь хоть раз на мою ласку, девичью, горячую, а потом хоть убей меня, бесталанную.

— Поди, поди от меня; я думал, ты не от себя речи ведешь, непутевая!..

Он быстрым скачком вырвался из ее рук и, побежав к щиту, сильным ударом плеча вышиб его.

За ним раздался дикий хохот вскочившей на ноги Танюши.

— А ты думал, что я от княжны, твоей касаточки, верною холопкою с засылкою к тебе, боярину подзаборному?.. Не видать тебе княжны как ушей своих, не видать тебе и счастья!.. Как любить умела тебя, так сумею и ненавидеть, окаянного!.. Изведу тебя всеми правдами и неправдами, чарами и волхованиями, душу свою продам дьяволу, а изведу и тебя, и княжну-разлучницу! Праздник будет для меня, как упьюсь я кровью вашей алою!.. Что это Григорий Семенович не дает весточки? С ним бы это дело мы оборудовали!.. Не вернется он — найду другого молодца и куплю у него службу великую за красоту мою девичью!..

Яков Потапович не слышал последних причитаний разъяренной Татьяны. Он как шальной пробежал через сад в свою горницу и долго не мог прийти в себя от всего происшедшего.

Через час времени Таня, как ни в чем не бывало, вошла в опочивальню княжны Евпраксии. На ее беззаботно улыбающемся лице не прочел бы никто следов пережитого волнения.

XIV

Начало опричнины

В то время, когда в доме князя Василия Прозоровского происходили описанные нами сцены, хотя и имеющие на первый взгляд чисто домашнее значение, но долженствующие отразиться не только на дальнейшей судьбе наших героев, но даже отчасти на грядущих исторических событиях, в других, более или менее отдаленных от Москвы городах и весях русских шла спешная, непонятная обывателям государственная работа.

Заглянем в один из таких удаленных от тогдашнего русского центра уголков, и именно в тот, где можем встретиться с знакомым нам беглым доезжачим князя Прозоровского — Григорием Семеновым.

Тишина рязанской окраины была внезапно нарушена приездом в Переяславль царского стольника Яковлева. Приезд этот был положительно неожиданностью для воеводы, которому было прислано строгое повеление исполнять все требования приезжего от двора.

Яковлев приказал доставить ему поименные росписи наличных служилых людей в этой окраине.

Приказ этот, с внушительной воеводской прибавкой: «мотчаньо во вред»,^[5] полетел во все «остроги», как назывались в то время пограничные укрепления, и вызвал спешную доставку сообщений.

В воеводском доме в Переяславле с самого раннего утра, вследствие съезда гонцов, шла необычная суетня. Кроме привезших «росписи» и проходивших в дом по очереди, у ворот стояла многочисленная разношерстная толпа, состоявшая из городских обывателей соседних к городу сельчан и других разного рода и звания людей.

По слухам, циркулировавшим в народе, кроме набора служилых людей в какую-то особую царскую московскую службу, присланный от государя боярин принимал на ту же службу и охотников, не разбирая ни их происхождения, ни их прошлого.

Эта последняя весть достигла лесных чащ, многочисленных в то время на земле русской, где укрывались разного рода беглые «лихие люди», сплотившиеся в правильно организованные шайки и наводившие на мирных поселян и городских обывателей страх, не меньший, чем там и сям появлявшиеся с окраин татарские полчища.

В лесных чащах рязанской окраины нашла себе привольный притон многочисленная шайка «разбойных людей», есаулом которой был красавец Гришка Кудряш, прозванный так товарищами за густые кудри волос на красивой голове.

Этот-то Гришка, постоянно затаенною мыслью которого было уйти к Москве из этого медвежьего угла, куда занесла его судьба-своевольница, прослышав о приезде боярина, набравшего людей на московскую службу и не брезговавшего, как говорили, и «лихими людьми», подбил десятка два отборных молодцов из своей шайки и явился с ними в Переяславль.

Мы застаем кучку эту полуоборванцев, одетых во всевозможные, почти фантастические костюмы, но все один к одному рослых, плечистых и красивых молодцов, державшихся особняком от остальной толпы у ворот воеводского дома.

При первом взгляде на их предводителя, Гришку Кудряша, нельзя было не узнать в нем того беглого доезжачего князя Василия Прозоровского, Григория Семенова, отвергнутого поклонника черномазой Танюши, портрет которого был нами подробно нарисован в одной из предыдущих глав.

Каким образом попал он из Москвы в леса далекой рязанской окраины и сделался есаулом шайки лихих молодцов — описывать мы не станем, так как пересказ испытанных им в течение одного года после бегства его из княжеского дома злоключений мог бы доставить обширный материал для отдельного повествования. Скажем только, что скитальческая жизнь, сверх унесенного им из дома князя Василия озлобления против отвергнувшей его безграничную любовь Татьяны и разлучника Якова Потаповича, развила в его сердце непримиримую злобу ко всем, сравнительно счастливым, пользующимся жизненным покоем людям, особенно же к мелким и крупным представителям власти, травившим его, как гончие

собаки красного зверя. Счастливо выбирался он из расставленных ими ему, как и другим подобным ему беглецам, тенет, но эта постоянная жизнь «на стороже» вконец, что называется, остервенила его.

Чаша горечи жизни этого человека, далеко не дурного по натуре своей, но лишь неудавшеюся любовью сбитого с прямого пути, не бывшего в силах совладать с своим сердцем и заглушить в нем неудовлетворенную страсть, настолько переполнилась, что он не мог вспомнить без ненависти своего благодетеля, князя Василия, которому он был предан когда-то всей душой.

В слепом озлоблении на всех и на вся, Григорию Семенову казалось, что князь Прозоровский, приютивший в своем доме его «погубительницу» — красавицу Танюшу, образ которой не уничтожили в его сердце ни время, ни расстояние, является почти главным виновником его несчастья, его «пагубы».

Григорий Семенов дождался, наконец, своей очереди.

Его впустили в ворота, а затем в обширную светлицу.

Яковлев сидел за столом, уставленным всевозможными яствами и питиями, на которые, видимо, не поспешил трепетавший перед царским посланником переяславльский воевода.

Еще совершенно молодое лицо боярина не проявляло ничего замечательного, кроме бросавшегося в глаза хитрого выражения, разлитого как во всех его чертах, так и в живых, вечно бегающих, глядевших исподлобья и постоянно прищуренных глазках.

Нельзя было сказать, чтобы в лице Яковлева было что-нибудь злое или отталкивающее, но при первом взгляде на него открытому нраву честного человека что-то претило до неловкости.

Одет он был более чем роскошно. Сверх шелковой красной сорочки на нем была надета серебряная кольчуга из колец тончайшей работы, сгибавшаяся в мягкие складки.

Кольчуга была опоясана широким пестрым поясом из шемаханского шелка, а за ним был заткнут длинный нож с золотой рукояткой и в таких же ножнах, украшенных, как и рукоятка, драгоценными самоцветными камнями, горевшими как жар.

Маленькие, выхоленные, почти женские руки боярина были унижены множеством дорогих перстней.

Ноги обуты были в сапоги немецкой кожи с серебряными подковками.

Когда вошел Кудряш, вельможный царский слуга дочитывал какой-то свиток, разводил пальцами правой руки, как будто что-то считал, а левою ерошил мягкие кудри своих каштановых волос.

Дочитав до конца, он взглянул на вошедшего взглядом своих как бы присматривающихся глазок.

— Кто и зачем?

— Беглый холоп Григорий Семенов, по прозвищу Кудряш, желал бы послужить до конца живота моего великому государю, — не запинаясь отвечал Кудряш, глядя прямо в глаза боярину.

— Чей?

— Князя Василия Прозоровского.

— Заведомый адашевец... Да, им всем карачун скоро дадут — подожди маленько.

Сметливый Кудряш, хотя и не понял возгласа Яковлева, но сообразил, что встретился с недоброжелателем своего бывшего благодетеля, а потому и повел речь в надлежащем тоне.

— Уж и я бы... попадись мне только... охулки на руку не дал бы... что князю нашему... что остальным... дьякам особенно, ворами заведомым... Согнул бы я их в бараний рог, бездельников; за надруганье над правдой человеческой... за слезы...

У увлекшегося воспоминанием своих злоключений Григория Семенова лицо побагровело и на глазах действительно выступили слезы.

На губах боярина промелькнуло что-то похожее на расстроганность, и он ласковее, чем сначала, сказал:

— Подойди поближе, молодчик! Я надеюсь, что ты будешь нам верный слуга!.. У кого накипело в груди от неправды бояр, прежних властителей, тот не может не желать, чтобы великий государь наш скорее дал расчет всяческим кровопийцам.

Несколько надменный голос Яковлева отличался замечательною слащавостью и видимым желанием расположить в свою пользу того, в ком он почему-нибудь искал сочувствия.

— На разделку с извергами пусть меня употребят — посмотрю я, как боярские да дьячьи рожи ухмыляться станут за битье безвинных... да творить пакости не сумняся... совести темной не зазираючи... Вот где зло искоренить...

— Истину молвил, дружок, — ласково-покровительственным тоном заговорил словоохотливый боярин. — Проклятая корысть довела земских вожakov почти до огульного притеснения людей московского царства, да к тому же вся эта ватага земских кровопийц стоит друг за друга, как один человек; заступники, кроме того, всегда за них находятся, мирские и духовные... Со всем этим собором и не сладить батюшке Ивану Васильевичу, хотя он под иной час и яр у нас, да отходчив; начнут докучать — он и взмилуется. Ну да теперь беззакония грешников превзошли главу их, и близок час гневного царского суда... Государь из столицы съехал... в слободу одну, а нас разослал набирать по городам верных людей к нему в телохранители от врагов... Скоро все мы, ближние слуги царицы, ни перед кем, кроме него, шапки ломать не будем... Оделит он нас львиными долями из земель и угодьев своих ворогов... Всем мы им башки поснимаем, от больших до малых... Ни один адашевец не убежит, разве, как голова их сам Алеша отравиться со страху поторопится...

Яковлев перевел дух и пристально посмотрел на стоявшего перед ним Григория Семенова, как бы желая угадать произведенное его речами впечатление.

Тот не спускал с него своих умных глаз, выражая в них неустанное внимание.

Боярин, видимо, остался очень доволен слушателем и продолжал высказывать вслух свои заветные мысли.

— Алеша Адашев да поп Сильвестр всеми делами у нас правили, да надоели государю их воровства. Нашлись добрые люди, намотали ему на ус, что попу простому править, выше архиереев стоя, грех великий... Преподобный Левкий прямо доказал, как вредно попа-проходимца слушаться... Забылись под конец совсем вороги, опоили царицу Анастасию, утроба у ней, родимой, чуть не лопнула, а худоцава была в последние годы. Отчего же раздуть, как не от лихого зелья? Царь и прозрел в печали велицей... Мы, разумеется, утешали его как могли, чтобы забыл утрату. Отец Михаиле от черкашен

выспросил, что бабы у них больно приглядные? Затребовали княжну черкасскую... подлинно не покойнице чета, всем взяла: и красотой, и дородством... Да и погневливее будет, чем царица Анастасия. Ту не скоро, бывало, раздражишь, а эта, что твое зелье,[6] разом взорвет. Ей все нипочем!.. И царь таков же стал... Полно ему неволить себя!..

Боярин кончил разглагольствовать и умолк.

— А служба-то на Москве будет? — выждав некоторое время, спросил Григорий Семенов.

— А то где же?.. Там главное вражье гнездо и есть, а других ворогов туда же, да в слободу вызовем... Так хочешь, сейчас впишу тебя... полюбился ты мне?

— Впиши, боярин, яви такую божескую милость... Только от князя Прозоровского за побег мне казни не будет?..

— И что ты, малый, это опричнику-то?.. Пальцем тронуть не посмеет царского слугу!

Яковлев вписал имя Григория Семенова Кудряша в список опричников охотников и отпустил, занявшись приемом ожидавших очередных.

Почти все товарищи Кудряша по разбойной шайке удостоились чести быть принятыми в «царскую службу», с обещанным прощением их прошлых вин.

Через несколько дней как набранные из служилых людей, так и охотники опричники на дворе того же дома переяславльского воеводы приняли присягу.

К присяге приводил сам царский стольник Яковлев, отделяя умышленно и произнося с ужасающе торжественностью слова:

— «Не имети ми (имя реку) ни коегожде общения с земскими и с земщиною, ни норовити ни в чем родства ради, либо свойства, ни ради приязни, похлебства, дружества и любви, корысти, женские прелести уловления и прочих, их же изрещи невозможно. Паче же исполняти ми не сумняся и не мотчав всякое царское веление, ни на лица зря, ни отца ни матери, ни брата, ни искренние подружия... Во всем еже повелено и доверено ми будет, аз клятвою тяжкою связываю душу мою, от нее же ни в сей век, ни в будущий разрешити мя может кто, клятвопреступника, буде ее учиню — и сей самый нож, еже при бедру мою ношу, пройдет внутренняя моя, руками сих братии моих, пьющих от единыя со мною чаши».

Вручение ножа от имени царя и питье вина из общей чаши, при лобызании всех присягавших между собою, заключали этот страшный обряд безвозвратного закабаления на кровавую службу.[7]

Злобною радостью билось сердце Григория Семенова при одной мысли о скором возвращении в Москву и возможности, при его настоящем положении, наверняка отметить своим «погубителям», а особенно черномазой Татьяне, безумная любовь к которой, казалось ему, превратилась в его сердце в непримиримую ненависть, тем более, что он был уверен, что красавица принадлежит его сопернику, Якову Потапову.

— Не откажется никакой вельможный боярин от такой кралечки! — подтверждал он самому себе эту сожигавшую его мозг роковую мысль.

Ему и в голову не могло придти, что эта самая, отвергнувшая год тому назад его любовь черномазая Татьяна, сама теперь ждет не дождется обещанного им возвращения, готовая пожертвовать ему всем, лишь бы залучить в союзники по задуманному ею кровавому отмщению за свою обиду, за надругание над ее любовью.

Трапеза после кровавого пира

Бледный, как полотно, с выступающими лишь по временам, видимо от внутреннего волнения, красными пятнами на лице, с блуждающим, почти безумным взором вернулся к себе домой, после полудня 4 февраля 1565 года, князь Василий Прозоровский.

Он прибыл верхом, в сопровождении лишь одного стремянного, который и помог своему господину сойти с великолепного серого в яблоках коня в богатой с золотой насечкой сбруе.

Как стремянной, так и выбежавшие на крыльцо, для встречи князя, слуги были поражены его видом. Никогда не видали они в таком состоянии их милостивца.

Князь Василий едва стоял на ногах.

Введенный под руки в парадную горницу, он увидел множество своих слуг, занятых расстановкою драгоценной посуды и золотых кубков на огромном, приготовленном для пиршества столе.

Князь Василий на секунду остановился, окинув как бы недоумевающим взглядом эти приготовления; его губы зашевелились было, чтобы отдать какое-то приказание, но вдруг он движением обеих рук отстранил от себя поддерживавших его прислужников, провел правой рукой по лбу, на котором выступили крупные капли пота, и, шатаясь, прошел к себе в опочивальню.

Слуги переглянулись между собою, но не прекратили ни на минуту своей работы.

На этот день в доме князя был назначен «почетный пир», на который братом его, князем Никитой, был позван Григорий Лукьянович Малюта Скуратов и другие вновь восходящие придворные светила.

Неудачный день для пиршества избрал князь Никита, хотя и не мог заранее знать этого.

Он не мог предвидеть, что в этот самый день, утром, Грозный царь задаст в Москве другой «кровавый пир», который явится началом исполнения условий, объявленных им духовенству и боярам в Александровской слободе месяц тому назад.

Как опытный царедворец, да еще царедворец времен Иоанна Васильевича, князь Никита привык скрывать свои ощущения, каких бы картин ни являлся он обязательным зрителем, а потому и в этот день, присутствуя на лобном месте, он был, по обыкновению, спокоен и бесстрастен... по наружности, добавим мы хотя в некоторое его оправдание.

Не то, видел он, делалось с его братом, князем Василием, выражение лица которого так испугало его, что он, отвращая могущую произойти катастрофу, решился удалить брата с места казни.

— Поезжай домой... — наклонился он к нему, стоя с ним рядом. — На тебе лица нет... Если кто хватится тебя, я отвечу, что поехал распорядиться по хозяйству, — ведь почти все знают, что у тебя сегодня столование!..

Князь Василий посмотрел на него помутившимся укоризненным взглядом.

— Поезжай... — повторил брат через некоторое время, — теперь можно... сейчас все кончится...

Он вывел князя Василия из толпы окружавших царя бояр и опричников и передал его стремянному.

Князь Никита не ошибся. Его брат был так потрясен, что первую мыслью, когда приготовления его слуг напомнили ему о назначенном у него на сегодня пиршестве, было отменить его, но мысль, что этим он может подвести под опалу брата, что князя Никиту может за это постигнуть такая же участь, как и этих, сегодняшних жертв, повинных не более, чем в подобном проступке, и даже вовсе безвинных, заставила его сомкнуть уста, открывшиеся было, чтобы изречь это приказание.

При мысли о возможности подобной судьбы для любимого брата холодный пот выступил, как мы видели, на лбу князя Василия.

За себя он не боялся, но и его судьба была связана с боготворимой им дочерью. Что может претерпеть она от этих «новых людей», окружающих царя разгульной толпой, после его гибели?!

Волосы князя поднялись дыбом.

А между тем он, князь Прозоровский, этих новых кровожадных, разгульных людей, во главе с самым лютым из них Малютой, должен сегодня принимать под своим кровом, сидеть с ними за одним столом!.. Его дочь, эта непорочная, чистая девочка, должна будет выйти к ним со «встречным кубком».

Князю Василию казалось, что одни их наглые, плотские взгляды навеки осквернят юную княжну Евпраксию.

Он дрожал при одной этой мысли, сидя на лавке у себя в опочивальне.

«Но как же быть?.. Брат прав, лучше прикормить псов, чем дать им растерзать себя!.. Себя!.. Хорошо бы еще если бы только себя!.. Но отдать на поругание этим псам своего ребенка — это выше моих сил».

Эта мысль, мелькнувшая в его голове еще тогда, при разговоре с братом, привезшим ему известия из Александровской слободы и уговаривавшим его постараться быть в ладу с новыми любимцами, заставила его сдаться на убеждения князя Никиты и согласиться принять у себя Малюту и других.

И теперь князь Василий старался успокоиться, убедить себя, что так надо, не для себя, о нет, а для дочери и... брата!..

Он продолжал сидеть, низко опустив голову.

Эта решимость, являвшаяся насилованием его природы, его убеждений, не давалась легко, особенно когда ум его был потрясен только что пережитыми отвратительными картинами человеческого зверства.

Эти картины все продолжали стоять перед его глазами и всю жизнь — он был в этом уверен — не будут в состоянии изгладиться из его памяти.

Сам царь Иван Васильевич, которого он сегодня увидел в первый раз по возвращении его из Александровской слободы, страшно изменившийся, с выражением мрачной свирепости на лице, с искажившимися от кипевшей в душе его ярости чертами, с угасшим взором, с почти облысевшей головой, как живой стоит перед ним...

Верхом на вороном коне, с чепраком, блиставшим дорогими камнями, с болтавшеюся на шее коня собачьею головою вместо пауза, одетый в «большой наряд», с золоченым луком за

спиной и с колчаном у седла, он стоял на лобном месте среди спешившихся бояр и опричников.

Венец его шишака был украшен Деисусом, то есть изображением на финифти Спасителя, а по сторонам Богородицы, Иоанна Предтечи и других святых.

Вот и он, его сегодняшней «званный гость», Малюта. На его безобразном лице написано испытываемое зверское удовольствие. Его взоры свирепо сверкают, наводя ужас на окружающих.

Князь Василий и теперь, при одном воспоминании, невольно содрогнулся.

Толпа народа, попрятавшегося было в свои жилища, но сбитого опричниками, с искаженными от страха лицами стояла кругом.

Слышится ему речь Иоанна, обращенная к этому народу:

— Люди московские! Ныне вы узрите казни и мучения, но помните, что я караю злодеев, хотевших извести меня и погубивших покойную царицу и детей моих! С плачем душевным и рыданием внутренним предаю их смерти, яко аз есмь судия, Господом поставленный, судия нелицеприятный! Подобно Аврааму, поднявшему нож на сына, я самых ближних моих приношу на жертву! Да падет же кровь их на их же главу!

Видит князь Василий приближающихся к плахе твердою поступью друга своего, князя Александра Борисовича Горбатого-Шуйского, рядом с юным семнадцатилетним сыном его Петром. Спокойно держат они друг друга за руку и ни малейшего страха не заметно на открытых, честных лицах обоих.

Первым подошел было к плахе юноша, но отец отстранил его, сказав ему ровным голосом:

— Да не зрю тебя мертвого!

И он опустился на колени, склонив голову на плаху...

Лезвие топора блеснуло на одно мгновение в руках палача, и голова отца подпрыгнула на помосте. Сын схватил ее в обе руки и жадно впился губами в мертвые уста.

— Боже, упокой его в селении праведных! — поднял он глаза свои к небу.

С веселым лицом подошел он вновь к плахе...

Сильный удар топора пресек юную жизнь невинного отрока.

Холодный пот от смертельного ужаса выступал на всем теле несчастного князя Василия.

В стороне, дожидаясь очереди, стояли тоже друзья князя: шурин Горбатого, Петр Ховрин, окольный Головин, князь Иван Сухой-Кашин и кравчий — князь Петр Иванович Горенский.

А вот, рядом с помостом плахи, на вбитом колу, мучается посаженный на него князь Дмитрий Шевырев, товарищ детства князя Василия.

«Боже праведный, милостив буди мя грешному!» — звучит и теперь в ушах князя пение страдальца.

Стук от копыт множества лошадей, въехавших на княжеский двор, и лязг оружия донесся до княжеской опочивальни и пробудил князя Василия от тяжелого кошмара только что пронесшихся перед ним картин.

«Они, званые гости... изверги... убийцы»... — пронеслось в уме князя, но он собрал всю силу воли и с почти спокойным, деланно приветливым лицом пошел навстречу прибывшим.

По ступеням крыльца входили князь Никита, Григорий Лукьянович Скуратов, князь Афанасий Вяземский, Василий Грязной, Алексей и Федор Басмановы и знакомый нам Яковлев, в сопровождении толпы рядовых опричников.

Гости весело болтали между собою; брат хозяина старательно поддерживал их веселое расположение духа...

— Мы-то, пожалуй, лучше время проведем, чем Митька Шевырев, на колу сидя да со Христом беседуя, — раскатисто хохотал Малюта, обращаясь к князю Никите.

Тот закивал головой в знак согласия и принужденно улыбнулся.

Остальные громко засмеялись.

— Шутник же ты, Григорий Лукьянович!

— Уж одно то, что молодую хозяйку увидим, чего стоит! — вставил слово князь Вяземский. — Слухом земля полнится: говорят, такая красота, что ни в сказке рассказать, ни пером написать!

Эти слова заставили вздрогнуть приближавшегося к гостям князя Василия.

— Милости просим, гости честные, не обессудьте хозяйством моим маленьким! — промолвил он приветливо, сделав над собою невероятное усилие.

Гости вошли в парадную горницу.

Остальные опричники остались в передней и на крыльце, смешавшись с княжескими слугами и любопытствующею дворнею.

В первой парадной горнице, одетая в роскошный парчовый сарафан, вся усыпанная жемчугом и драгоценными камнями, окруженная десятью сенными девушками, стояла княжна Евпраксия с золотым подносом в руках.

Поставленные на нем золотые же чаши, украшенные самоцветными камнями, ходуном ходили и звенели в дрожащих руках юной княжны.

Каждая сенная девушка держала в руке золотой кувшин с дорогим вином.

Обряд потчевания «встречным кубком» начался.

Княжна стояла, опустив в землю свои чудные глаза, вся зардевшись, как маков цвет. Ей в первый раз приходилось служить мишенью для взоров стольких незнакомых мужчин.

Подходившие по очереди гости положительно впивались в нее глазами и громко, не стесняясь ее присутствием, выражали оценку ее красоте, обращаясь к наливавшему в чаши вино князю Василию.

Один Малюта, подошедший первым, не сказал ни слова, но пронизал княжну таким плотоядно-восторженным взглядом, что у бедняжки, почувствовавшей его, чуть было не подкосились ноги, а руки князя Василия, заметившего этот взгляд, задрожали и он расплескал наливаемое вино.

Это считалось дурным знаком, и шумный говор гостей на минуту смущенно смолк.

Красота Татьяны Веденеевны, стоявшей по правую руку княжны, тоже не осталась со стороны гостей без должной оценки, делаемой, впрочем, вполголоса, но все же настолько громко, что могла достигнуть ушей оцениваемой.

Для самолюбивой, гордой сознанием своей красоты Танюши восторженные похвалы их были бы далеко не безразличны в другое время; она не пропустила бы ни одного такого взгляда, не проронила бы ни одного слова, но теперь ей было не до того.

Ее внимание было всецело привлечено другим взглядом, взглядом горевших ненавистью двух глаз молодого опричника, стоявшего в толпе слуг в передней горнице. Она сразу узнала эти глаза, и сердце ее забило злобно-радостную тревогу, хотя и не без примеси невольного страха перед грядущим.

С сильно изменившимся лицом, в исхудавшем опричнике она узнала ожидаемого ею со дня на день Григория Семенова.

Последний гость выпил «встречный кубок», и княжна, три раза низко поклонившись гостям, плавно вышла из комнаты в сопровождении своих прислужниц.

Князь Василий с поклонами усадил своих гостей за стол, накрытый в большой избе, где слуги, стоявшие по местам, ожидали лишь знака хозяина, чтобы подавать яства.

Зачался «почестный пир», зазвенели кубки и братины. Под различными яствами буквально ломился стол. Кубки осушались за кубками: пили про государя и про царицу, про весь царский дом, пили про митрополита и про все русское духовенство, пили про каждого из гостей особенно, про ласкового хозяина и, заочно, про пригожую молодую хозяйку.

Князь Никита, как и остальные гости, был оживлен и доволен. Только сам хозяин, князь Василий, под наружным радушием и веселостью думал невеселые думы. Не по душе была ему эта трапеза после кровавого пира. Страшный грех, казалось ему, совершил он, накликав на свой дом великие беды.

XVI

Домашние вороги

Был шестой час вечера. Зимние сумерки спускались на землю и покрывали постепенно темною пеленою княжеский двор, сад и прилегающий к последнему берег реки.

Пиршество в хоромах еще продолжалось. Наполненные искрометным вином и душистыми медами кубки и братины переходили из рук в руки, языки пирующих развязались и их говор и смех разносились по всему дому.

Прислушивались к этому необычному за последние годы оживлению в княжеских хоромах и сенные девушки, сидевшие за работой вокруг юной княжны Евпраксии в ее светлице. Вполголоса вели они разговоры о пирующих гостях. Бывшие внизу с княжной передавали остальным свои впечатления. Песен не пели; как пташки, испуганные вторжением человека в лесную чащу, они притаились и притихли.

В этом перешептывании не принимали никакого участия лишь княжна, да Танюша.

Обе они сидели за пяльцами и, казалось, были углублены в работу, хотя остальные девушки, за все более и более наступающими сумерками, с удовольствием побросали иголки.

Внимательному наблюдателю было, впрочем, не трудно угадать причину такого необычайного прилежания, обуявшего, ни с того, ни с сего княжну и ее любимицу: обе они машинально действовали иглой, но мысли их были, видимо, далеки от вычурного узора, возникавшего под их искусными пальцами.

Княжна с памятной, вероятно, читателю и не забытой, конечно, ею самой первой своей бессонной ночи, продолжала находиться в каком-то странном, безотчетном нервно-напряженном состоянии духа. Она старалась скрыть это от окружающих, но по временам, независимо от ее воли, на нее нападал почти столбняк и она сидела неподвижно, с устремленным в пространство взглядом.

О чем думала она в эти минуты? На этот вопрос она затруднилась бы ответить и сама. Она скорее ни о чем не думала или, лучше сказать, разнообразные отрывочные мысли, вертевшиеся в ее головке, производили впечатление отсутствия всякой мысли, как основные цвета, при быстром движении в калейдоскопе, производят впечатление белого цвета, который для непосвященных в законы физики кажется отсутствием всякого цвета.

У Танюши, напротив, были в голове совершенно определенные мысли: ей как можно скорей хотелось повидаться с Григорием Семеновичем. Она выработывала в голове план встречи с возвратившимся беглецом. Она задавала себе мысленно вопросы: остался ли он верен своей любви к ней или же променял ее на другую зазнобушку? Захочет ли еще он и повидаться с ней при изменившемся своем положении, ставши «царским слугою»? Оба эти вопроса она разрешала утвердительно, припоминая взгляд его глаз, полный непримиримой злобы, устремленный на нее при церемонии «встречного кубка».

«Коли злится, значит, любит, а коли любит, сам, чай, не дождетя, как бы поскорей со мной свидеться!» — решила в своем уме самолюбивая девушка.

Сумерки стали сгущаться. Танюша бросила иглу, встала и незаметно, под шумок разговоров остальных девушек, вышла из горницы.

Княжна продолжала сидеть задумавшись. Звуки княжеского пира доносились и до горницы Якова Потаповича.

Он также прислушивался к ним, и в душе его росли и крепились тяжелые предчувствия.

Он просил князя Василия, предложившего ему накануне присутствовать за трапезой, уволить его от этого, сославшись, что чувствует себя нездоровым.

Князь пристально посмотрел на своего приемыша. Яков Потапович смутился и покраснел. Он в первый раз сказал неправду своему благодетелю: не нездоровье было причиной его нежелания присутствовать при трапезе, а инстинктивная брезгливость к тем, кто своим присутствием осквернит завтра честные хоромы вельможного боярина. Не по душе были ему эти званые на завтра княжеские гости, и он, прямая душа, лучше не желал встречаться с ними, следуя мудрому русскому правилу: «Отойди от зла и сотвори благо».

Князь Василий все это прочел в красноречивом, открытом взгляде своего любимца, простил ему его первую невольную ложь, оценил уважение к себе, воспрепятствовавшее Якову Потаповичу высказать прямо причину своего нежелания присутствовать на пиру, и не стал настаивать.

В душе он и сам не мог не согласиться с своим приемышем: с каким сердечным удовольствием он сделал бы то же самое, убежал бы от этих гостей, званых, но не избранных?

И теперь, поневоле, как хозяин, присутствуя на пиру, почти перешедшем в оргию, князь не

раз вспоминал Якова и завидовал избранной им благой доле.

Яков Потапович сидел над латинской книгой, но ему не читалось. Появление этих «новых людей» в княжеском доме, казалось ему, должно быть непременно началом какого-нибудь несчастья. Он гнал от себя эти мысли, а они упорнее и упорнее лезли ему в голову. Сон, виденный им месяц тому назад, приходил ему почему-то на память.

Не среди этих ли людей надо искать то чудовище, которое являлось ему в трех видах в том вещем сне? Мысли юноши перенеслись на княжну Евпраксию.

Он один во всем доме чутким сердцем влюбленного почуял перемену в состоянии ее духа, он один пронизательным взглядом безгранично любящего подметил выражение тревожного ожидания на лице молодой девушки и один понял, что это значит.

— Для нее наступила пора любви! Но кого-то полюбит она? Будет ли счастлива? — сказал он самому себе.

О личном счастье он перестал думать, княжна за последнее время еще более явно стала избегать его! Для него, в смысле взаимности, она была потеряна навсегда, и он примирился с этою роковою мыслью, но решился быть настороже и по возможности отворотить надвигающуюся беду.

Что беда надвигалась и надвигалась быстро — это подсказывал ему какой-то внутренний голос.

Яков Потапович отодвинул книгу, встал из-за стола, несколько раз прошелся по комнате, тяжело дыша, как бы от недостатка воздуха, снял со стены кафтан, взял шапку и вышел из дому.

На дворе из просторной людской избы несся какой-то неопределенный шум и говор. Там, по приказанию князя Василия, дворня угощала «ратников», как назывались в то время нижние чины «опричины». В избе на самом деле шел дым коромыслом.

Когда Яков Потапович проходил мимо, ему показалось, что у одного из окон сидел опричник, лицо которого он где-то видал; в особенности врезались ему в память два сверкнувшие ненавистью глаза, устремленные на него из этого окна.

Подробно, впрочем, за наступившими сумерками, черты лица глядевшего он разобрать не мог.

«Кто бы это мог быть? — спрашивал он себя мысленно, уже входя в сад. — А может мне это только так померещилось!»

Он вскоре забыл о глядевшем опричнике.

Якову Потаповичу далеко не померещилось. Сидевший у окна был Григорий Семенов, возвращение которого в княжеский дом, при неожиданной обстановке и в положении «излюбленного царского слуги», как называли себя все опричники от низших до высших, произвело сильное впечатление на княжеских холопов и усугубило интерес устроенного, по приказанию князя, угощения гостей. Вся дворня внимала хвастливым рассказам их бывшего товарища о его приключениях со дня бегства из княжеского дома, но все при этом заметили, что ему что-то не по себе: он уселся у окна и то и дело поглядывал на двор, как бы кого-то поджидая.

Татьяна Веденеевна не ошиблась в своих расчетах: он ждал ее.

«Поскорее бы перепились, черти эдакие, а то если пройдет по двору, ускользнуть из избы

незаметно не удастся», — рассуждал он сам с собою.

Вскоре его желание исполнилось. Отпущенные князем для дворни бочки с вином и медом сделали свое дело.

Все было пьяно, все говорили разом, никто никого не понимал и все лезли целоваться друг с другом.

Мимо окна прошел кто-то. Григорий Семенов, воздержавшийся от выпивки, прильнул лицом к окну и узнал в проходившем ненавистного ему разлучника Якова.

Не прошло и пяти минут, как мимо окна избы промелькнула женская фигура. Григорий чутьем угадал в ней Татьяну.

— Ишь, спешит к милому дружку!.. — злобно прошептал он. — Ну, none-то я вам помешаю!..

Он осторожно вышел из-за стола и, воспользовавшись временем, когда новая чара вина стала обходить пирующих, привлеки к себе их исключительное внимание, незаметно выскользнул за дверь.

Яков Потапович между тем находился уже в глубине сада, когда услышал скрип снега под чьими-то легкими шагами. После описанной нами сцены с Татьяной на берегу Москвы-реки он стал избегать каких-либо неожиданных встреч и потому поспешил зайти за громадный, густой даже без листьев, покрытый снегом куст. Стоя там, он увидал Татьяну, шедшую неторопливою походкою и по временам оглядывавшуюся.

У самого куста она остановилась, как бы кого-то поджидая, и до слуха Якова Потаповича донеслись другие, тяжелые шаги. В саду показался тот самый опричник с знакомым лицом, который глядел на него из окна людской избы.

Яков Потапович напряг всю силу своего зрения и, несмотря на сгустившийся сумрак, узнал его наконец.

— Да это Григорий, — прошептал он, и сердце его упало, как будто это открытие было для него ужасным несчастьем.

— Милый, родимый, желанный, ты ли это наконец? — бросилась на шею к подошедшему опричнику Татьяна Веденеевна.

Григорий Семенов остолбенел. Он ожидал всего, но только не такой встречи, и не будучи подготовлен к ней, совершенно смутился.

— Если бы ты знал, голубчик, как я по тебе стосковалась!..

— Да ты это кому речь держишь, Татьяна Веденеевна? — произнес наконец namного оправившийся Григорий Семенов. — Распознала ли ты меня? Не за другого ли в потемках принимаешь?..

В голосе его зазвучала даже некоторая ирония.

— Да что ты, что с тобой, касатик мой, Гришенька? За кого же это другого принимать мне тебя? Кого мне другого надо? Я, может, в этот год не спала все ноченьки, о тебе, желанный мой, думу думая, проклинала себя, окаянную, что отпустила тебя так, соколик ясный, не открывши тебе всего, что было на сердце моем девичьем...

Недоумение Григория Семенова возросло до крайних пределов. Ему и не верилось, и хотелось верить ее словам. Ненависть вдруг исчезла из его сердца, растаяла перед ласками

так бессердечно год тому назад отвергнувшей его девушки, как лед под лучами жгучего тропического солнца; она сменилась снова как бы даже выросшим от годичной паузы чувством любви. Тот шаг, который, говорят, существует между чувством любви и ненависти, был им сделан, — он любил снова.

Но сомнения еще не окончательно покинули его ум.

— Ой, девушка, не хитрить ли со мной, не глаза ли отводить ты мне вздумала? Смотри, не ошибись, хуже не разожги мою сердечную злобу!..

Танюша быстрым движением отняла руки от шеи Григория Семеновича и отступила от него.

— Волен ты, государь мой, обижать бедную девушку... Каюсь, повинна я пред тобой, но не тем, о чем мыслишь ты, а лишь скрытностью, да и то повинна в ней, тебя жалеючи...

Ее голос дрожал, в нем слышались слезы.

— Не хотела подводить тебя под гнев княжеский, не хотела выдавать тебе и старого князя с его замыслами. Думала сама как ни на есть отвертеться, избежать своей несчастной участи, да с тобой что поделаешь, скор ты очень — сбежал, не успела я опомниться. Тут-то я по тебе и стосковалась, поняла, что лишилась в тебе друга верного, что оставил ты меня одну во власти моих врагов...

— Каких таких врагов?

— Старого князя, да Якова, да княжны — моей благодетельницы, — злобным шепотом произнесла Танюша.

— Чем же они-то тебе враги? Князь и княжна, кажись, к тебе ласковы, а Яков Потапович был, сдавалось мне, пуще всех люб тебе. Я и теперь думал, что ты к нему шмыгнула на свидание...

— А разве ты видел его? — с тревогой в голосе спросила Татьяна.

— Перед тобой прошел он мимо людской избы, а ты за ним следом почти... Я смекал вас обоих накрыть и с вами за муку мою разделаться, ан слышу от тебя речи неожиданные...

Танюша незаметно оглянулась кругом, но, не видя никого, успокоилась.

— Клепать напраслину на девушку никому не заказано... Нет для меня хуже, чем он, врага... Ты теперь «царский слуга», ушел из-под власти княжеской, так я могу тебе поведать тайну великую: уж второй год, как норовят меня выдать за Якова, за постылого; князь и княжна приневоливают...

— Князь? Ему-то что за корысть, с кем бы ты ни обвенчалась?..

— Хочет, знать, старый, выдать меня за покладистого, чтобы поклонился ему, седому дьяволу, молодой женой...

Вся кровь бросилась в голову Григория Семеновича, и он привлек к себе Таню. Она склонила свою голову на его грудь.

— А ты мне говорил тогда: «Пойду, поклонюсь князю батюшке!» Сживет, думала я, его со свету старый пес, а рассказать тебе все побоялась, зная твой молодецкий нрав, без удержу. Не снесет-де он обиды моей, заступится — себя и меня погубит навеки, а я, быть может, как ни на есть да вызволюсь...

— Да ужель боярин-то Яков Потапович, как последний холоп нестоящий, с ним в согласии?

— Боярин он такой же, как и мы с тобой: без тебя все как ни на есть объяснилось...

И в коротких словах рассказала она ему о том, что Яков Потапович подкидыш без роду и племени.

Этот рассказ окончательно убедил Григория Семеновича в правоте Тани. Это было тем легче, что убедиться в этой правоте было его пламенным желанием.

— Ну, а теперь, как ты с ними, моя касаточка горемычная? — с участием спросил он, взглянув в ее лицо.

— Все по-прежнему, верчусь да выкручиваюсь... Ну да теперь дождалась я: вернулся ты и вызволишь меня совсем. Ведь постоишь за свою ненаглядную? Твоя я отныне, твоя на веки вечные!..

Вдруг она вырвалась от него и потупилась.

— Может, впрочем, теперь не любя уж я тебе, так что ж навязываться...

— Что ты, что ты, красота моя ненаглядная, люблю я тебя, кажись, больше прежнего! Душу свою готов положить за тебя, мою лапушку, не побоюсь взять на нее даже греха смертного.

Он бросился к ней и заключил ее в свои могучие объятия.

Она обожгла его губы огненным поцелуем.

— Извести их надо всех: князя — старого пса, княжну — змею подколодную, и Яшку подзаборного, — полушепотом произнесла она.

Она постаралась придать тону своего голоса выражение испытанного ею от этих людей страдания и достигла этого.

Он был потрясен.

— Изведем, всех изведем, кого только укажешь ты, моя красавица, никого не помилуем...

— Поклянись, что не отступишься!

— Клянусь Господом Богом моим и тобою, жизнь моя! — страстно произнес Григорий Семенович.

— Так бери же меня... Буду знать я, по крайней мере, что никому, кроме тебя, не достануся, и убедишься ты, что поклеп взводил на меня, красную девушку...

Григорий Семенов не дал ей договорить последних слов, схватил ее на руки, бросился по знакомому ему саду к калитке, выбежал на берег реки и осторожно с своей драгоценной ношей стал спускаться к одиноко стоявшему рыбацкому шалашу.

Вечерний сумрак все более и более сгущался.

Шатаясь, словно пьяный, вышел Яков Потапович из-за скрывшего его от беседовавших Григория Семенова и Танюши куста.

Он был бледен, подобно окружавшему его снегу.

Ему казалось, что он снова видит тяжелый сон.

Он остановился, вдохнул полную грудь морозный воздух и, убедившись, что весь разговор этих двух людей, из которого он не проронил ни единого слова, он слышал наяву, ужаснулся.

«Так вот откуда должна прийти та неминуемая беда, роковое предчувствие которой не давало ему покоя последние дни! Недаром он инстинктивно ненавидел этих приглашенных на сегодня князем гостей: они привезли этого беглого холопа, неуязвимого в одежде „царского слуги“, вступившего в союз с пригретою княжной Евпраксией на ее груди змеею — Татьяною. Что измыслят они, какими способами начнут приводить в исполнение свои гнусные замыслы?»

Вот вопросы, которые требовали настоящего разрешения.

А между тем как разрешить их? Кто проникнет в изгибы их грязных дум, кто раскроет их черные души?

Первою мыслью Якова Потаповича было — сообщить все без утайки князю Василию, но он тотчас же и отбросил ее.

«Нет, этим дела не поправишь: они отопрутся от всего; да княжна не поверит наговору на свою любимицу; надо действовать иначе... Эти люди наверное захотят извлечь выгоду из своего адского замысла, следовательно, не прибегнут ни к яду, ни к убийству... С этой стороны опасаться нечего! Надо только теперь неустанно следить за Татьяной и быть настороже».

Он невольно возвел очи к небу и поблагодарил всеблагое Провидение за дарованный ему случай открыть козни «домашних врагов» в самом начале.

XVII

Каприз Малюты

Выдающаяся красота юной дочери князя Василия Прозоровского княжны Евпраксии не могла не произвести сильного впечатления на сластолюбивого и женолюбивого Григория Лукьяновича.

Добыть ее для себя чего бы это ему ни стоило, стало его заветной мечтой, его неперенным желанием, если хотите, капризом, но капризом, исполнение которого Малюта готов был купить, не задумавшись, ценою потоков неповинной крови, ценою сотней человеческих жизней.

Препятствия только раздражали его, а между тем они не только существовали, но, казалось, были даже неодолимы.

Для него, как и для другого царского любимца, ничего не стоило завладеть любой красавицей из простого рода и звания, но дело осложнилось, когда приходилось тягаться с знатным боярином, да еще таким любимым народом, каков был князь Василий Прозоровский.

Прошло уже более года со дня первого столования у князя Василия, Григорий Лукьянович несколько раз заезжал к князю и был принимаем им с честью, но холодно. Последние два раза княжна Евпраксия даже не вышла к нему со встречным кубком, и князь Василий извинился перед гостем ее нездоровьем. Малюта понял, что вельможный боярин лишь по нужде принимает его, презирая его и гнушаясь им, и затаил в душе адскую злобу.

Образ юной княжны как живой между тем стоял перед ним, распаяя его желание, доводя его до положительного неистовства. Каприз изверга рос и обращался мало-помалу в неодолимую страсть.

«Жениться», — мелькнуло в голове Григория Лукьяновича.

Он не задумывался над тем, что жена его была жива и от нее было у него две дочери и сын, семнадцатилетний юноша, весь в мать, с красивым, честным, открытым лицом, не наследовавший, по счастью, ни одного из позорных свойств своего родителя. Развестись с женой, даже умертвить ее — было так легко исполнимо и совершенно безнаказанно в те жестокие времена.

«Сам царь, если попросить его, поедет сватом к князю Василию от имени своего любимца, да не отдаст, гордец, свою дочь за него, Малюту, даже не боярина! Нечего и думать об этом, только сраму да смеху людского вдосталь наглотаешься».

В бессильной злобе скрежетал зубами Григорий Лукьянович.

«Насильно в дом ворваться, выкрасть княжну, да в какой час сведает о том грозный царь, как взглянется ему эта выходка и какой ни на есть любимец он, да несдобровать, пожалуй, и ему за бесчестие князя Прозоровского; да и хоромы княжеские крепко-накрепко охраняются. Под опалу разве подвести князя Василия, да хитер и осторожен он, а еще хитрее брат его, князь Никита. Сумел снискать он милость у царя, не хуже любого из опричников; ухитрился и с последними завести дружбу — такие пошли у них печки-лавочки. И с этой стороны не приступишься — не добудешь княжны-красавицы».

Как туча черная ходил Григорий Лукьянович. Не находил он себе утешения ни в зверских казнях, ни в убийствах неповинных жертв, кровь которых, благодаря его дьявольскому нашептыванию и по воле грозного царя, снова стала обогреть русскую землю.

Зверства опричников достигли своего апогея.

Вооруженные длинными ножами и секирами, они рыскали по городу, искали намеченных жертв, убивали их среди бела дня и народа по десяти и даже по двадцати человек в день.

Малюта распорядился этим отрядом смертоносцев.

Обыватели боялись покидать свои жилища.

В безмолвии Москвы тем страшней раздался свирепый вопль царских палачей.

Стонало сердце России, обливаясь кровью.

Она лилась и во дворце царском.

Злоба Малюты против бояр, в число которых он никак не мог попасть, выразилась в оклеветании им престарелого боярина, конюшенного Ивана Петровича Федорова, в преступном замысле будто бы со стороны последнего — свергнуть царя с престола и властвовать над Россиею.

Клевета эта была поддержана другими опричниками, рассчитывавшими поживиться богатствами и вотчинами опального.

Федоров, с своей престарелой женою Марией, не ведая сбиравшейся над его головою грозы, жил в Москве, состоя начальником казенного приказа.

Вдруг, в половине мая 1566 года царь внезапно приехал в Москву из Александровской

слободы и Иван Петрович был немедленно вызван во дворец.

Удрученный годами старец не замедлил явиться.

Окруженный опричниками и боярами, Иоанн, ожидавший его в царских палатах, сошел с трона и пошел навстречу входившему боярину.

Федоров, по обычаю, упал к ногам государя.

Царь сам поднял его и передал в руки опричников, сбросив с себя царское облачение.

Удивленного конюшенного облачили в царские одежды и, посадив на трон, дали ему в руки державу.

Иван Петрович, не понимая происходящего, бросал кругом себя недоумевающие взоры.

От неожиданности и испуга он не мог выговорить слова.

Царь подошел к трону, снял шапку и низко поклонился боярину.

— Здрав буди, великий царь земли русския! Се приял ты от меня честь, тобою желаемую! Но имея власть сделать тебя царем, могу и низвергнуть с престола.

С яростным видом, с налившимися кровью глазами, схватил Иоанн длинный нож, поданный ему Малютой, вбежал по ступенькам трона и с силою вонзил его прямо в сердце дряхлого старца.

Федоров не крикнул и, как сноп, бездыханный свалился с высоты трона, обагрив алою кровью его ступени.

Опричники вытащили труп и, сорвав с него царские одежды, отдали на съедение псам.

Жена Федорова в тот же день была убита ворвавшимися к ней царскими палачами.

Затем начались казни мнимых единомышленников и сообщников Федорова. По мысли того же Малюты, они отличались крайнею жестокостью: осужденных жгли на сковородах, вбивали им иглы под ногти, разрубали живых на части, казнили целыми семьями, не щадя ни малолетних сыновей, ни юных дочерей. Так, князь Михайло Темрюкович Чаркасский, брат Царицы, вместе с Малютой лично разрубили на части казначея государя — Хозяина Юрьевича Тютина, его жену, двух младенцев-сыновей и двух малолетних дочерей. Та же участь постигла и думного дьячка Казарина-Дубровского.

Один из привлеченных к делу Федорова, князь Ростовский, воеводствовал в то время в Нижнем Новгороде.

Малюта, в сопровождении десятка опричников, прибыл туда.

— Князь Ростовский, велением государя ты мой пленник, — сказал он князю.

Тот, бросив властительную булаву, спокойно отдался в руки кромешников.

Малюта приказал раздеть его донага и в таком виде его вывезли из города.

Отъехав верст двадцать, опричники остановились на берегу Волги.

Князь Ростовский спокойно спросил их:

— Зачем?

— Поить коней! — последовал ответ.

— Не коням, — задумчиво молвил несчастный, — а мне пить сию воду и не выпить!

По знаку Малюты ему отсекли голову и тело бросили в реку.

Малюта прибыл в Москву и положил голову князя к ногам Иоанна.

Последний оттолкнул ее ногой и захохотал.

— Любил покойник обагряться чужою кровью, покупался и в своей, ништо! — заметил он.

Такими ужасами, передаваемыми нам летописцами того времени, хотел заглушить Григорий Лукьянович бурю страсти в своем лютом сердце, но и потоками лившейся по мановению его руки крови не мог утолить он жажду обладания юной княжной Евпраксией Прозоровской. Все пасмурнее и пасмурнее становился Малюта.

В начале ноября, в обширных хоромах боярина Яковлева, знакомого уже нам по набору опричников в Переяславле, шел пир. Гостей было много. Все опричники, бывшие на столновании у князя Прозоровского, почти два года тому назад, были налицо.

Головы пирующих были порядком отуманены крепким медом и заморским вином; почти все слабо держались на ногах. В хоромах раздавались звуки бубен и литавров, слышалась бандура и гудок: шла лихая отчаянная пляска.

Не принимая участия в общем гомоне и веселье, угрюмо сидел за столом Григорий Лукьянович.

Он был почти трезв.

Не то чтобы он отказывался от круговой чаши, напротив, он пил и, пожалуй, более других, но вино потеряло над ним свою силу, не туманило ему голову, занятую гнетущею мыслью.

Трезв был и сам гостеприимный хозяин, Яковлев, отличавшийся, впрочем, всегда относительным воздержанием.

Он подсел к Малюте.

— У меня есть для тебя, Григорий Лукьянович, про запас добрая весточка...

Тот удивленно поднял голову и молча обвел его вопросительным взглядом.

— Отыскался у меня человек почти свой в доме князя Василия Прозоровского, — понижая голос продолжал Яковлев.

Он дружил со Скуратовым и знал причину его мрачного расположения духа за последнее время.

Григорий Лукьянович востепенулся, его глаза загорелись радостным огнем.

— Каким образом?

— Не догадался я давно, совсем из ума вон. В Переяславле записался охотником — у меня теперь в десятке служит — бывший доезжачий князя, Григорий Семенов. Надесь он сам о себе напомнил мне. «Не будет ли, — говорил, — каких приказаний насчет князя Василия Прозоровского»? Я сначала не понял его и спрашиваю: каких приказаний? «Выследить что, али подвести, — отвечает, так это мне с руки, потому любимая сенная девушка княжны Евпраксии, что ни прикажу, для меня исполнит: в огонь и в воду кинется, жизни не пожалеет».

Не хвастаешь, говорю. «Как посмел бы я, боярин, хвастаться перед твоею милостью...» Да ты, что же, зуб, что ли, против князя имеешь, спрашиваю я его. «Да уж по царскому бы приказу не помиловал», — отвечает, и с такой, доложу тебе, злобою. Заинтересовало это меня и стал я допытываться, за что, так как, сам знаешь, остальные холопы князя на него чуть не молятся, — ясно не говорит. «Счеты есть у меня с ним, боярин, особливые!» Большого я от него не добился. Хорошо, говорю ему, подожди до случая, может, и твоя охота насолить князю Василию нам пригодится. «Я только, боярин, доложить осмелился, чтобы чуть если что, меня бы твоя милость кликнул». Вышел он, а тут мне на мысль и пришло, что для тебя, Григорий Лукьянович, человек этот совсем подходящий, лучше и не надобно. Через любимицу княжны можно ой как твое дело в лучшем виде оборудовать... Дело, кажись, говорю я?

Григорий Лукьянович, не проронивший ни одного слова из рассказа Яковлева, пришел в положительный экстаз.

Он схватил руку хозяина и сжал ее так, что нежный Яковлев чуть не вскрикнул от боли.

— Друг, благодетель, покажи ты мне его... Ведь это для меня не человек, а золото! Век твоей услуги не забуду, головой заплачу за дружбу твою!

В голосе Малюты слышалась непритворная искренность.

— Что мне тебе его показывать, лучше я переведу его к тебе в десяток, а ты взамен его мне одного из своих молодцев уступишь, так будет ладнее; всегда он у тебя под руками будет.

— Это уж на что ладнее! — вскрикнул обрадованный Малюта. — Когда же ты мне пришлешь его?

— Да хоть завтра...

В это время слуги разносили кубки с искрометным вином из вновь початой тороватым хозяином бочки.

Григорий Лукьянович взял кубок и мигом опорожнил его со словами:

— За друга и благодетеля!

Яковлев выпил в свою очередь.

Друзья обнялись и поцеловались.

Пиршество затянулось до глубокой ночи.

На другой день, утром, Яковлев, верный своему слову, прислал Григория Семеновича к Малюте.

Кудряш с радостью принял известие о своем переводе. Он давно добивался его, зная через Татьяну о том, что грозный опричник зачастил в дом князя Василия далеко не из любви и уважения к старому князю. Танюша намекнула ему, что не худо было ему предложить свои и ее услуги Григорию Лукьяновичу, но как бы это сделать, служа в десятке другого? Яковлев мог разгневаться, а суд над провинившимся опричником-ратником был и жесток, и короток.

— Боярин-то мой дружит с Малютою, может, тот что ему и высказал, так не закинуть ли мне своему-то словечко о том, что с руки мне всякое дело в доме вашего старого пса, тогда сам, может, отдаст меня для услуг Григорию Лукьяновичу? — высказал он свои соображения Татьяне.

Последняя одобрила этот план.

Григорий явился к Яковлеву, и между ними произошел разговор, переданный дословно последним Малюте.

Расчет Кудряша оказался верен: он был, как мы знаем, переведен в десяток Малюты.

Григорий Лукьянович принял его у себя в опочивальне и ласково беседовал с ним около часу.

О чем говорили они, какие построили планы для приведения в исполнение заветной мечты Малюты Скуратова, мечты скорейшего обладания красавицей-княжной Прозоровской — это слышали только богато убранные редким и дорогим оружием стены опочивальни «царского любимца».

Веселый и довольный вышел Григорий Семенович от своего знаменитого тезки. За пазухой его звенел полный золотом кошелек — задаток за принятое им на себя гнусное дело исполнения грубого каприза изверга.

XVIII

Затишье перед бурей

Верный своему последнему решению, Яков Потапович ничем не выдал ни перед князем, ни перед княжной, ни даже перед зорко и внимательно присматривавшейся к нему Танюшей случайно открытую им тайну собиравшейся над княжеским домом грозы.

Эта его осторожная тактика провела даже хитрую цыганку, сильно обеспокоившуюся, после первого свидания с Григорием Семеновым, сообщением последнего, что он видел Якова прошедшим в сад за несколько минут до нее. Эти слова ее любовника пришли ей на память и получили в ее глазах громадное значение уже тогда, когда, по уходе Григория, она наедине сама с собою обдумывала роковое для нее свидание с ним.

«Не заметил ли он их вдвоем, не подслушал ли как их разговор»?

Вопросы эти, после окончания ее главного дела — союза на живот и на смерть с Григорием, стали беспокоить мстительную девушку.

В пылу беседы с вернувшимся поклонником, она не обратила на это обстоятельство должного внимания, преследуя другие цели и виды.

— Передаст князю, тот как раз меня со двора долой, да и отправит в свою вотчину к отцу с матерью, тогда прощай план кровавой мести, только и возможный под кровлей княжеского дома, при близости к молодой княжне! — с ужасом думала она.

Несколько недель провела она в величайшей тревоге, бросая по временам искоса подозрительные взгляды на встречавшегося Якова Потаповича, но, наконец, видя его прежним, совершенно спокойным и, видимо, ничего не подозревающим, успокоилась и сама, решив, что, верно, Григорий ошибся, или Яков Потапович прошел через сад к Бомелию, жившему по ту сторону Москвы-реки, почти напротив хором князя Василия Прозоровского, и не мог, таким образом, подсмотреть и подслушать их.

Успокоившись с этой стороны, она с нетерпением мстительной женщины стала ожидать

момента, когда представится случай так или иначе хотя бы начать осуществление улыбавшегося ей плана страшной мести князю, княжне и Якову Потаповичу.

Она жила, заранее предвкушая злобную радость, которую ощутит, присутствуя при имеющих обрушиться тех и других, приготовленных ею, но непременно страшных, неотвратимых несчастиях на головы этих ненавистных ей людей.

Время между тем шло, недели и месяцы проходили своей однообразной чередой, а этот давно ожидаемый момент не наступал.

Порывистую Танюшу едва сдерживал благоразумный Григорий Семенов, к которому она привязалась всею пылкой страстью своей животной природы, от необдуманного шага, от шального поступка, могущих испортить все задуманное ими дело.

— Что же это, Григорий, мы с тобой здесь почитай уже два года проклажаемся да милуемся, а вороги наши живут себе да поживают припеваючи, в роскоши, довольстве и благодушестве, индо смотреть тошнехонько? — говорила Татьяна Веденеевна в часы свиданий Григорию Семенову.

И раз от разу в голосе ее слышались все более и более раздражительные нотки.

— Повремени, голубка, дадим им мы себя знать... Среди тишины-то как гром грянет — оно пострашнее... — успокаивал ее опричник.

— Дадим себя знать! — передразнила его она. — Это мы уж слыхивали. На словах-то ты города берешь, а на деле тряпка-тряпкою, погляжу я на тебя. Забыл, видно, клятву-то, что дал мне, отметить моим лиходеям?

— Это ты, Татьяна, совсем понапрасну: ни клятвы я не забыл, ни трусом никогда не был, а только не складно будет нам с тобою без толку свои головы под топор класть, неровно он иступится и им не пригодится...

— Это мне что-то невдомек...

— То-то, невдомек!.. А человека даром обидеть небось домекнулась? Тряпка!.. Покажу я тебе ужо, какая я тряпка!..

— Да ты не каждое лыко в строку ставь!.. — смутилась уже Татьяна. — Толком скажи, ужели долго старого-то пса под царскую опалу подвести и гнездо их собачье разорить и со щенком-подкидышем!.. Царь-то, бают, что зверь, лют до бояр до этих самых.

— А ты говори, да не заговаривайся: царь казнит изменников да себе супротивников, жестоко казнит, нечего греха таить, а кто в его царской милости, так по-царски и милует... Брат-то нашего, князь Никита, при царе-батюшке первый человек после опричников... Надо, значит, к нему да к князю Василию приступить оглядываясь! Не слетит их голова — своей поплатишься. К тому же, с Малютою тот и другой дружат чинно.

— Ну, наш-то, видно, не совсем его долюбливает: последние разы был — княжну и со «встречным кубком» к нему не выпустил — «нездорова-де». А какой нездорова? Девка в ширь лезет — лопнуть хочет... А Григорий-то свет Лукьянович для нее только кажинную неделю к нам и шатается, да таково на нее умильно поглядывает...

— Ну?..

— Чего ну? Так взглядом индо проглотить хочет... Я с ней все разы встречать его ходила.

— С чего же это он, старый? Ведь у него сын и дочери на возрасте, жена живехонька...

— Нынче на счет жен, бают, послабление. В монастырь, по царскому приказу, спастись отправят и ау! Да видно чует, сердешный, что сватьям его от ворот поворот покажут... Не боярского он, бают, рода...

Григорий Семенович задумался.

В одно из следующих свиданий выработан был этою достойною парочкою план построить гибель князя, княжны и Якова Потаповича на чувстве Малюты Скуратова к княжне Евпраксии, для чего Григорий Семенович должен был перейти на службу к этому «всемогущему царскому любимцу», что, как мы знаем, и устроилось, сверх ожидания, очень скоро.

Жизнь в доме князя Василия действительно текла ровно и безмятежно; настолько, по крайней мере, безмятежно, насколько позволяли вообще переживаемые мятежные времена.

Сам князь Василий жил по-прежнему вдаль от двора, который почти постоянно пребывал в Александровской слободе, находившейся в восьмидесяти верстах от столицы, и лишь наездом царь бывал в последней, ознаменовывая почти каждой свой приезд потоками крови, буквально залившей этот несчастный город, где не было улицы, не было даже церковной паперти, не окрашенных кровью жертв, подчас ни в чем неповинных. В слободу старый князь Прозоровский не ездил, ссылаясь на то, что ему «недужится от ран». Эту же причину, по возможности, выставлял он, избегая присутствовать и на «кровавых московских зрелищах».

В редкие же появления свои перед «светлые царские очи» он был принимаем грозным владыкою милостиво, с заслуженным почетом и вниманием. Было ли это со стороны Иоанна должною данью заслугам старого князя — славного военачальника, или князь Василий был этим обязан своему брату, князю Никите, сумевшему, не поступивши в опричину, быть в великой милости у царя за свой веселый нрав, тактичность ловкого царедворца и постоянное добровольное присутствие при его особе в слободе и в столице, — неизвестно.

Окружив себя новыми, не знатными и даже худородными людьми, Иоанн все же внутренне не мог не признавать заслуг и доблестей многих представителей старого боярства, им почти уничтоженного, или же изгнанного за пределы отечества, а потому видел в лице преданного вельможного боярина князя Прозоровского украшение толпы своих далеко не вельможных приближенных.

По странности своего характера, царь дорожил остатками им же разрушаемого камня за камнем здания.

Умный и хитрый князь Никита сумел не только быть в милости у царя, но и в дружбе со всеми «опричниками», ненавидевшими бояр. Малюта Скуратов считал его своим искренним другом, даже после того, как князь ловко уклонился от разговора о возможности породниться с «грозою опричины», разговора, начатого Григорием Лукьяновичем спустя несколько месяцев после «столования» у князя Василия.

— За брата я своего, друже, не ответчик: взгляды у нас с ним на всякие дела разные, да и сдается мне, что дочь он свою замуж отдать не собирается. Она же мне сама надясь говорила, что отца больного, да хилого до самой его смерти не покинет. К тому же и он человек нравный — в какой час к нему приступишься... Отпалит тебя по апостолу: «женивый-ся на разведенной — прелюбодействует», ни с чем и отъедешь... Потому совет мой: дело это ты брось... — заметил Малюте князь Никита. — Кабы у меня была дочь, с руками бы тебе ее отдал... — счел он нужным позолотить пилюлю.

Малюта понял и замолчал, но далеко, как мы видели, не бросил это дело, а напротив, остался при уверенности, что хотя князь Никита ему в нем и не помощник, то далеко и не помеха.

Княжна Евпраксия, среди разнообразия своей жизни, хотя и не «лезла вширь», как грубо выразилась о ней ее любимица, но за почти два истекших года, что называется, расцвела краше прежнего.

От нее не ускользнули плотоядные взгляды свирепого Малюты, один вид которого внушал ей какой-то панический страх, и она была очень довольна, что отец избавляет ее за последнее время от встреч с ним в их доме.

Частые посещения Григория Лукьяновича и их причина не ускользнули от внимания и всеведения сенных девушек, окружавших княжну, и служили им богатою темою пересудов и шуток, но за последнее время лишь втихомолку от боярышни, которая при одном имени этого непрошеного поклонника бледнела как полотно.

В общем и жизнь княжны шла своею обычною колеею, так как под охраной любящего отца она не могла себе представить какой-либо опасности.

Иною жизнью жил Яков Потапович, — эта жизнь была полна забот, треволнений и опасений.

Хорошо сознавая, что ему одному не справиться с грядущею и могущею каждый день и час наступить опасностью для князя Василия и княжны, — о себе он не думал, — Яков Потапович прежде всего собрал вокруг себя преданных людей из любивших его княжеских холопов, учредив, таким образом, в доме князя целую полицию.

Во главе этих неведомых для князя и его дочери их охранителей стоял старый слуга, дядька Якова Потаповича, под чьим присмотром он вырос и который буквально молился на своего питомца, преклонялся перед его умом и приписывал ему все существовавшие добродетели.

Петр Никитич, или, как звали его все в доме от самого князя до последнего холопа, просто Никитич, был старик лет шестидесяти, седой как лунь, с умным, благообразным лицом и добрыми глазами, которым придавали и особую привлекательность, и задушевность расположенные вокруг них мелкие, частые морщинки. Длинная, седая, библейская борода в беспорядке спускалась на широкую грудь этого, на вид для его лет далеко не старого, человека, несколько мешковатого и неуклюжего, представителя типа именно тех русских людей, о которых сложилась народная поговорка: «Не ладно скроен, да крепко сшит».

Никитич вдовствовал уже лет пятнадцать, его единственный сын, Тимофей, служил стремянным при князе Василие. Это был молодой парень лет двадцати трех; каштановые кудри и небольшие усы обрамляли довольно красивое плутоватое лицо, дышащее весельем и истинно русским бесшабашным ухарством. Он был действительно чуть ли не самый веселый из молодых парней княжеской дворни; не было игры и затеи, где бы Тимофей не был коноводом; балалайка делала под его искусными руками положительные чудеса и очаровывала невзыскательных музыкальных знатоков того времени. Сам князь Василий с своими гостями по часам заслушивался игрою доморощенного виртуоза-самоучки. Тимофей был призываем даже в светлицу княжны потешать своим искусством последнюю и ее сенных девушек.

Там он обменялся своим сердцем с одной из сенных девушек молодой княжны — полногрудой белокурой и голубоокой Машей, той самой, если помнит читатель, которая, в день приезда князя Никиты к брату с невеселыми вестями из Александровской слободы, подшучивала над Танюшей, что она «не прочь бы от кокошника», и получила от цыганки достождный отпор.

Марья Ивановна, как ее величали по батюшке, тоже несколько отличающаяся от других сенных девушек княжны Евпраксии, и Татьяна, как две соперницы в расположении их молодой боярышни, недолюбливали друг друга, что и выражалось в постоянных подпускаемых ими друг другу шпильках.

Роман Тимофея и Маши был в описываемое нами время в полном разгаре: тенистый сад летом и темные уголки нижних и верхних сеней княжеских хором зимою могли бы рассказать многое, но они молчали. Помолчим и мы, тем более, что эта скромность не будет в ущерб нашего повествования, в котором лица эти играют лишь второстепенную роль.

Для романиста, на грустной обязанности которого лежит обнажать перед публикой чужие сердечные тайны, приятно отдохнуть в области возможной скромности.

Старику Никитичу первому и сообщил Яков Потапович свои опасения за спокойствие князя и княжны, не сказав, впрочем, ничего определенного о причинах, вызвавших эти опасения, ограничиваясь лишь общими местами о переживаемом для старых боярских родов тяжелом времени.

— Да к тому же этот самый рыжий дьявол Малюта, — помяни мое слово, не к добру зачастил он к нам, — на княжну свои глазки бесстыжие пялит, индо за нее страшно становится, как стоит она перед ним, голубка чистая, от страха даже в лице меняясь... — заметил, кроме того, Яков Потапович.

Он несколько раз был около князя Василия при неожиданных визитах Григория Лукьяновича, и странное чувство какой-то безотчетной ненависти, какого-то озлобленного презрения, но ненависти и презрения, которые можно только чувствовать к низко упавшему в наших глазах, не оправдавшему нашей любви близкому человеку, зародилось в его душе при первой встрече с Малютою, при первом взгляде на него.

Казалось, и Григорий Лукьянович платил ему тою же монетою; странен и загадочен был взгляд его раскосых глаз, по временам останавливавшихся на молодом человеке.

— Правда, правда, касатик, — с дрожью в голосе от внутреннего волнения согласился с своим любимцем Никитич, — не доведет до добра это якшанье нашего князя-батюшки с «кромешниками». А все кто причинен — братец, князек Никитушка — юла перекатная...

Старик грустно поник головой.

— Вот то-то и оно, что беды ждать следует, — продолжал Яков Потапович, — надо, значит, быть настороже, как что — грудью заслонить...

— Вестимо так; да из дворни нашей кто за нашего милостивца живот свой пожалеет? — уверенно заметил старик.

— Всем тоже зря болтать не следует; скажи сыну, пусть подберет молодцов понадежнее, чтобы всегда у меня на случай под рукой были, да за Танькой черномазой глазок приспособить надо, больно она мне тоже подозрительна...

Ничего более не сказал своему бывшему дядьке Яков Потапович, и этого было совершенно достаточно, чтобы задуманный им план охраны осуществился и за «черномазой Татьяной» появился неустанный и недремлющий глазок-смотрок, в лице возлюбленной Тимофея — Марьи Ивановны.

Продолжительное затишье не уменьшило бдительности Якова Потаповича; он чувствовал, что оно перед бурей, и был настороже с своими помощниками.

XIX

Вещий сон начинает сбываться

Весело и беззаботно встретила княжна Евпраксия Васильевна с своими сенными девушками праздник Рождества Христова 1567 года. В играх, забавах и гаданьях проводили они из года в год с нетерпением ожидавшиеся русскими девушками того времени святки.

Не театры, балы и концерты, незнакомые еще юным представительницам прекрасного пола XVI столетия, заставляли томиться радостным ожиданием их молодые сердца, а более близкие к природе, незатейливые развлечения, а главное, возможность хотя немного поднять завесу будущего гаданием в «святые дни», безусловную веру в которое, наравне с несомненно признаваемой возможностью «приворотов», «отворотов», «порчи с глазу» и проч., носили в умах и сердцах своих наши отдаленные предки обоего пола.

Дни княжна с подружками посвящала катанью с ледяных гор, игре в снежки и беганью в горелки по расчищенному обширному двору княжескому, и часть ночей более серьезным таинственным занятиям — испытаниям будущего: литью воска, свинца, гаданью с петухом, с зеркалом, на луну, над прорубью, бросанью башмаков за ворота, спросу прохожих об имени. Все, что заставляло, да и теперь порой заставляет трепетать сердца девичьи в бедных хижинах и в богатых хоромах, имело место в святочном времяпровождении женской половины обитателей княжеского дома.

Все эти игры и гадания производились, конечно, под наблюдением старой Панкратьевны, являвшейся, так сказать, их главной руководительницей, хотя и ворчавшей на «полуношниц» и «озорниц», когда какое-либо гаданье затягивалось уже слишком долго, что превосходило меру физических сил старушки, и она, под звуки песен и хохота, даже ходя, что называется, клевала носом.

Многие из сенных девушек ухитрялись обмануть бдительность Панкратьевны и уже по окончании общего гаданья — погадать отдельно, на свой страх и риск, пользуясь отходом ко сну утомившегося за долгий праздничный день их «вечного аргуса».

За последние, впрочем, года, ввиду рассказов об опричниках, они побаивались выходить одни по ночам на берег реки и за ворота княжеского двора.

О княжне нечего было и говорить; она никогда не любила непослушанием огорчать свою любимую старую няньку, да и самые гадания до последнего времени имели для нее значение веселой игры, равносильной всякой другой, — мысли о будущем, как мы знаем, посетили ее сравнительно недавно.

Ночь, следовавшая за днем 28 декабря 1567 года, была мрачна и неприветна. Весь этот день бродили по небу облака, к ночи они еще более сгустились, шел мелкий снежок, и выплывавшая луна то и дело скрывалась за тучами.

Было далеко за полночь.

Огни, как в княжеских хоромах, так и в людских, были давно потушены. Кругом царила невозмутимая тишина, прерываемая лишь изредка скрипом снега под ногами опозднившихся путников, по большей части ночных гуляк из опричников-ратников, разносившимся на далекое пространство.

Эти отзвучья городской жизни не достигали, впрочем, до хором князя Василия Прозоровского; вблизи на большое расстояние не было «кружал», как назывались в то время кабаки, вокруг которых кипела относительная жизнь тогдашней полумертвой Москвы.

Тишина во дворе и в саду княжеском, таким образом, не нарушалась ни малейшим шорохом.

Но, чу! Послышался осторожный стук выходной двери... По двору, по направлению к саду, промелькнули две тени. Легкий скрип шагов, а также очертание теней позволяли безошибочно заключить, что это были две женщины.

Одна вела другую за руку. Обе поспешно пробежали сад и достигли калитки, ведущей на берег реки.

Тут они остановились.

Одна из них, казалось, не хотела идти далее и вырвала даже свою руку; другая наклонилась к ней совсем близко и несколько минут что-то нашептывала ей, как бы уговаривая, затем снова, схватив ее за руку, увлекла из сада, выдвинув сильною рукою тяжелый засов, запиравший калитку, и они осторожно, но все-таки довольно быстро стали спускаться с береговой кручи.

Они шли не оглядываясь.

Вдруг за ними раздался пронзительный свист. Гулкое эхо повторило его так явственно внизу берега, что трудно было в точности сразу определить, откуда он на самом деле раздался.

Обе женщины стали как вкопанные, одна даже пошатнулась и чуть не упала, так что другая принуждена была подхватить ее на руки.

В тот же момент совершилось нечто совсем неожиданное. Пустынный до тех пор берег — оживился.

Двое мужчин, Бог весть откуда взявшиеся, стали быстро взбираться по берегу по направлению к остановившимся женщинам, а от высокого, тонувшего во мраке забора, окружавшего княжеский сад, отделилось несколько теней, который стали спускаться по тому же направлению. Это тоже были мужчины.

Поднимавшиеся на берег уже достигли цели, схватили женщин и бросились, держа их на руках, к реке, на льду которой стояли наготове верховые лошади, привязанные к колу, вбитому в берег.

Вдруг раздались крики:

— Лови, держи!

Двое неизвестных были окружены прибежавшими сверху людьми.

Силы были не равны; напавших было десять человек.

Одна из женщин неистово крикнула и, вырвавшись из рук державшего ее поперек талии мужчины, со всех ног бросилась бежать вверх.

Державший ее рослый парень был крепко скручен по ногам и рукам принесенными появившимися людьми веревками и недвижимо лежал на земле.

Это было делом одного мгновения.

Другой, держа, видимо, бесчувственную женщину наперевес в левой руке, отмахивался от нападавших на него правой, в которой был длинный нож.

Видимо, он не был расположен даром отдать свою ношу и если бы не ловкий и сильный удар палкою по руке, нанесенный ему по всем признакам предводителем нападавших, выбивший нож и сделавший его безоружным, многие из загородивших ему дорогу смельчаков легли бы

на месте.

Увидя себя обезоруженным, державший женщину выпустил ее с руки и она как пласт упала бы на снег, если бы несколько рук не подхватили ее и не уложили бережно на раскинутый охабень.

Воспользовавшись временем, когда внимание некоторых из нападающих было обращено на полумертвую от страха женщину, ее похититель хотел бежать, пробившись силою, и уже засучил рукава, но тот же, который выбил у него нож, как клещами схватил его за руки повыше локтей, неожиданным ударом под ножку свалил на землю и, наступив коленом на грудь, схватил за горло. Двое других крепко держали его руки.

В это время луна выплыла из-за облаков и осветила картину этой борьбы.

Яков Потапович — это был он, как, вероятно, уже догадался читатель — узнал в лежавшем под ним с искаженным от злобы лицом противнике Малюту.

Невдалеке, на раскинутом охабне, лежала бесчувственная княжна Евпраксия.

Несмотря на то, что для Якова Потаповича это открытие не было неожиданностью, так как предупрежденный Тимофеем, что Маша подслушала уговор Татьяны с княжной идти сегодня вдвоем гадать над прорубью, он понял, что цыганка устраивает ей ловушку и что ловцом явится не кто другой, как Малюта Скуратов, но все же, при встрече лицом к лицу и этим до физической боли ненавистным ему человеком, он задрожал и изменился в лице.

Это не ускользнуло от лежавшего Григория Лукьяновича, тоже при виде наклоненного над ним воспитанника князя Прозоровского, ощутившего нечто вроде незнакомого ему доселе чувства робости, но он истолковал замеченное им на лице врага волнение в свою пользу.

— Ну, узнал, кажись, меня, щенок, так и пусти добром, чай обо мне наслышался?..

При первых хриплых от сдавленного горла звуках этого голоса вся кровь бросилась в лицо Якова Потаповича и он сдавил еще сильнее шею Малюты.

— Вот то-то и оно, что наслышан всяк на Руси о тебе, рыжий пес, да небось, легонько тебя поучу я, чтобы не залезала ворона в высокие хоромы; не оскверню я рук своих убийством гада смердящего, авось царя-батюшку просветит Господь Бог и придумает он тебе казнь лютую по делам твоим душегубственным...

Малюта молчал, злобно поводя глазами, да, видимо, и не мог говорить, так как рука Якова Потаповича железным кольцом давила ему горло.

— Вяжите его, ребята, — выпустил наконец Яков Григория Лукьяновича и поднялся с земли, — не смотрите, что Скурлатович, бейте его в мою голову, но не до смерти, а так, чтобы помнил он до самого смертного часа, как сметь ему даже мысль держать в подлой башке своей о княжне Прозоровской!

Никитич, Тимофей и другие, подобранные последним молодцы из княжеской дворни, бросились исполнять это приказание, и Малюта, изрыгавший проклятия и угрозы, был быстро скручен, подобно его сотоварищу по гнусному предприятию — Григорию Семенову.

— Не забудьте поучить и этого молодца! — кивнул Яков Потапович в сторону последнего, молча лежавшего на земле. — Жаль, сбежала черномазая, а то поглядела бы, как ее милого дружка попотчуют батогами.

— В лучшем виде вспарим им спины, Яков Потапович, — раздались кругом добродушно-насмешливые голоса.

— Только где бы нам для этого дела приспособиться?

— Да вон в шалаше рыбацком, — места, чай, немного надобно баньку им задать горячую, — посоветовал Яков Потапович.

Связанных пленников подняли с земли и понесли к шалашу.

Природа, как бы сочувствуя наказанию низких злодеев, приняла ликующий вид: небо прояснилось, и луна обливала свои матовым светом замерзшую ленту реки, крутой берег, покрытый снежной пеленой, и все продолжавшую лежать недвижимо на охабне бледную, подобно окружавшему ее снегу, княжну Евпраксию.

Она лежала навзничь. Короткая шубейка из вычерненной дубленой овчины красиво облегалась ее стройный стан; из-под темно-синего сарафана выглядывали маленькие ножки, обутые в валенки, на раскинутых миниатюрных ручках были надеты шерстяные рукавички; пряди золотистых волос выбились из-под большого платка, окутывавшего голову, на лоб, как бы выточенный из мрамора. Глаза княжны были закрыты, и темные, длинные ресницы рельефно оттеняли бледное, без кровинки красивое лицо с побелевшими полураскрытыми губами.

На первый взгляд она производила впечатление мертвой.

Эта роковая мысль первая пришла в голову ставшему перед ней на колени и наклонившемуся к ее лицу Якову Потаповичу.

Он сам побледнел, подобно мертвецу, и задрожал.

Чуть заметное неровное дыхание лежавшей успокоило его.

«Она только обмерла с перепугу, касаточка! Не ожидала, что готовит ей любимица, цыганское отродье проклятое! Не подслушай Маша, дай ей Бог здоровья, быть бы ей, голубке чистой, в когтях у коршуна! — проносилось в его голове. — Но как же теперь ее в дом незаметно доставить? — возникал в его уме вопрос. — Надо прежде в чувство привести, да не здесь; на ветру и так с час места пролежала, еще совсем ознобится. Отнесу-ка я ее в сад, в беседку, авось очнется, родная».

Он бережно взял на руки дорогую для него ношу, обернул ее в охабень и осторожно стал подниматься по крутому берегу.

Со стороны рыбацкого шалаша доносились звуки палочных ударов и крики, а гулкое эхо повторяло их, разнося на далекое пространство пустынного берега.

Там шла, видимо, нешуточная расправа с попавшимися в руки русских людей «кромешниками».

XX

С глазу на глаз

В одном из отдаленных уголков княжеского сада стояла деревянная беседка восьмиугольной формы, состоявшая из половой настилки, балюстрады и восьми деревянных витых столбиков, поддерживавших осьмиконечную крышу с деревянным же шпиком.

Из этой беседки, построенной на самом возвышенном месте сада, открывался прелестный

вид на Москву-реку и заречную часть города, с видневшимися кругом нее густыми лесами, окружавшими со всех сторон в те далекие времена нашу первопрестольную столицу.

Эта беседка была любимым местом летнего отдохновения покойной княгини Анастасии: в ней она проводила целые дни, окруженная своими санными девушками, наблюдая за играющими вблизи княжной Евпраксией и Яшей: здесь, под ее наблюдением, происходила варка варений и приготовление всевозможных солений, необходимых для домашнего обихода.

Своего хозяйственного назначения эта беседка не утратила и до описываемого нами времени, но князь Василий не любил заходить не только в нее, но даже в эту часть сада, навевавшую на него грустные воспоминания о тяжелой утрате, а потому она и была сравнительно запущена.

В эту-то беседку и принес Яков Потапович бесчувственную княжну, осторожно опустив ее на одну из находившихся там скамеек, и, взяв пригоршню чистого снега, стал мочить ей виски, голову и губы.

Княжна вздрогнула, полуоткрыла глаза и испуганно повела ими.

— Где я?.. С кем?.. — прошептала она.

— С другом, княжна, с другом! — радостно-взволнованным голосом отвечал Яков Потапович.

Такой продолжительный обморок княжны начинал не на шутку беспокоить его, и он несказанно обрадовался, когда она пришла в себя.

Княжна пристально взглянула и узнала его.

Густой румянец, покрывший ее щеки, сменил смертельную бледность.

Была ли это краска радостного или стыдливого волнения — как знать?

Она сделала движение, видимо желая приподняться. Он помог ей, и она села на лавку.

— А где же Танюша? — дрожащим шепотом спросила она, не поднимая на него глаз.

Он глядел на нее восторженным взглядом, но при этом вопросе злобный огонь сверкнул в его взгляде.

— Схоронилась, бесстыжая, стреканула в глазах, только и видели; а тебе, княжна, и вспоминать об ней, подлой, зазорно бы...

Княжна подняла на него удивленный взгляд, заблиставший все-таки радостью.

— Схоронилась?.. Значит, не попала в руки разбойникам?..

— Не разбойники то были, а ее же благоприятели: Гришка, ваш же бывший холоп, да Малюта...

Услыхав это имя, княжна снова побледнела.

— Малюта? — с дрожью в голосе повторила она.

Он заметил, что в этом голосе слышались ноты сомнения.

— Да, Малюта, — горячо продолжал он. — Она, змея, подвести тебя хотела, по уговору вместе с этим Гришкой все это подстроила, тебя на гаданье подбила, а сама знала, подлая, что они на берегу дожидаются...

Он в подробности передал княжне подслушанный им разговор Татьяны с Григорием Семеновым в день первого посещения Малютою княжеского дома, устроенный им надзор за «черномазой», сообщение Маши и разрушенный им, с помощью преданных ему людей, план ее похищения «треклятым опричником».

Он увлекся рассказом, глаза его горели, в его голосе, против его воли, слышалось радостное сознание исполненного им священного долга.

Княжна внимательно слушала его, опустив голову, и лишь по временам вскидывала на него взгляд своих чудных глаз.

Выражение недоумения сменялось в них по мере того, как он вдавался в подробности неожиданных для нее разоблачений гнусной интриги ее любимицы, сперва выражением негодования и гадливости, а затем благодарности к спасшему ее из рук врагов человеку.

Щеки ее снова горели ярким румянцем.

Оба они, освещенные матовым светом луны, были прекрасны.

— Спасибо, Яшенька... Яков Потапович, — поправилась она и вся зарделась от этой случайной ошибки, сделанной по детской привычке.

Он понял иначе эту обмолвку, именно так, как всеми силами души его хотелось понять ему.

Луч надежды блеснул в его отуманенном от этого ласкового слова мозгу.

Он порывисто бросился пред ней на колени и схватил ее руки.

— Не за что, княжна, благодарить меня. Как бы иначе мог поступить я? Али не ведаешь ты, что вся жизнь моя в тебе одной, что охотно за тебя положу я на плаху свою голову, что люблю я тебя всем сердцем моим, к тебе одной стремятся все мои помыслы...

Он взглянул на нее и сразу оборвал речь свою.

Она сидела снова бледная как полотно и испуганно глядела на него.

Эта бледность и этот взгляд мгновенно отрезвили его.

Луч надежды угас так же быстро, как появился.

Он медленно поднялся с колен.

— Прости меня, княжна, напугал я тебя своей глупою выходкою, — заговорил он подавленным голосом, с трудом произнося слова, — я лишь хотел сказать тебе, что люблю тебя, как сестру родную, что недалеко ходить тебе за защитником, что грудью я заслоню тебя от ворогов, живота своего не пожалею для твоего счастья, что ни прикажешь, все сделаю, спокойно спи под моею охраною и будь счастлива... Вот что только и хотел сказать тебе, да не так было сказалося...

Слезы явственно задрожали при последних словах в его голосе, и он усмехнулся горькой усмешкою.

— Спасибо тебе, Яков Потапович! Не забуду я век услуги твоей, братец мой названный; верю тебе, что не дашь меня в обиду врагам, а сам и подавно обидеть не вздумаешь... С перепугу мне невесть что померещилось... — отвечала оправившаяся княжна Евпраксия.

Яков Потапович понял горький для него смысл слов молодой девушки, понял, что ими подписан окончательный приговор его мечтам и грезам.

Княжна не любила его!

На секунду воцарилось молчание.

Княжна Евпраксия прервала его первая.

— Что-то будет мне от бабушки, как прознает он завтра обо всем этом? — как бы про себя прошептала она.

— Ни про что не прознает он, — успокоил ее Яков Потапович. — Провожу я тебя до дому. Маша тебя там дожидается, проводит тебя в опочивальню, заснешь ты и все шитым да крытым останется... За себя, за Машу и за остальных я ручаюсь: звуком никто не обмолвится.

— А Татьяна? — тревожно спросила княжна.

— Коли наглости у ней хватит вернуться в дом, так она скорей язык проглотит, чем проболтается, свою же шкуру жалеючи. Да навряд она вернулася: сбежала, чай, и глаз на двор показать не осмелится; знает кошка, чье мясо съела, чует, что не миновать ей за такое дело конюшни княжеской, а что до князя не дойдет воровство ее, того ей и на мысль не придет, окаянной!

— Куда же она, бедняжка, денется? — в порыве искреннего сожаления спросила княжна.

— Святая ты, княжна, совсем ангел чистый; о змее подколодной, подлой предательнице, чуть навек тебя же не загубившей, беспокоишься! Куда она, бедняжка, денется! Да пропади она пропадом!

Он даже сплюнул с досады.

— В том-то и горе, что не сгинет она, а обернется и вывернется. Об ней не тревожься, не из таковских она, что гибнут ноне на святой Руси, а под масть тем, кому живется вольготно и весело... — с горечью добавил он после некоторой паузы.

Княжна ничего не ответила и поднялась со скамейки. Он проводил ее, слегка поддерживая под локоть, до нижних сеней княжеских хором, где на самом деле дожидалась ее Марья Ивановна, которой Яков Потапович и поручил дальнейшее сопровождение княжны до ее опочивальни, наказав исполнить это как можно осторожнее, не разбудив никого из слуг или сенных девушек, а главное — Панкратьевны.

На дворе продолжала царить та же невозмутимая тишина, весь дом спал мертвым сном, не подозревая совершавшихся вблизи событий.

Проводив княжну, Яков Потапович снова направился к берегу Москвы-реки, озабоченный, как бы Никитич с Тимофеем и остальными не слишком поусердствовали в исполнении его приказаний относительно наказания «кромешников».

Подходя к калитке, он стал прислушиваться: на берегу было совершенно тихо.

— Покончили, видно, расправу-то, — мелькнуло в его голове, — только ненароком не зашибили бы насмерть. Пойти посмотреть...

Он прибавил шаг, продолжая внимательно вслушиваться в окружающую тишину.

Но вот до слуха его донесся скрип снега под ногами нескольких человек и, выйдя из калитки, он столкнулся лицом к лицу с Никитичем, Тимофеем и другими.

— Ну что, поучили? — обратился он к первому с худо скрытою тревогою в голосе, стараясь придать ему возможно более небрежный и насмешливый тон.

— Поучили, касатик мой, поучили, — серьезно ответил Никитич, — так поучили, что до новых веников не забудут...

— А где они?

— Да там же, в шалаше, мы их и оставили, пусть на досуге да в прохладе о грехах своих пораздумаются, авось на-предки присмирят, анафемы!

— Да вы их не очень, чтобы... как я сказал... живыми оставили? — еще более тревожным тоном продолжал свои расспросы Яков Потапович.

— Дышут, родимый, не тревожься, дышут, живучи, аспиды, отдышутся...

Тимофей с остальными молчали.

Их лица, как и лицо Никитича, хранили серьезное выражение исполненной, хотя и неприятной, но необходимой обязанности.

Яков Потапович вздохнул свободно.

«И впрямь отдышатся да и улизнут восвояси; не из таковских, чтобы не ослобониться: выжиги, дотошные...» — пронеслось в его голове.

— Ну, ребятушки, спасибо вам, что помогли мне княжну, ангела нашего, от неминуемой беды вызволить, вырвать ее, чистую, из грязных рук кромешников, но только ни гу-гу обо всем случившемся; на дыбе слова не вымолвить... Ненароком чтобы до князя не дошло: поднимет он бурю великую, поедет бить челом на обидчика государю, а тому как взглянется, — не сносить может и нашему князю-милостивцу головы за челобитье на Малюту, слугу излюбленного... Поняли, ребятушки?

— Поняли! — почти в один голос послышался ответ.

— Так поклянитесь мне в том всем, что ни на есть у вас святого в душеньках...

— Клянемся! — раздалось снова в один голос, среди полной тишины.

— Спасибо, ребятушки! — поклонился им всем Яков Потапович поясным поклоном.

Все они затем, молча, вернулись в сад. Никитич запер засовом калитку, и все, так же молча, разошлись по своим местам.

Яков Потапович вернулся в свою горницу.

В ней было светло от врывавшегося в окно лунного света.

Он, не раздеваясь, сел на лавку и задумался.

Мысль о том, что на дворе глухая ночь и что надо ложиться спать, не приходила ему.

Ему было не до сна.

Испуганное и побледневшее лицо княжны Евпраксии при первых словах его горячего признания продолжало носиться перед его духовным взором и ледяным холодом сжимать его сердце.

Хотя он давно стал привыкать к мысли о несбыточности мечты его о взаимности, но все же мечта эта потухающей искоркой теплилась в его сердце и служила путеводной звездочкой в его печальном земном странствии.

Теперь звездочка эта потухла и беспросветная тьма неизвестного будущего, без надежды и упований, окружила его.

Не только не пугала, но даже не выпала ему на ум возможность страшного отмщения со стороны всевластного Малюты, да и какие муки, какие терзания мог придумать этот палач тела ему, истерзанному и измученному сидящим внутри его самого душевным палачом.

Так просидел он, не сомкнувши глаз, до самого утра, и когда в доме все встали, он переоделся и спустился вниз к князю Василию.

С тревогой думал он, не дошло ли как-нибудь до него ночное приключение, но взглянув на спокойное, как всегда, лицо старика, встретившего его обычной ласковой улыбкой, успокоился.

Князь Василий, видимо, не имел даже малейшего подозрения о случившемся.

При нем вошла к отцу с утренним приветствием и княжна Евпраксия.

Она, видимо, была здорова, но лишь немного бледнее и немного серьезнее обыкновенного.

Жизнь в княжеском доме вступила в свою обычную колею.

Роковые события ночи на 29 декабря оставили самый глубокий и неизгладимый след лишь в душе Якова Потаповича.

XXI

В рыбацком шалаше

Малюта Скуратов и Григорий Семенов были так избиты княжескими холопьями, что действительно, как выразился Никитич, только дышали.

Связанные по рукам и ногам, они лежали во мраке рыбацкого шалаша.

Лунный свет проникал в него лишь из узкого верхнего отверстия, дверное же было закрыто ушедшими плотно прислоненным дощатым щитом.

Они даже не могли испытать, в силах ли будут подняться на ноги, так как туго завязанные мертвыми узлами веревки мешали им сделать малейшее движение. Оба только чувствовали от этих впившихся в тело веревок и от перенесенных палочных ударов нестерпимую боль.

Григорий Семенов по временам тихо стонал.

Малюта был, видимо, сильнее духом. Он лежал молча, сосредоточившись.

Впрочем, его мозг жгла неотвязная мысль, причиняющая ему страшную нравственную боль и заставлявшая забывать физические страдания.

Эта мысль возникла в его уме, как только он увидел наклоненного к нему Якова Потаповича и встретился, при свете выплывшей из-за облаков луны, с его полным злобы, ненависти и

презрения взглядом.

Читатель помнит, что он, Малюта, почувствовал даже в этот момент нечто вроде робости, и это только потому, что в этом взгляде мелькало для него нечто далекое, давно забытое, но знакомое.

Где он видел подобный взгляд?

Он мысленно стал рыться в своих кровавых воспоминаниях, стал переживать свою жизнь с дней своей ранней юности.

Занятый этой мысленной работой, он как-то даже безучастно отнесся к произведенной над ним княжескими слугами жестокой расправе.

Клокотавшая в его сердце бессильная злоба не могла заставить его забыть заданный им самому себе вопрос — где он видел подобный взгляд? И теперь, когда ушли это подлые холопы, когда он остался недвижимо лежать рядом с своим наперсником, тот же вопрос неотступно вертелся в его уме.

Вдруг он болезненно крикнул.

Григорий Семенов со стоном повернул к нему голову.

— Что, боярин?

Он не получил ответа и замолчал.

Смолк и Малюта.

Этот крик вырвался у него не от боли.

Он вспомнил, где он видел этот взгляд, и рой воспоминаний далекого прошлого восстал перед ним.

Он вспомнил первую казнь, на которой присутствовал в качестве зрителя, в первые дни самостоятельного правления Иоанна, царя-отрока. Он был тоже еще совсем юношей. Это была казнь князя Кубенского и Федора и Василия Воронцовых, обвиненных в подстрекательстве к мятежу новгородских пищальников.[8] Им отрубили головы, и народ бросился грабить дома казненных.

Живо вспоминается Малюте, несмотря на то, что этому прошло уже более двадцати лет, как он, вместе с невольной увлекшей его толпой грабителей, попал на двор хором князя Кубенского, а затем проник и в самые хоромы.

Чернь бросилась грабить, а он очутился один в полутемных сенях.

— Кто бы ни был ты, добрый молодец, спаси меня, коли есть крест на груди твоей! — услышал он молящий голос.

Перед ним, как из земли, выросла стройная, высокая девушка; богатый сарафан стягивал ее роскошные формы, черная как смоль коса толстым жгутом падала через левое плечо на высокую, колыхавшуюся от волнения грудь, большие темные глаза смотрели на него из-под длинных густых ресниц с мольбой, доверием и каким-то необычайным, в душу проникающим блеском. Этот блеск, казалось, освещал все ее красивое, правильное лицо, а черные, соболиные брови красивой дугой оттеняли его белизну. На щеках то вспыхивал, то пропадал яркий румянец.

— Кто ты, девушка, и как попала сюда? — спросил он.

— Я сирота, племянница князя Кубенского...

— Куда же мне схоронить тебя?

— Куда хочешь, столько спаси меня от надругания грабителей.

У Малюты блеснула мысль. Он быстро сбросил с себя широкий охабень, накинул его на красавицу, затем нахлобучил ей на голову свою шапку...

— Иди за мной и не бойся!

Она последовала за ним.

Они счастливо миновали двор, выбежали за ворота и пустились бегом по улице, но вдали показались бегущие им навстречу толпы народа и они были принуждены свернуть в переулок, оканчивающийся густою рощею. Чтобы схорониться хотя на время, они вбежали в самую чащу.

На дворе стояла ранняя осень; резкий ветер колыхал деревья с их полупоблекшей листвой. Холодное солнце как-то угрюмо, точно нехотя, светило, выглядывая по временам из-за серовато-грязных облаков.

Забравшись в чащу, они присели отдохнуть. Девушка, видимо, изнемогала от усталости.

Она сбросила с себя охабень Малюты и шапку. Раскрасневшаяся от быстрого бега, с полурастрепанной косой, с высоко приподнимавшейся грудью, она казалась еще прекраснее.

Григорий Лукьянович взглянул на нее. Они были одни — она вся была в его власти, его — ее спасителя.

В нем разом проснулись его зверские инстинкты: он рванулся к ней и сжал ее в своих объятиях.

Она попала из огня да в полымя.

Но каким взглядом окинула она его, сколько ненависти и презрения выразилось в нем.

Ему долго потом мерещился этот взгляд, поднимая со дна его сердца мучительные угрызения совести. Он усыпил впоследствии эту совесть — он позабыл и эту девушку — жертву его первого преступления... Он утопил эти воспоминания в массе других преступлений, в потоках пролитой им человеческой крови.

Где она, эта девушка?

Он бросил ее в той же роще, опозоренную, бесчувственную и... забыл о ней...

Теперь он в малейшей подробности припомнил все... Вот где он видел этот взгляд!

— Но, неужели он...

Малюта не успел окончить своей мысли, как деревянный щит был отодвинут от двери шалаша чьею-то рукою и на его пороге появилась, освещенная ворвавшимися в шалаш снопом лунного света, Татьяна, с блестящим в руке длинным лезвием ножа.

Яков Потапович не ошибся: она не решила вернуться в дом князя Василия, а, убежав с места побоища, притаилась в кустах у забора княжеского сада. Кусты были густы, несмотря

на то, что были лишены листвы; кроме того, от высокого забора падала тень, скрывавшая ее от посторонних взоров. Она же сама видела все.

Она видела, как Потапович пронес в сад бесчувственную княжну Евпраксию, как оставшиеся на берегу люди потащили в шалаш Малюту и Григория, слышала крики и, наконец, увидела их возвращавшимися по окончании расправы.

Раздался шум запираемой засовом калитки.

Татьяна осторожно выглянула из своей засады, несколько минут как бы застыла в напряженной позе, прислушиваясь к шуму удалявшихся в саду шагов и, наконец, убедившись, что все ушли, осторожно стала спускаться по крутому берегу к шалашу.

Под ноги ей попался какой-то блестящий предмет. Она подняла его. Это оказался нож Григория Лукьяновича, выбитый из его руки Яковом Потаповичем.

Лежавшие повернули к ней свои головы, пораженные неожиданным посещением.

Григорий не узнал своей возлюбленной.

С перепугу они оба не сразу заметили, что это была женщина, — все их внимание было обращено на блестящий в руках таинственного пришельца длинный нож.

У обоих мелькнула одна мысль, что враги вернулись покончить с ними.

Выражение смертельного ужаса одновременно появилось на их лицах, бледных от перенесенных побоев.

— Однако они лихо вас отпотчевали! — тоном сожаления, смешанным с обычным для нее тоном насмешки, произнесла Татьяна.

— Таня! — узнал ее Григорий Семенович.

Она подошла к лежавшим.

— Ну, полно вам спать-то, вставать пора! — уже явно насмешливо продолжала она и несколькими ловкими ударами ножа разрешила скручивавшие Григория веревки.

— Откуда у тебя нож-то? — спросил ее Григорий.

Она рассказала.

— Это боярина! — кивнул он в сторону Малюты.

Последний продолжал смотреть с недоумением на происходившую перед ним сцену.

От его внимания не ускользнула, впрочем, чисто животная красота Тани.

— «Кралья-то отменная!» — мелькнуло невольно в его голове.

Он понял, что эта девушка пришла освободить их, что это и есть зазнобушка его нового ратника — Григория, и вместе с спокойствием за будущее его ум посетили и обычные сладострастные мысли.

Такова была натура этого человека-зверя.

Освобожденный Григорий с усилием встал на ноги и вместе с Татьяной освободил от пут и Григория Лукьяновича.

Тот тоже встал и, ежась от боли, осторожно присел на валявшийся в шалаше чурбан, тот самый чурбан, сидя на котором два года тому назад Татьяна объяснялась в любви Якову Потаповичу.

— Как же это так, девушка, мы впросак попали? Не сболтнула ли ты кому лишнего? — спросил Григорий Лукьянович.

Татьяна стала оправдываться. Она и сама недоумевала, как мог быть открыт так искусно и осторожно составленный ею план. О гаданье знала только одна княжна.

— Разве подлая Машка, Тимофеева поллюбовница, подслушала? Но как и когда? А всему делу голова этот подзаборный Яшка проклятый, чтобы ему ни дна ни крыши!.. — с уверенностью заключила Таня.

Затем она перешла к себе. Ей нельзя более вернуться в княжеский дом. Яшка наверное догадался обо всем и передаст завтра же князю Василию.

— Куда же мне деть тебя? — вопросительно-недоумевающим тоном произнес Григорий Семенович и взглянул на Григория Лукьяновича, как бы прося совета.

— Ништо, пусть ко мне идет в дворовые, к Катерине — так звали его старшую дочь — в сенные девушки... — молвил Малюта, убедившись, что ни Григорий Семенович, ни Татьяна не виноваты в неудаче и печальном исходе всесторонне обдуманного плана.

— Благодарствуй, боярин, — почти в один голос вскрикнули те и бросились целовать руки Малюты.

— А ты Расскажи мне, девушка, кто этот Яшка? — спросил Малюта, приняв изъявления благодарности.

Танюша стала рассказывать. Когда она между прочим упомянула, что на подкидыше был надет золотой тельник, усыпанный алмазами, который князь Василий возвратил ему два года тому назад, Малюта схватился за голову.

Он вспомнил, что, когда во время борьбы с племянницей князя Кубенского он разорвал ей ворот сарафана, то увидал на ее груди тоже золотой тельник, усыпанный алмазами.

— Так он, он...

Малюта не договорил; он лишился чувств, и если бы Григорий и Татьяна не поддержали его — упал бы навзничь.

Когда он пришел в себя, то все трое вышли из шалаша и пошли к стоявшим на льду реки коням.

Животные, хотя и привычные к непогодам, уже давно нетерпеливо ржали от холода.

Они отвязали их и кое-как с трудом взобрались на них с помощью Татьяны.

Последняя ловко примостилась на седло сзади Григория Семенова, и все трое вскоре скрылись в снежной пыли, поднятой быстрым бегом застоявшихся лошадей.

XXII

В «неволе»

Прошло несколько месяцев.

Царь находился в Александровской слободе.

От этой слободы в наши дни не осталось ни малейшего следа, так как, по преданию, в одну жестокую зиму над ней взошла черная туча, опустилась над самым дворцом, этим бывшим обиталищем безумной роскоши, разврата, убийств и богохульства, и разразилась громовым ударом, зажегшим терема, а за ними и вся слобода сделалась жертвою разъяренной огненной стихии. Поднявшийся через несколько дней ураган развеял даже пепел, оставшийся от сгоревших дотла построек.

Слобода отстояла от Москвы верстах в восьмидесяти и от Троицкой лавры в двадцати верстах.

Врожденный юмор русского народа, не убитый в нем переживаемыми тяжелыми временами, заменил слово «слобода», означавшее в то время «свободу», словом «неволя», что дышало правдивою меткостью.

Это тогдашнее любимое местопребывание подозрительного Иоанна было окружено со всех сторон заставами с воинской стражей, состоявшей из рядовых опричников, а самый внешний вид жилища грозного венценосца, с окружавшими его постройками, по дошедшим до нас показаниям очевидцев, был великолепен, особенно при солнечном или лунном освещении. Опишем вкратце это, к сожалению, не сохранившееся чудо зодчества того времени.

Государев дворец, или «монастырь», как называют его современники, был громадным зданием необычайно причудливой архитектуры; ни одно окно, ни одна колонна не походили друг на друга ни формой, ни узором, ни окраскою. Бесчисленное множество теремов и башенок с разнокалиберными главами увенчивали здание, пестрившее в глазах всеми цветами радуги.

Крыши и купола, или главы, теремов и башенок были из цветных изразцов или золотой и серебряной чешуи, а ярко расписанные стены довершали оригинальность и роскошь внешности этого странного жилища не менее странного царя-монаха.

На «монастырском» дворе, окруженном высокою стеною с бесчисленными отверстиями разнообразной формы и величины, понаделанными в ней «для красы ради», находились три избы, два пристена, мыльня, погреб и ледник.

Стена была окружена заметом[9] и глубоким рвом.

В самой слободе находилось стоявшее невдалеке от дворца здание печатного двора с словолитней и избами для жительства мастеров-печатников как иностранных, вызванных царем из чужих краев, так и русских, с друкарем Иваном Федоровым и печатником Петром Мстиславцевым во главе.

Далее тянулись дворцовые службы, где помещались ключники, подключники, хлебники, сытники, псары, сокольники и другие дворовые люди.

Несколько слободских церквей с ярко горевшими на куполах крестами высились вблизи дворца. Стены их были также ярко размалеваны. Между ними особенно пышностью и богатством выделялся славный храм Богоматери, покрытый снаружи яркою живописью. На каждом кирпиче этой церкви блеснул золотой крест, что придавало ей вид громадной золотой клетки.

В слободе было множество каменных домов, лавок с русскими и заморскими товарами, —

словом, в сравнительно короткое время пребывания в ней государя она разрослась, обстроилась и стала целым городом.

Дорога между нею и Москвою была необычайно оживлена: по ней то и дело скакали гонцы государевы, ездили купцы с товарами, брели скоморохи и нищие.

Наряду с куполами храмов Божьих, подъезжавших и подходивших поражали высившиеся на площади, одна подле другой, несколько виселиц. Тут же были срубы с плахами и топорами наготове, чернелось и место для костра. Виселицы и срубы были окрашены в черную краску и выстроены прочно, видимо изготовленные на многие годы.

За слободой белели покрытые белоснежным ковром гряды холмов, а еще далее чернелись густые леса.

Такова была Александровская слобода, или «неволя».

Придворные, государственные и воинские чины жили в особенных домах; опричники имели свою улицу близ дворца; купцы также. Первые ежедневно должны были являться во дворец.

Подобно оригинальной внешности, оригинальна была и внутренняя жизнь этого дворца-монастыря.

Вот как, по свидетельству чужеземцев-современников, описывает ее Карамзин.

«В сем грозно увеселительном жилище Иоанн посвящал большую часть времени церковной службе, чтобы непрестанною деятельностью успокоить душу. Он хотел даже обратить дворец в монастырь, а любимцев своих в иноков: выбрал из опричников 300 человек, самых злейших, назвал их братнею, себя игуменом, князя Афанасия Вяземского келарем, Малюту Скуратова параклисиархом, дал им тафьи, или скуфейки, и черные рясы, под коими носили они богатые, золотом блестящие кафтаны с собольею опушкою; сочинил для них устав монашеский и служил примером в исполнении оногo. Так описывают сию монастырскую жизнь Иоаннову: в четвертом часу утра он ходил на колокольню с царевичами и Малютой Скуратовым благовестить к заутрене; братия спешила в церковь; кто не являлся, того наказывали восьмидневным заключением. Служба продолжалась до шести или семи часов. Царь пел, читал, молился столь ревностно, что на лбу всегда оставались у него знаки крепких земных поклонов. В восемь часов опять собирались к обедне, а в десять садились за братскую трапезу все, кроме Иоанна, который, стоя, читал вслух душеспасительные наставления. Между тем, братия ела и пила досыта; всякий день казался праздником: не жалели ни вина, ни меду; остаток трапезы выносили из дворца на площадь для бедных. Царь обедал после, беседовал с любимцами о законе, дремал, или ехал в темницу пытать какого-нибудь несчастного. В восемь часов шли к вечерне; в десятом Иоанн уходил в спальню, трое слепых рассказывали ему сказки; он слушал их и засыпал, но ненадолго: в полночь вставал и день его начинался молитвою. Иногда докладывали ему в церкви о делах государственных, иногда самые жестокие повеления давал Иоанн во время заутрени или обедни».

В описываемый нами день царь ранее обыкновенного удалился в свою опочивальню.

Это была обширная комната, в переднем углу которой стояла царская кровать, а налево от двери была лежанка; между кроватью и лежанкой было проделано в стене окно, никогда не затворявшееся ставнем, так как Иоанн любил, чтобы к нему проникали первые лучи восходящего солнца, а самое окно глядело на восток.

Царь только несколько дней тому назад вернулся в слободу из Москвы и был все время в мрачно-озлобленном настроении. Даже любимцы его трепетали; ликовал один Малюта, предвкушая кровавые последствия такого расположения духа «грозного царя». Он и сам ходил мрачнее тучи и рычал, как лютый зверь.

Последним распоряжением Иоанна, в бытность его в Москве, — было отвезти бывшего митрополита Филиппа в Тверской Отрочий монастырь.

Вся эта уже минувшая борьба его с «святым», как называли его в народе, старцем, окончившаяся низложением последнего и судом над ним, тяготила душу царя, подвергая ее в покаянно-озлобленное настроение, частое за последнее время.

Не отходя ко сну, он наедине с собою, сидя на своем роскошном ложе, припоминает мельчайшие подробности этой борьбы с сильным духом монахом.

«Кто прав из нас, кто виноват?» — неотступно вертится вопрос в уме Иоанна.

Какой-то внутренний голос говорил ему о правоте Филиппа. Недаром любовь народа, трепетавшего и скрывавшегося от царя, была уделом этого митрополита.

Другой голос, которому царь внимал с большим удовольствием, нашептывал ему о собственной правоте, о кознях, о мнимых, преступных будто бы, замыслах этого святого старца.

Но странное дело, этот голос был похож на голос Малюты, принимавшего на самом деле главное участие в следствии и суде над архипастырем.

Царь мучился сомнениями и снова кропотливою работою настойчивых воспоминаний силился разрешить этот вопрос.

Припоминает он его первое столкновение с этим митрополитом, которого он сам вызвал на престол архиерейский из дикой пустыни, с острова Соловецкого.

Неотступно мерещится ему взгляд благообразного старца, устремленный мимо него на образ Спасителя в соборном храме Успения в Москве, как бы не замечающий Иоанна, стоящего пред ним в монашеской одежде. В ушах его звучат грозные слова архипастыря.

— В сем виде, в сем одеянии странном, не узнаю царя православного; не узнаю и в делах царства!..

Гнев борется в душе царя с угрызениями совести.

Далее несутся тяжелые воспоминания — вторичное столкновение с митрополитом во время крестного хода в Новодевичьем монастыре.

Мелькает перед царем картина изгнания архипастыря из храма Успения во время богослужения, переданная ему исполнившим, по его повелению, это позорное дело Алексеем Басмановым: толпы народа, со слезами бегущие за своим духовным отцом, сидящим в бедной рясе на дровнях, с светлым лицом благословляющим его и находящим сказать в утешение лишь одно слово: «молитесь»... И все это несетя в разгоряченном воображении царя.

Вот в присутствии его читают приговор Филиппу, будто бы уличенному в тяжких винах и волшебстве.

Слышится ему просьба изможденного страдальца, обращенная к нему, не за себя, а за других, — просьба не терзать Россию, не терзать подданных.

«Был ли он виновен на самом деле? — восстают в уме царя вопросы. — Чем уличен он? Клеветой игумена Паисия».

Царь сам плохо ей верил.

«А если он невинен, то кого казнил он как его сообщников? Тоже невинных? За что велел от отсечь голову племяннику Филиппа, Ивану Борисовичу»?..

Вспоминает царь, что когда посланные с этою головою принесли ее сверженному митрополиту, заточенному в Николаевской обители, и сказали, как велел Иоанн: «Се твой любимый сродник; не помогли ему твои чары», Филипп встал, взял голову, благословил ее и возвратил принесшему.

Так передал царю Малюта, бывший во главе этого жестокого посольства.

«Кто прав из нас, кто виноват?» — все продолжал оставаться неразрешенным роковой вопрос.

И теперь все еще идет следствие по этому делу. Малюта пытается Колычевых — родственников Филиппа, а доказательств вины его, настоящих, ясных доказательств, что-то не видно. В минуты просветления это сознает и сам царь.

Такая минута наступила для него и теперь.

— Он, он прав, а не я! — болезненно вскрикивал Иоанн.

И, немилосердно бия себя в перси, царь падает ниц перед образницей, освещенной несколькими лампадами.

Тяжелые стоны вырываются у него из груди, все его тело колыхается в истерическом припадке.

В этот момент в опочивальню, звеня ключами, вошел Малюта.

Он остановился у дверей и стал пережидать окончания молитвы царя.

С той памятной ночи, когда мы видели его в рыбацком шалаше, он страшно изменился: щеки осунулись, скулы еще более выдвинулись, а раскосые глаза, казалось, горели, если это только было возможно, еще более злобным огнем.

Иоанн кончил молиться, с трудом приподнялся с пола, в изнеможении опустился на кровать и заметил своего любимца.

— Ну, что, сознались? — с сверкнувшим из-под нависших бровей взглядом спросил он.

В его голосе слышались ноты тревожного сомнения и нетерпеливого ожидания.

— Сознались, великий государь, во всем сознались, лиходеи, — мрачно ответил Григорий Лукьянович.

Царь вскинул на него удивленно-радостный взгляд.

Значит он... он... виноват! — с дрожью в голосе воскликнул Иоанн.

— Зря тревожишь ты себя, государь, из-за чернеца злонамеренного... Вестимо, виноват... Зазнался поп, думал, как Сильвестр, не к ночи будь он помянут, твою милость оседлать и властвовать, а не удалось — к твоим врагам переметнулся...

— К кому? — прохрипел Иоанн и устремил на Малюту пронзительный взгляд.

— К князю Владимиру Андреевичу... Сейчас сознались мне Филипповы родичи, что по его наказу вели переговоры с князем, чтобы твою царскую милость известить, а его на царство венчать, но чтобы правил он купно с митрополитом и власть даровал ему на манер власти

папы римского.

— Ишь, чего захотел, святоша... — хриплым смехом захохотал успокоенный царь. — Один пытал?.. — вдруг обратился он к Малюте.

— Нет, государь, с дьяками; все до слова в пыточном свитке прописано, — завтра тебе представят...

— Спасибо, спасибо, отец параклисиарх! — шутливо произнес Иоанн. — Век тебе этой услуги не забуду — тяжесть великую снял ты с моего наболевшего сердца.

Царь задумался.

Малюта молчал.

Вдруг Иоанн вскочил, как бы осененный внезапною мыслью.

— В церковь, все в церковь, все за мной! — воскликнул он диким голосом. — Идем благовестить, Малюта!

Через несколько минут на колокольне церкви Богоматери раздался мерный благовест, и из дворца потянулись опричники в черных одеждах.

Они шли вместе с царем благодарить Бога за принесенное Малютой известие о виновности изгнанного митрополита — известие, которое больному воображению Иоанна казалось особою милостью Всевышнего к нему, недостойному рабу, псу смрадному, как он сам именовал себя в находивших на него припадках самоуничижения.

XXIII

Волк и волчица

Было уже далеко за полночь, когда Григорий Лукьянович вернулся в свои хоромы после прослушанной им вместе с царем и остальной «братиею» церковной службы. Все домашние его давно уже спали. Он прошел прямо в свою опочивальню особым ходом, выходящим в сад. Ключи как от этой двери, так и от дверей, соединявших эти горницы с остальными хоромами, были постоянно в его кармане.

Мы имели уже случай заметить, что после так печально окончившегося для него первого столкновения с Яковом Потаповичем он изменился в лице, похудел и почти постоянно находился в озлобленно-мрачном настроении. Козлом отпущения этого состояния его черной души были не только те несчастные, созданные по большей части им самим «изменники», в измышлении новых ужасных, леденящих кровь пыток для которых он находил забвение своей кровавой обиды, но и его домашние: жена, забитая, болезненная, преждевременно состарившаяся женщина, с кротким выражением сморщенного худенького лица, и младшая дочь, Марфа, похожая на мать, девушка лет двадцати, тоже с симпатичным, но некрасивым лицом, худая и бледная. Над этими безответными членами своего семейства срывал Малюта, почти без промежутков за последнее время, клокотавшую в его сердце злобу.

Старшая его дочь, Екатерина, о которой мы уже имели случай упоминать, была не из таковых, чтобы нападки отца оставлять без надлежащего отпора. Она была в полном смысле «его дочь». Похожая на Малюту и саженым ростом, за который он получил свое насмешливое прозвище, и лицом, и характером, она носила во внутреннем существе своем

те же качества бессердечного, злобного эгоиста, злодея и палача, как бы насмешкой судьбы облеченные в женское тело. Екатерине шел двадцать третий год.

Обе дочери, по понятиям того времени, принадлежали, таким образом, к «перестаркам», к «засидевшимся в девках».

Причину этого надо было искать не в отсутствии красивой внешности у обеих девушек, так как даже и в то отдаленное от нас время люди были людьми и богатое приданое в глазах многих женихов, державшихся мудрых пословиц «Была бы коза да золотые рога» и «С лица не воду пить», могла украсить всякое физическое безобразие, — дочери же Малюты были далеко не бесприданницы, — а главным образом в том внутреннем чувстве брезгливости, которое таили все окружающие любимца царя, Григория Лукьяновича, под наружным к нему уважением и подобострастием, как к «человеку случайному». Сделать же зятем Малюты, зятем палача, никому не представлялось привлекательным.

Умный Малюта хорошо понимал это и, по-своему любя свою семью, бессильно злобствовал на то, что собственными руками разрушил возможное ее благоденствие, но с избранного им пути не было поворота в сторону и годами упроченную репутацию нельзя было сбросить, как изношенное платье.

В самой основе причин того ада, который он сам делал из своего «семейного очага», лежала безграничная любовь к семье, выражавшаяся, по странному свойству дьявольски эгоистичного характера Григория Лукьяновича, в том, чтобы вымещать за причиняемые им же самим несчастья близких ему людей, несчастья, несказанно мучившие его и помочь в которых он сознавал себя бессильным, этим же близким людям, ежедневное столкновение с которыми растравляло раны его колоссального самолюбия.

Был еще пятый член семьи Григория Лукьяновича, самое имя которого произносилось в доме за последнее время не только слугами, но и семейными, только шепотом, — это был сын Малюты, Максим Григорьевич, восемнадцатилетний юноша, тихий и кроткий, весь в мать, как говорили слуги, а вместе с тем какой-то выродок из семьи и по внешним качествам: красивый, статный, с прямым, честным взглядом почти детски невинных глаз, разумный и степенный не по летам, и хотя служивший в опричниках, но сторонившийся от своих буйных сверстников.

Он был любимцем не только всей семьи, но и дворни. Любил его и отец, на него возлагал все свои самолюбивые надежды на продолжение рода Скуратовых, не нынче-завтра бояр — эта мечта не оставляла Малюту.

Царь любил Максима, часто по-детски дававшего ему прямые ответы, и жаловал его, и вдруг в одну прекрасную ночь Максим Григорьевич бежал из родительского дома и как в воду канул — пропал без вести.

Отцу он оставил «грамотку», в которой объяснял, что не может продолжать жить среди потоков крови неповинных, проливаемой рукой его отца, что «сын палача» — он не раз случайно подслушал такое прозвище — должен скрыться от людей, от мира. Он умолял далее отца смирить свою злобу, не подстрекать царя к новым убийствам, удовольствоваться нажитым уже добром и уйти от двора молиться.

«Прости твоего непокорного сына, но вечного за тебя богомольца», — так заканчивал Максим Григорьевич свою «грамотку».

— Мальчишка, молокосос! — прохрипел Малюта, окончив чтение этого письма. — Ишь, богомolec выискался, мои грехи пошел замаливать... Не замолить!.. А тебя я на дне морском сыщу, согну в бараний рог!..

Григорий Лукьянович разразился диким, злобным хохотом.

Надежды Григория Лукьяновича не сбылись: сын, как мы уже сказали, несмотря на все принятые со стороны Малюты меры, не был разыскан.

Носились слухи, что он нашел убежище у новгородского архиепископа Пимена, принес перед ним искреннюю душевную исповедь и тот скрыл его в одном из новгородских монастырей.

Монастыри были тщательно обысканы, но Максим не найден.

Несмотря на это, Малюта продолжал верить этим слухам и занес имя новгородского архипастыря в свою злобную память, — это отразилось на грядущих исторических событиях, что мы увидим впоследствии.

Розыски были прекращены, но потеря любимого сына, разрушившая все самолюбивые мечты Григория Лукьяновича, тяжелым гнетом легла на его душу и усугубила тяжесть воспоминания неотмщенной обиды, нанесенной ему дикой расправой с ним со стороны холопов Василия Прозоровского, во главе с княжеским подкидышем, Яковом Потаповым, тем более, что между этими событиями неожиданно появилась роковая связь.

Бегство Максима Григорьевича случилось вскоре после роковой ночи на 29 декабря, и Малюта, глубоко уязвленный в своем «отцовском» чувстве, сознавал себя почти бессильным против нанесенного ему, смываемого лишь кровью, оскорбления Якова Потапова, подозрение о происхождении которого закралось в его ум, утвердилось в нем и час от часу казалось ему правдоподобнее.

С ним случилось то же самое, что, по словам Карамзина, удерживало до поры до времени и повелителя Малюты, Иоанна, от казни князя Владимира Андреевича — «ужас обагрить руки кровью ближнего родственника».

Желание отмщения боролось в нем с этими подымавшимися из глубины его души нравственными затруднениями; наконец он сравнительно успокоился, измыслив план погубить ненавидящего его юношу — перед ним носился его взгляд, навеявший на него страшные воспоминания — иным, косвенным путем, не принимая в его гибели непосредственного участия: он решил воспользоваться его безумной любовью к княжне Евпраксии и, сгубив его, завладеть и ею, а потом подкопаться и под старого князя.

Об отношениях Якова Потаповича к княжне передала Малюте появившаяся в его доме Татьяна.

Хитрая цыганка заметила еще в рыбацком шалаше впечатление, произведенное ее красотой на «грозного опричника», и, живя в доме в качестве сенной девушки его старшей дочери, положительно околдовала его.

Сладострастный Малюта находил забвение от внутренних мук, терзаний его обособленного положения неудовлетворенной страсти к юной княжне Прозоровской под жгучими ласками дикарки.

Ослепленный и отуманенный любовью к ней же, Григорий Семенов не замечал ничего, тем более, что Григорий Лукьянович поручил ему неусыпное наблюдение за домом князя Василия, и усердный исполнитель воли своего господина и своей зазнобушки большую часть своего времени проводил в Москве, изредка, лишь для докладов, приезжая в слободу.

Не прошло и пяти минут после прихода Григория Лукьяновича, как в наружную дверь послышался осторожный троекратный стук.

Малюта, зажегший свечу и севший было на лавку, быстро встал и отпер дверь.

В горницу неслышными шагами проскользнула Татьяна Веденеевна.

— Заждалась я тебя ноне, касатик мой, Григорий Лукьянович! Измаялся ты совсем с этими проклятыми «изменниками»; вишь, в глухую ночь только домой вернулся! — начала она, сбросив с себя платок и присаживаясь на лавку рядом с Малютою.

— Государь молиться вздумал, ну, я и запозднился. Слышала, чай, благовест, кошечка моя черноглазая? — отвечал он, обвивая ее талию рукою.

— Слышала, как не слышать, — прижалась она к нему всем телом, — а все из-за кого и царь-батюшка себе покою не знает, и другим не даст? Все из-за них, из-за бояр-изменников!

— Так, так, девонька моя разумная! — наклонился к ее лицу Григорий Лукьянович.

Татьяна потянулась к нему губами, и он запечатлел на них тот омерзительный поцелуй, один звук которого коробит слух неиспорченного человека.

— Чем порадуешь меня, Григорий Лукьянович? Надьсь обещал подарить меня весточкой о близкой гибели моих и твоих врагов... — вкрадчивым шепотом начала она.

— Погодь, погодь маленько, моя ласточка, недолго ждать, завтра явится к князю Василию просить приюта и охраны молодой князь Владимир Воротынский, из себя красавец писаный, не устоять княжне против молодца, все по твоему сделается, как по писаному: и Яшка сгинет, и княжне несдобровать; а там и за старого пса примемся; на орехи и ему достанется...

Глаза Татьяны загорелись злобною радостью, и она, казалось, вся превратилась в слух.

— Тимошка не парень, а золото, все это дело мне оборудовал: достал и молодца; видел я его — ни дать ни взять княжеский сын: поступь, стан, очи ясные, — а может и на самом деле боярское отродье, кто его ведает! Сквозь бабье сердце влезет и вылезет — видать сейчас, а этого нам только и надобно... Довольна-ли мной, моя ясочка?..

— Уж так довольна, желанный мой, что зацелую тебя ноне до смерти...

Она обвила его руками за шею и впилась в его губы долгим поцелуем.

Бледный свет восковой свечи, одиноко горевшей на столе в противоположном углу горницы, не достигал разговаривавших, и глаза этих волка и волчицы в человеческом образе горели в полумраке зеленым огнем радостного предвкушения мести.

XXIV

Среди намеченных жертв

В то время, когда совершались рассказанные нами в предыдущих главах события, как исторические — свержение и осуждение митрополита Филиппа, так и интимные в жизни одного из главных лиц нашего повествования, выдающегося в те печальные времена, исторического, позорной памяти, деятеля, Малюты Скуратова, жизнь в доме Василия Прозоровского текла в своем обычном русле и на ее спокойной по виду поверхности не было не только бури, но и малейшей зыби или волнения.

Князю Василию через несколько дней после 28 декабря было доложено о бегстве Татьяны Веденеевой.

— С чего это она? — с недоумением спросил он ключника, зная, как привязана была его дочь

к цыганке и какое хорошее и вольготное житье было для нее в его доме.

— Да, бают, на дворне, князь-батюшка, что сбежала она к своему полубовнику, твоей же княжеской милости беглому холопу Григорию Семеновичу, что теперь в опричниках, не к ночи будь они помянуты, служить под началом Скуратова.

— Помню, помню, это что на балалайке играть мастак был?

— Он самый!

— Где же она-то теперь?

— У дочери Скуратова, бают, в сенных девушках. Прикажешь в холопий приказ написать о приводе?..

Князь Василий задумался, а ключник молчал, ожидая ответа.

— Нет, не замай; коли не любя ей ласка молодой княжны, с измальства сделавшей ее своей любимицей, так силой любить не заставишь, а с любовниками пусть ее на стороне якшается; теперь мне ее к дочери и подпускать зазорно...

— Я смекал, привести ее, наказать да и отправить к отцу с матерью... — почтительно заметил ключник.

— Какая нам из того корысть? Только по приказам волочиться. Она девка великовозрастная и оттуда сбежит, ей пути не заказаны, а может, Григорий и венцом прикроет грех-то свой... — ответил князь.

— Как прикажет твоя милость, князь-батюшка!

— Бог с ней! Да и княжна, кажись, о ней не очень кручинится, а Панкратьевна, чай, не нарадуется, не любила ее старая, да, вишь, недаром, значит, все называла непутевою... — улыбнулся князь.

— Старые-то глаза, бают, на три аршина сквозь землю видят! — вставил слово старый слуга.

— Уж подлинно видят, подлинно!..

Старик ключник передавал на самом деле слухи, циркулировавшие среди княжеской дворни о причине бегства Татьяны Веденеены, распущенные по поручению Якова Потаповича Тимофеем. Эти слухи были тем более правдоподобны, что все знали, что Григорий Семенович души не чаял в сбежавшей цыганке, а после возвращения из бегов чуть не ежедневно вертелся у княжеского двора, а некоторые из княжеских слуг, сохранившие дружескую приязнь с «опричником», знали даже и степень близости его отношений к сенной девушке молодой княжны, но по дружбе к нему помалкивали.

Князь Василий при свидании с дочерью не преминул спросить ее, не скучает ли она о беглянке.

Княжна вспыхнула.

— Насильно мил не будешь, а у меня и без нее их много, по твоей, родимый батюшка, милости. Маша теперь моя любимица, — отвечала она.

Князь приписал волнение дочери неприятному воспоминанию о черной неблагодарности сбежавшей.

— Конечно, не стоит она, мерзкая, чтобы об ней печалиться, — погладил он по головке

княжну.

Последняя крепко схватила его руку и стала покрывать ее порывистыми поцелуями. Князь Василий почувствовал, что на его руку скатилось несколько горячих слезинок.

— О чем плачешь, дурочка? Пойди, заставь себя повеселить свою новую любимицу и остальных девушек.

Княжна поспешила исполнить это приказание отца. Пробудь с ним еще минуту, она рассказала бы ему откровенно все о ночном приключении, позабыл внушенную ей Яковом Потаповичем через Машу мысль, что она эту откровенностью может подвести своего любимого отца под царскую опалу.

— Князь горд и горяч... Он не снесет этой роковой обиды, будет бить челом царю, чтобы тот выдал ему Малюту за бесчестие... А как взглянет царь? Ведь Малюта — его любимец. Кто победит в этой борьбе? А вдруг не князь... — так говорила Маша.

Повторяем, княжна позабыла было и это, так хотелось ей поделиться с родным человеком своими девичьими думами и опасениями.

Катастрофа на берегу Москвы-реки, испуг при неожиданном нападении, несмотря на кажущееся после этого ее спокойствие и прежний здоровый вид, не остались без последствий: она стала осторожна до пугливости, малейший шум заставлял ее бледнеть, малейшее волнение вызывало на глаза ее слезы. Несмотря на окружающих ее сенных девушек, несмотря на их шутки, смех, песни, несмотря на постоянное присутствие любимой няни и новой любимицы Маши, она сознавала себя одинокой, и это горькое сознание заставляло болезненно сжиматься ее сердце, в уме возникало какое-то безотчетное неопределенное стремление к чему-то или к кому-то. Резкие переходы в состоянии ее духа, переходы от шумной веселости к беспричинной грусти, унынию, доказывали напряженность до болезненности ее душевных струн.

Яков Потапович был прав: для нее наступила пора любви.

О сбежавшей Татьяне она задумывалась нередко; она не сожалела о ней, но зная о ее романе до бегства по намекам, а после бегства по рассказам сенных девушек, она, о, ужас! почти завидовала.

«Она ушла. Она находится с любимым человеком, с своим суженым; значит, ей там лучше — и слава Богу. А где-то мой суженый?» — восставал в ее голове вопрос, остававшийся обыкновенно без ответа.

За себя княжна Евпраксия давно простила Татьяну и других.

«Быть может, она и не виновата; она исполняла волю любимого человека; а разве можно не исполнить ее? — рассуждала она сама с собой. — И Малюта, этот страшный Малюта, начальник ее суженого, быть может, тоже не совсем виноват перед ней, княжной. Он, может быть, и на самом деле любит ее, а любовь извиняет все», — пронеслось в уме княжны.

О виновности Григория Семенова не могло быть, по мнению княжны, даже и речи: он исполнял приказание своего начальника..

Так всепрощающе отнеслась она к своим лиходеям.

Слух о перебежавшей к Малюте холопке князя Василия достиг до брата его, князя Никиты, и не на шутку обеспокоил его, тем более, что это происшествие почти совпало с явной переменой в отношениях к нему его друга, Григория Лукьяновича.

«Тут дело неладно. Что-нибудь да прознал он, что зверь-зверем на меня стал взглядывать. Кажись, до сей поры были мы с ним в дружестве... Не подвел бы какого кова, надо держать ухо востро!» — было первую мыслью эгоистичного князя Никиты, мыслью о себе.

Затем он уже подумал о племяннице и о брате.

«Не замышляет ли рыжий дьявол чего? Больно защемила ему сердце племянница... Везде эти бабы: как хвостом вильнут — так и собирай беды в лукошко... Подведет, неровен час, моего-то упрямого сидня под царский гнев...»

Он поехал к брату.

— Ты чего сидишь, глаз ко двору не кажешь? Смотри, досидишься до беды! Еще за сторонника Колычевых сочтут... — напустился он на князя Василия после взаимных приветствий.

Тот окинул его взглядом, в котором жалость мешалась почти с презрением.

— А ништо, пусть сочтут!.. Пошто мне и жить в такие времена, когда святых людей отдают на поругание извергам, на истерзание псам придорожным.

— Тсс... — боязливо стал оглядываться князь Никита. — Коли себя не жалеешь — пожалей меня, дочь... На нее и так Малюта зубы точит...

Князь Василий сделался бледен как полотно.

— Что?.. Малюта?.. На мою дочь?.. Говори, что знаешь, все говори!.. — вскочил он, схватил сильной рукой брата за ворот парадного кафтана и стал трясти.

Князь Никита весь съежился с перепугу.

— Чего ты сумасшествуешь? Я же ему в предупреждение молвил, а он душить бросается! — произнес он.

Князь Василий опомнился, выпустил кафтан брата и в изнеможении опустился на лавку.

— Говори!..

Князь Никита вкратце рассказал брату о намеках, сделанных ему Малютой по поводу княжны Евпраксии, и возможности со стороны князя Василия согласия на брак ее с ним, Малютой.

Князь Василий сидел, задыхаясь от волнения. Лицо его то наливалось кровью, то мертвенно бледнело, и когда брат кончил, он истерически захохотал.

— Малюта!.. в зятя ко мне собирается!.. Не ожидал!.. Душегубец, палач!.. Женоубийцей, видимо, стать хочет, а потом и венчаться с моей дочерью?.. А ты-то что слушал негодяя и в рожу подлую не харкнул? Побоялся, за шкуру свою побоялся?.. Ай да князь Прозоровский!.. Ты не захотел идти к царю бить челом на татарского выродка за бесчестие твоей племянницы, так я пойду поклонюсь царю-батюшке!.. Правильно говоришь ты, засиделся я, досиделся до бесчестия всему роду нашему княжескому!.. Сейчас поеду к царю!..

Князь Василий встал.

— Что ты, что ты, шалый, затевать хочешь? — вскочил в свою очередь перепуганный князь Никита. — Ведь он мне обиняком говорил, под видом шутки, а тебе я, как брату, сказал в предупреждение... С чего же кашу заваривать? Неровен час, сами не расхлебаем... Пожалей, повторяю, меня, дочь... Силен он, татарский выродок...

Князь Василий зашатался. Брат поддержал его и усадил на скамью.

— Шутки ради, говоришь? — начал первый, все еще еле переводя дух от волнения. — Да как же он шутить этим смеет, пес смердящий?

— Мало ли что шутится в дружеской беседе? — заметил было второй.

Брат снова прервал его горьким хохотом.

— В дружеской беседе!.. Малюта... и князь Прозоровский!.. Ха-ха-ха!.. Ну, времена!.. Я и забыл, что вы с ним друзья закадычные, что ты и меня подвел с ним хлеб-соль водить!.. Будь проклят тот день, когда показал я ему свое сокровище!..

Князь Василий облокотился на стол и уронил на руки свою седую голову.

Князь Никита молчал. Он знал характер брата и дал ему успокоиться.

Так и произошло: гнев князя Василия прошел, он поднял голову и при виде испуганного насмерть лица брата даже слегка улыбнулся.

— Успокойся, я разгорячился. Сам понимаю, что не придет же Малюте, старому псу, всерьез в голову от живой жены с ребенком венчаться!.. Только вдругорядь ты мне этих шуток не болтай, я этого не люблю!..

Князь Никита постарался еще более успокоить брата и уже не решился высказать ему свое предположение, что Малюта переманил Татьяну, замыслив похищение княжны Евпраксии. Да он и сам отбросил это подозрение, когда князь Василий рассказал ему причину бегства Татьяны, слышанную им от ключника.

Беседа братьев приняла дружеский характер, и князь Василий даже обещал брату при прощании побывать вскоре в Александровской слободе.

После отъезда брата он призвал к себе Панкратьевну и долго беседовал с нею в своей опочивальне.

О чем говорили они — осталось тайною, только старая нянька стала после этого дня еще зорче глядеть за молодой княжной и еще подозрительнее на сенных девушек.

В общем, течение жизни князя Василия ничем особенно не нарушалось.

Один Яков Потапович яснее всех понимал всю опасность положения. Он угадывал, что князь Василий, княжна и он сам — намеченные жертвы, что тучи сгустились над их головами, что надо ожидать грозы.

И он не ошибся: гроза разразилась.

Часть вторая

Выходец с того света

I

Отъезд в дальнюю вотчину

Время шло своим обычным чередом. Наступил август месяц 1568 года.

Последний разговор с братом не мог не оставить в уме князя Василий Прозоровского некоторого впечатления.

Несмотря на уверение князя Никиты, что намек на возможность сватовства со стороны Малюты за княжну Евпраксию был ни более, ни менее как шуткою в дружеской беседе, несмотря на то, что сам князь Василий был почти убежден, что такая блажь не может серьезно запасть в голову «высочки-опричника», что должен же тот понимать то неизмеримое расстояние, которое существует между ним и дочерью князя Прозоровского, понимать, наконец, что он, князь Василий, скорее собственными руками задушит свою дочь, чем отдаст ее в жены «царского палача», — никем иным не представлялся князю Григорий Лукьянович, — несмотря, повторяем, на все это, он решился, хотя временно, удалиться из Москвы, подальше и от сластолюбца-царя и от его сподвижников, бесшабашных сорванцов, увезти свое ненаглядное детище.

Разыгравшиеся за последнее время в самой Москве, чуть не на глазах князя Василия, сцены безобразных, не поддающихся описанию насилий побудили его скорее привести в исполнение этот план.

Вот как описывает Карамзин, со слов очевидцев, одно из подобных гнусных насилий, совершенных в Москве царем и его клеветами.

«В июле месяце 1568 года, в полночь, любимцы Иоанновы, князь Афанасий Вяземский, Малюта Скуратов, Василий Грязной, с царскою дружиною, вломились в дома ко многим знатым людям, дьякам и купцам, взяли их жен, известных красотою, и вывезли из города. Вслед за ними, по восхождении солнца, выехал и сам Иоанн, окруженный тысячами кромешников. На первом ночлеге ему представили жен; он избрал некоторых для себя, других уступил любимцам, ездил с ними вокруг Москвы, жег усадьбы бояр опальных, казнил их верных слуг, даже истреблял скот, — особенно в коломенских селах убитого конюшенного Федорова, — возвратился в Москву и велел ночью развезти жен по домам. Некоторые из них умерли от стыда и горести».

Волосы положительно вставали дыбом у князя Василия при одной мысли, что и с его чистой девочкой может случиться что-либо подобное, и он наконец решился поехать в Александровскую слободу бить челом царю о дозволении временно отъехать в свою дальнюю вотчину, для поправления здоровья и по хозяйственным надобностям.

По счастью для князя, царь в день его приезда в слободу — со времени последней беседы с братом князь Василий был уже там несколько раз — находился в редком за последнее время веселом и спокойном расположении духа.

После трапезы, к которой был приглашен и приезжий московский гость, царь начал шутить с своими любимцами, приказывая то и дело наполнять их чаши, как и чашу князя Василия, дорогим фряжским вином.

Последний улучил момент и высказал царю свою просьбу.

Иоанн окинул его подозрительным взглядом.

— Чего это вдруг в деревню отъезжать вздумал? — лето уже на исходе...

— Здоровьем слаб стал, великий государь, а здесь никак не выхожусь; хотел месяц-другой на

вольном воздухе отдохнуть, отдышусь, авось слугой буду настоящим твоей царской милости, а не недужным захребетником... Опять же лет пять как я в этой вотчине не был и что там без хозяйского глаза делается — не ведаю...

Царь продолжал пристально смотреть на говорившего.

Все кругом молчали, ожидая бури.

На выручку брату подоспел князь Никита.

— Не слушай его, великий государь, — смеясь прервал он князя Василия, — не недуг и не хозяйство тянет его к нашей вотчине... Едет он туда повидаться с своими дружками закадычными...

— С какими такими? — вскрикнул Иоанн, и в голосе его прозвучали гневные ноты.

Все кругом стихло еще более; казалось, можно было услышать полет мухи. Один князь Никита не потерялся под гневным взглядом царя.

— С мишуками косолапыми да с серыми волками, государь великий, — их в лесах нашей вотчины видимо-невидимо, — а братца моего хлебом не корми, а дай за ними вдосталь погоняться...

Гнев исчез из очей Иоанна и лицо его даже осветилось улыбкой. Сам охотник в душе, он не мог не сочувствовать этому желанию поохотиться на медведей и потравить волков.

Почти у каждого из присутствующих вырвался из груди облегченный вздох.

Один Малюта, на лице которого заиграла было чуть заметная радостная улыбка тожества, стал снова мрачнее тучи и бросил искоса на своего друга, князя Никиту, злобный взгляд.

Одновременно с этим взглядом на князя был устремлен другой — взгляд его брата, князя Василия, полный благодарности.

— Охотник разве? — вскинул царь на него уже снова ласковый взгляд.

— Грешен, великий государь, люблю за зверьем погоняться...

— Что-ж, исполать тебе, поезжай, разомни кости, время теперь для свиданья с этими дружками твоими самое подходящее: снежком посыплет — по первой пороше; жалую тебя парой борзых из моей своры, трави на наше счастье, а там пошлю тебя травить и воров наших, татар да литовцев...

Князь Василий встал, поклонился в пояс Иоанну и был допущен им к целованию своей руки.

— Один отъезжаешь, или с домашними?

— С дочерью, великий государь, да с приемышем... — отвечал князь.

— Долго только не засиживайся, пожалей моих молодцов; сохнут они у меня по твоей дочери, а ты и мне ее еще ни разу не показал; понаслышке лишь знаю, что красавица писаная. Чего хоронишь? Жениха подыскивай, на свадьбу меня зови; сам, чай, знаешь, девка — что квашня: перестоится — закиснет...

Князь Василий снова поклонился царю в пояс.

— Благодарствуй на заботе и чести, великий государь, молода еще она у меня, дитяtko несмышленное, в мать покойницу вышла, по дородству поздняя...

— Исполать и ей, пусть и себе тельце на вольном воздухе нагуляет: ей на красу — мужу на сладость... — заметил Иоанн...

Беседа приняла другое направление. Заговорили о победах над литовцами, известия о которых были получены от боярина Морозова и князя Ногтева, о письмах из Тавриды Афанасия Нагого, жившего послом при Девлет-Гирее.

Вскоре царь удалился на покой, приказав опричникам продолжать пир в честь отъезжающего князя Василия Прозоровского.

Пир продолжался. В отсутствие царя более свободные беседы завязались там и сям за обширным столом роскошной царской столовой хранины.

С облегченным сердцем, почти радостный выехал на другой день князь Василий, простившись с братом, в Москву. За ним, на особой телеге, в деревянной клетке, везли двух великолепных борзых собак — царский подарок.

Тотчас по приезде начались сборы, окончившиеся в неделю, и князь Василий в десяти повозках выехал из Москвы с дочерью, Яковом Потаповичем, нянькой Панкратьевной, сенными девушками молодой княжны и избранною дворнею. В число последних попали и знакомые нам Никитич и его сын Тимофей.

Этому громадному поезду лежал далекий путь. Вотчина, куда отъезжал князь Василий Прозоровский, лежала в Новгородской Шелонской Пятине, на берегу быстрого Волхова, и была окружена в то время дремучими лесами, в которых на самом деле водилось в изобилии всякое зверье: медведи, волки, лисицы... Для охотника местность эта представляла роскошное приволье, а князь Никита не преувеличивал, говоря царю о страсти брата гоняться за зверьем. Князь Василий был на самом деле завзятый охотник, как и все вельможные бояре того времени, в особенности посвятившие себя ратному делу и находившие в этой кровавой и в те времена сопряженной с большим риском забаве некоторое сходство с ним. Волков травили собаками и прирезывали ножом; на медведей часто ходили с одной рогатиной.

Бесстрашие, бесшабашная отвага, безграничное ухарство и любовь к сильным ощущениям всасывались с молоком матери русскими людьми того времени.

Когда поезд миновал столицу и лошади поскакали более крупной рысью, князь Василий, ехавший в первой повозке, вздохнул свободно и истово перекрестился.

То же самое сделали и его спутники: Яков Потапович и другой молодой человек, также скромно одетый в черный суконный кафтан и такую же шапку. Великолепные кудри темно-каштановых волос выбивались из-под шапки и обрамляли красивое лицо последнего с правильными чертами; нежные пушистые усы и такая же небольшая бородка оттеняли цвет его молодого, дышащего здоровьем лица, к которому всецело подходило народное определение «кровь с молоком». Его красивые темно-синие глаза имели один недостаток — они не глядели прямо на собеседника; обладатель их старался в разговоре опускать веки, прикрывая выражение глаз густыми длинными ресницами, что для недальновидного наблюдателя могло быть принято за признак скромности молодого красавца.

Юноше на вид казалось лет восемнадцать, хотя на самом деле ему шел двадцать второй год. Так, по крайней мере, он определил свой возраст.

Явившись несколько месяцев тому назад в московские хоромы князя Василия, он велел доложить о себе князю, назвав себя Воротынским, и просил секретного свидания; когда же был введен в княжескую опочивальню, то упал к его ногам.

— Ты — Воротынский? — поднял его князь, оглядывая с головы до ног.

Явившийся был одет почти в лохмотья, а на ногах были лапти, истрепанные, видимо, от долгой ходьбы.

— Да, я князь Владимир Воротынский, пришел к тебе, князь Василий, как к остатному вельможному боярину православному, просить крова и охраны...

— Сын князя Михаила? — спросил князь Василий.

— Нет, его брата, князя Никиты, казненного по проискам Малюты, оклеветавшего моего несчастного отца перед царем в сношении с князем Курбским, искавшего умертвить и меня...

— Чем ты докажешь это? Я знал князя Никиту, знал, что у него был сын подросток, быть может и видел его, но не запомнил его лица — и ты ли он — не ведаю...

— Вот перстень... Быть может, узнаешь его, князь... Это твой подарок моему отцу... Когда отец мой, спасая себя от царского гнева, уехал из столицы и нашел себе приют в Тверском Отрочьем монастыре, он взял меня с собою... Но и там его настигла дьявольская злоба царского палача: он открыл наше убежище и, по повелению царя, в монастырь явились опричники, требуя его выдачи... Покойный батюшка мой, не желая накликать царский гнев на монастырскую братию, решился выйти к кромешникам из потайной кельи; но перед этим решительным шагом передал мне этот перстень со словами: «Если ты, сын мой, останешься без крова, пойди к князю Василию Прозоровскому и покажи ему этот перстень — его подарок мне в лучшие годы нашей молодости; он добр и великодушен и не даст погибнуть сыну своего друга...»

Василий Воротынский подал князю Василию массивный золотой перстень с роскошным изумрудом.

Последний дрожащими от волнения руками схватил перстень. Он узнал его, и ему припомнилось все давно минувшее. Князь Никита Воротынский, о судьбе которого он, бывши в походах, почти не знал ничего, был действительно друг и товарищ его детства и юности. Затем оба они поступили в ратную службу и бок о бок бились под Казанью с татарами и крымским ханом. Князь Никита Воротынский был дружкой на свадьбе князя Василия и покойной княгини Анастасии.

Все это мгновенно промелькнуло в уме князя Прозоровского, и горькие слезы ручьем полились из его глаз.

Он открыл молодому человеку свои объятия.

— Приди на мою грудь, сын моего лучшего друга, я заменю тебе отца и постараюсь не дать тебя в обиду... Ты знаешь сам, какие тяжелые времена переживаем мы. Я бессилён спасти тебя, если о твоём существовании узнают вороги, но постараюсь скрыть тебя от них в моем доме; слуги мои верны мне и не выдадут меня... Но что же сделали изверги с отцом твоим?

— Его изрубили тут же, на монастырском дворе, и отдали на съедение псам... — с горечью произнес Владимир и зарыдал...

Князь Василий молчал, дав выплакаться на своей груди сыну своего дорогого, погибшего такую бесславною смертью друга.

— Я бежал в Литву, — продолжал тот, удерживая слезы. — Ты, князь, воевал в то время на границе, но я не нашел тебя, заболел, питался подаянием, бродил по лесам, ночуя, где Бог приведет, и наконец после многих злоключений добрался до Москвы и вот у тебя... молю о крове и охране...

Он снова опустился на колени.

Князь Василий поднял его, усадил на лавку и велел позвать к себе Якова Потаповича.

Тот не замедлил явиться.

Князь рассказал ему грустную повесть жизни его дорогого гостя и поручил Владимира Воротынского его попечению.

— Отводить ему в доме отдельную горницу — опасно; возьми его к себе в сожители и тебе будет веселей с товарищем.

Яков Потапович с неподдельным удовольствием согласился исполнить волю своего благодетеля. Ему самому сразу пришелся по душе новый знакомец, а несчастья, постигшие последнего, растрогали его до глубины души.

— Этот молодец у меня тоже вместо сына... Так будьте же братьями! — обратился князь Василий к Воротынскому, указывая на Якова Потаповича.

Владимир метнул на него быстрый взгляд, но тотчас же опустил очи долу и искренне облобызался с новым товарищем.

Вскоре молодые люди сделались друзьями. Неразговорчивость, любовь к уединению и некоторые другие странности в характере Владимира Яков Потапович объяснил испытанными им несчастьями.

Он-то и был третьим, незнакомым нам до сих пор лицом, сидевшим в первой повозке длинного княжеского поезда вместе с самим князем и Яковом Потаповичем.

Следом за княжескими повозками, на значительном расстоянии, всю дорогу, до самой вотчины, ехал на телеге какой-то неизвестный чумазый мужичонка.

II

Спаситель

Громадные хоромы в княжеской усадьбе, несколько лет уже заколоченные наглухо, ожили перед приездом князя Василия, известить о каковом приезде послан был заранее гонец.

Все было приготовлено для встречи вотчинника, и жизнь с первого же дня приезда пошла своей обыденной колеей, как шла и в московских хоромах.

Княжна Евпраксия с Панкратьевной и сенными девушками целые дни проводила в тенистом саду, под сенью вековых дубов, раскидистых елей и сосен.

Князь Василий с Яковом Потаповичем и Воротынским тоже почти все дни проводили в лесу и в поле.

Владимир, в противоположность Якову Потаповичу, не любившему охоты, оказался страстным охотником, и тем еще более понравился князю Василию, который и так, ближе сойдясь с молодым человеком, не мог нахвалиться им, восторгался его умом, выдержкой, высказываемыми им взглядами на жизнь вообще, а не переживаемое время в особенности; более же всего старому князю нравились его скромность, неиспорченность.

— Просто из всех он нынешних, кроме тебя, выродок, совсем красная девушка, — сообщил он свои впечатления Якову Потаповичу.

Последний, тоже искренне привязанный к Воротынскому, вполне соглашался с своим благодетелем.

В голову князя Василия стала даже западать мысль о возможности брака княжны Евпраксии с сыном его старого друга, отличавшимся такими выдающимися для того времени нравственными качествами.

«Что же, что опальный, не век ему опальным быть... Да и чем виноват он, если даже, по-ихнему, виноват был князь Никита? Тем только, что он его сын?.. Но ведь это нелепость!.. Можно выбрать время, когда царь весел, и замолвить слово за несчастного. Надо будет попросить брата, тот на это мастер, — меня мигом тогда перед государем оправил и его царскую милость рассмешил...» — рассуждал порою мысленно князь Василий.

Время между тем летело незаметно.

Наступил конец сентября. Зима в тот год встала ранняя, поля и леса покрылись снегом, наступила пора травли зверей.

Князь Василий назначил большую охоту.

С ним выехало человек пятьдесят загонщиков и до сотни собак. Лес огласился звуками, представляющими для истого охотника самую чудную мелодию.

Часы летели быстро, и день клонился к вечеру.

Князь приказал забросить гончих еще на один остров и туда же послал загонщиков, а сам с остальными людьми и Владимиром Воротынским разместился на опушке леса, в недалеком расстоянии друг от друга.

Начался гон. Собаки заливались на разные голоса, и сладкая для охотников какофония заставляла замирать их сердца.

Князь и другие охотники, оправившись в седлах, стали зорко и внимательно вглядываться в чащу.

Бывший при князе Василии стремянной, знакомый нам Тимофей, сдерживал двух отличных борзых собак, тех самых, которыми пожаловал князя перед его отъездом царь Иоанн Васильевич.

Голоса гончих были как-то особенно пронзительно громки: слышно было, что они гонят по большому зверю. Слышно также, что они приближались к тому месту, где стояли князь и недалеко от него — Воротынский, но немного далее от них слышался тоже лай, направлявшийся в другую сторону, видимо, собаки, попавши на след двух зверей, разделились.

Действительно, вскоре на полянке, довольно далеко от князя, появился громадный волк. Охотники попускали собак и понеслись за зверем в сторону, противоположную той, где стояли князь Василий и Воротынский.

Последние ожидали другого зверя, так как лай собак продолжался.

Им не пришлось ожидать долго. На опушку леса, как раз между охотниками, выскочил другой, тоже матерый волк и понесся в поле.

— Ату его! Ату! — крикнул князь Василий и вместе с своим стремянным, спустившим собак, бешено поскакал вдогонку. Не отставал от князя и Владимир.

Волк был опытен и силен. Несмотря на резвость собак, он держался от них на довольно значительном расстоянии и уже был почти у опушки другого леса, когда им удалось нагнать его. Они бежали рядом с ним, выжидая случая напасть на утомившегося зверя, который свирепо огрызался и щелкал крепкими зубами.

С полчаса уже продолжалась травля и бешеная скачка. Отличные кони под князем Василием и Воротынским почти равнялись с собаками, а охотники и голосом, и движением ободряли их.

Тимофей не мог поспеть за ними; к довершению всего, его лошадь споткнулась и он полетел через ее голову и ушибся так сильно, что остался несколько времени лежать недвижимо, а лошадь, почуяв свободу, помчалась одна по полю, в сторону от направления травли.

Травля между тем продолжалась, и через несколько минут одной из борзых удалось схватить волка за ухо. Она тотчас упала и увлекла за собой зверя. Другая собака схватила его за горло, и началась отчаянная борьба.

Князь и Воротынский соскочили с коней, выхватили ножи, и через пять минут волк был уже мертв.

— Ага, попался, дружок! — радостно воскликнул князь Василий. — Да какой громадный! Ну, и измучил же он нас!.. А где же Тимофей? Видно, отстал на своем буланом. Помоги уж ты мне, Владимир Никитич, заторочить в седло эту махину.

Молодой человек с ловкостью опытного охотника исполнил это дело.

Князь даже залюбовался на быстроту его рук.

Охотники, торжествуя победу, легкой рысцей отправились назад. Утомленные бегом и борьбой с волком, собаки, высунув языки и тяжело дыша, бежали за ними.

Конь под князем Василием все поводил ушами и похрапывал, чуя на своей спине непривычную тяжесть и зверя.

Когда князь Василий и Владимир подъехали к тому месту, откуда начали травлю, уже начало смеркаться; никого из других охотников они там не нашли, но по доносившимся издали голосам было слышно, что все они продолжали еще травлю другого зверя.

Князь первый соскочил с седла и привязал своего коня к дереву; его примеру последовал и Воротынский.

— Надо трубить сбор, — заметил князь Василий, чего они там запропалились...

Он было взялся за рог, но в этот же момент из чащи леса, как стрела, выскочил какой-то оборванец с длинным ножом и дубиной и бросился на князя Василия.

Тот стоял к злоумышленнику вполоборота и был бы, ввиду неожиданного нападения, или сильно ранен, или убит, если бы между ним и оборванцем не бросился Владимир.

Удар ножа, предназначенный для князя, обратился на отважного юношу, но, к счастью для него, скользнул по правому боку и, видимо, не особенно глубоко.

Кровь хлынула из раны, но Владимир не потерялся и бросился на убийцу. Тот, увидя, что промахнулся ножом, ловко взмахнул дубиной и ударил Владимира по ногам.

Последний упал, сильно ударившись головой о толстый корень дерева, а неизвестный с быстротой молнии скрылся в чаще леса.

Все это произошло так неожиданно быстро, что князь Василий опомнился лишь тогда, когда Воротынский лежал у его ног, облитый кровью, недвижимый.

Он громко стал трубить в охотничий рог.

На призывные звуки начали собираться княжеские люди, и когда, по приказанию князя, подняли лежавшего, то оказалось, что кроме раны в правом боку, у него вывихнута левая нога и прошиблена голова.

Сделав наскоро носилки из свежих ветвей, его бережно положили на них и понесли в усадьбу, где и сдали с рук на руки Панкратьевне, заменявшей, как мы знаем, в княжеском доме домашнего доктора и бывшей чрезвычайно искусным костоправом.

Получив на свои руки пациента, она с ловкостью и знанием дела принялась за лечение его. Осмотрев вывих и раны, она живо вправила вывихнутую ногу, а к ранам приложила какую-то, собственного изобретения, примочку.

Яков Потапович хотел было помочь ей своими медицинскими знаниями, но Панкратьевна даже не допустила его к доверенному ей больному и, по обыкновению, заворчала.

— Не мужское, батюшка, совсем дело; хошь скажи князю и лечи сам один, а себя учить я не дозволю, — стара, молодчик.

Яков, сам глубоко веря в знания и опытность старухи, не стал вступать с ней в препирательства и настаивать, а удалился, пожелав ей успеха.

— Так-то лучше, — продолжала ворчать ему вслед Панкратьевна, — а то с вашей бусурманской наукой как раз на тот свет отправите, не хуже покойной княгинюшки, царство ей небесное.

Отбоярившись, таким образом, от непрошеного помощника, она осталась господином вверенного ей дела.

Раненый был помещен в горницу недалеко от тех, в которых помещалась молодая княжна с своими девушками, чтобы Панкратьевне не было надобности отлучаться далеко от своего пациента.

Она, впрочем, и так проводила около него дни и ночи.

— Ну, что, как, Панкратьевна? — спрашивал ежедневно навещавший больного князь Василий.

Он сильно тревожился за исход поранений молодого человека, так великодушно отплатившего ему за гостеприимство, спасшего ему жизнь, рискуя своей собственной.

«Чем я отплату ему за такую неоценимую услугу? Разве только тем, что вверю ему счастье своей дочери! — думал благодарный старик. — Только бы он остался жив!»

От этого-то в его ежедневных вопросах Панкратьевне звучала неподдельная тревога.

— Господь милостив, — отвечала старуха, — нога-то ничего, вправилась, кость цела, а вот раны-то не больно добры...

— А что?

— Не миновать, думаю я, ему огненной немочи...[10]

— Панкратьевна, помоги ему, спаси его, я осыплю тебя своею милостью, — взволнованно

говорил князь.

— И что ты, батюшка-князь, я и без всякой корысти рада стараться для твоей милости; все, что смогу, сделаю, авось Господь милосердный на ноги поставит нашего молодчика. Уже и молодчина же он из себя: лицом красавец писанный, тело белое, как кипень, сложенье, что твой богатырь... Видно сейчас, что не простого рода...

— Он сын моего лучшего покойного друга — князя Никиты Воротынского, — сознался старухе князь.

— Уж я догадывалась, что рода он высокого: тельник на нем литого золота... Вот бы, князь-батюшка, женишок-то для молодой княжны!.. Была бы, неча сказать, не парочка, а загляденье!..

Князь не ответил ничего на это замечание старухи, высказавшей вслух и его задушевную мысль, но она поняла, что князю высказанный ею план далеко не противен.

Такие и подобные разговоры князя Василия с Панкратьевной происходили обыкновенно рядом с горницей, где лежал больной, — в последнюю князь не входил, боясь его беспокоить.

С молодым человеком действительно сделалась горячка, — следствие ушиба и поранений. Он лежал в сильном бреде, говорил бессвязные речи и его больному воображению представлялись дикие, страшные картины, сменявшиеся лишь по временам чудными видениями. Ему казалось, что он лежит на кровати в какой-то светлой комнате и к нему попеременно подходит то сморщенная худая старуха, то прелестная молодая девушка с тихой улыбкой на розовых губах. Она наклоняется к нему, касается его головы своею мягкою, белоснежною ручкою. От этого прикосновения он чувствует приятную теплоту, разливающуюся по всему телу, и сладкий до истомы нервный трепет. Молодая девушка что-то шепчет старухе, та грозит на нее пальцем, который больному кажется страшным когтем необыкновенного зверя.

Дивные видения сменяются снова тягостным кошмаром.

Усилия Панкратьевны, приложившей все свои старания, не были напрасны, и в болезни Воротынского наступил перелом. С утра жар сделался больше, больной страшно метался, но к вечеру ему сделалось лучше, он успокоился и заснул.

Первый, сравнительно здоровый, сон, как это бывает обыкновенно, не подкрепил, а наоборот, ослабил больного. Он проснулся в страшном поту, но голова его была свежее. Он с трудом поднял отяжелевшие веки, открыл глаза и удивленным взглядом окинул незнакомую ему комнату.

«Где я, и что со мной произошло?» — было первою его мыслью.

В комнате, кроме сморщенной старухи, которую, как он припомнил, он видел в бреде, приготавливавшей какое-то питье, никого не было.

Он искал глазами ее, другую.

Разочарованный, он снова закрыл глаза и заснул.

То, чего искал он наяву, явилось в этом, уже более спокойном и здоровом сне. Снова к его изголовью подошла виденная им в бреде прелестная девушка, наклонилась близко к его лицу, и он почувствовал на своих губах нежный поцелуй.

Когда он проснулся, то в комнате была снова одна старуха. Она подошла к нему и молча

начала переменять примочки на его голове.

Прошло еще несколько дней, и здоровье Владимира Никитича стало совсем поправляться, но Панкратьевна не переставала неустанно ухаживать за ним.

Князь Василий и Яков Потапович по несколько раз в день заходили навестить его; без них же он развлекался беседой с Панкратьевной и старался вывести от нее сторону, не был ли кто-нибудь, кроме нее, в этой комнате во время его болезни, но ничего на добился от скрытной старухи, уверявшей его, что, вероятно, ему что-нибудь померещилось, как это бывает обыкновенно во время подобных болезней.

Это объяснение не удовлетворяло его. Поцелуй являвшейся ему во сне молодой девушки горел до сих пор на его губах.

Прошла еще неделя, и Воротынский, к великой радости князя Василия, окончательно стал на ноги.

Последний горячо поздравил его с выздоровлением и поблагодарил его за спасение своей жизни.

— Век не забуду я тебе этого, князь! — растроганным голосом произнес князь Василий, последний раз заключая молодого человека в свои объятия.

— За что ты, князь, благодаришь меня? Я исполнил лишь то, что сделал бы каждый на моем месте, даже тот, кто не обязан тебе столько, сколько я, бездомный скиталец! — скромно заметил Владимир.

Князь Василий еще с большею любовью поглядел на него. Скромность юноши пришлась ему по душе.

— А негодяй не пойман? — спросил с дрожью в голосе Воротынский.

— Где поймать, улизнул!.. Да не до того и было: тебя подняли чуть не мертвого, — исполать Панкратьевне, что выправила, опять молодцом стал, хоть сейчас под венец веди, — улыбнулся князь доброю улыбкою.

Снова потекла для Владимира прежняя жизнь в обществе князя Василия и Якова Потаповича, снова начались прогулки и охоты.

Из головы Воротынского ни на минуту не выходила мысль о виденном им во время болезни чудном видении. Он не мог согласиться с Панкратьевной, что это была игра его больного воображения, как и другие являвшиеся ему в бреду призраки. Для этого оно было слишком реально.

«Ужели это и есть его дочь?» — не раз задавал он себе вопрос.

Он, несмотря на довольно долгое пребывание в доме князя, несмотря на сделанную с его семейством дальнюю дорогу, еще ни разу не видал княжны Евпраксии. По обычаям того времени, женщин и девушек знатных родов ревниво охраняли от взоров посторонних мужчин, и они появлялись лишь, как мы видели, во время установленных тем же обычаем некоторых обрядов приема гостей, для оказания последним вящего почета.

Тогда они появлялись без «фаты», — так называлось покрывало, скрывавшее миловидное девичье, а зачастую и состарившееся некрасивое женское лицо.

Княжна не любила «фаты», но в дороге Панкратьевна насильно заставила ее постоянно находиться окутанной ею, и добрая княжна, не желая сердить старуху, подчинилась ее

настоянию.

В усадьбе для княжны и ее девушек было совершенно отдельное помещение, и для их игр и забав была обнесена высоким тыном значительная часть роскошного княжеского сада, которая была положительно недоступна для взоров посторонних, вследствие непроницаемости ограды.

В Москве, за последнее время, испуганная святочным приключением, княжна почти не выходила из своих горниц.

Намеченные самим князем Василием «жених и невеста», таким образом, еще ни разу не встречались.

III

Некоторое объяснение чудесного бреда

Владимир Воротынский не ошибся, чудная девушка, находившаяся во время болезни у его постели, была далеко не созданием горячего воображения больного, а живым существом, — это была дочь князя Василия.

Молодая девушка ухаживала за больным, заменяя около него сиделку, и в ее частых, тревожных вопросах Панкратьевне слышались уже ноты не одного сострадания к ближнему.

— Панкратьевна, кажется, его глаза смотрят лучше вчерашнего и жар меньше. Он будет жив... Ему лучше... Он спасен... Я это вижу...

И с краской на лице, с трепетно задерживаемым дыханием высказывала она свои соображения и задавала вопросы своей старушке-няне.

Последняя не ворчала на нее за них, не стыдила за излишнее беспокойство о незнакомом мужчине, а, напротив, старалась успокоить ее.

Это происходило оттого, что Панкратьевна, особенно после разговора с князем Василием, открывшим ей тайну, кто был порученный ее попечению раненый, настойчиво решила в своем уме, что он и есть суженый княжны Евпраксии, которого и конем не объедешь, а потому отнеслась благосклонно к замеченному ею нежному чувству, зародившемуся в ее питомице к князю Владимиру Воротынскому.

«И князь-батюшка далеко не прочь от этой свадьбы. Ни словечка не молвил мне на мою глупую речь, а только взглянул на меня таково ласково, — рассуждала сама с собою старушка, припоминая свой разговор с князем Василием. — Да и чем может он отблагодарить его, соколика ясного, живота своего для него не пожалевшего, грудью ставшего против ворога, как не отдавши ему дочь-красавицу, как не сделавшись отцом ему, сиротинушке?»

Мысль о том, полюбит ли этот юноша княжну — не приходила и в голову Панкратьевне.

Да и как не полюбить молодцу такую раскрасавицу, царевну сказочную, о которой ни в сказке рассказать, ни пером написать невозможно?!

Любовь княжны, при покровительственном отношении к ней со стороны Панкратьевны, росла не по дням, а по часам, и ко дню окончательного выздоровления Владимира выросла в совершенно окрепшее чувство.

Кто был тот, кого она любила — княжна не знала. Панкратьевна не сказала ей того, что случайно узнала от ее отца, да княжна Евпраксия и не интересовалась биографией любимого человека. Она любила его, а кто он — ей не было до этого дела.

С того момента, как больной пришел в себя и для него начался период выздоровления, княжна принуждена была удалиться, но мысленно она не расставалась с ним.

Перенесемся и мы, читатель, на женскую половину княжеской усадьбы, где она сидела, окруженная своими сенными девушками.

Они были заняты вышиванием жемчугом парчовой пелены, предназначенной в дар московскому Новодевичьему монастырю, в ограде которого была похоронена покойная княгиня Анастасия.

В светлице было совершенно тихо. Княжна и ее помощницы работали прилежно и молча.

— О чем ты так задумалась, княжна? — первая прервала молчание знакомая нам Марья Ивановна, сидевшая рядом с своей госпожой.

— Кто, я? Я ничего! — рассеянно отвечала княжна.

— Да ты погляди, княжна, — вмешались в разговор и другие девушки, — ты и узор-то не так вышиваешь!

Княжна взглянула на работу и вся вспыхнула. Сделанное замечание было правильно.

— Если бы это сделала Анна Еремеевна, — заметили девушки, — то мы подумали бы, что она чересчур наотведалась из графинчика романеи...

Анна Еремеевна была пожилая сенная девушка, служившая в этой должности еще при покойной княгине, и теперь, в качестве старшей, наблюдавшая за молодыми, за что последние ее не особенно долюбивали и при всяком удобном случае поднимали на смех, особенно за пристрастие к рюмочке.

— Молчите, болтушки, — сердито огрызнулась она, — коли я пью, так это только для здоровья, лопни мои глаза, коли вру... Я и княжне советую выпивать хоть рюмочку перед трапезой — очень это здорово... А то вон она у нас какая за последнее время стала бледная...

— Да не быть же ей такой сизой да красной, как ты, Анна Еремеевна! — вставила слово Маша.

Веселый взрыв смеха был ответом на эту шутку. Анна Еремеевна оскорбленно умолкла.

— Довольно, милые девушки, нынче работать, — проговорила княжна, — скоро смеркнется. Да у меня что-то и головушку всю разломило. Ступайте себе с Богом, а я пораньше лягу, авось мне полегчает. Ты, Маша, останься раздеть меня...

Девушки быстро убрали работу, поклонились и вышли.

Княжна и Маша остались одни и прошли в опочивальню.

— Каков, княжна, молодец наш больной-то! — проговорила Маша, помогая раздеваться своей госпоже.

— А что?

— Красавец писанный, да и только!

— Ничего особенного в нем нет, — с деланным хладнокровием возразила княжна, избегая лукавого взгляда своей любимицы, — много у нас таких молодцов, как он.

— Вот и неправда, княжна-голубушка; таких парней не много увидишь: рост, что у твоего батюшки, чуть не сажень, глаза голубые, волосы кольцом вьются, походочка с развальцем, голос тихий, да приятный, так за сердце и хватает... Я так смекаю, что он не простого рода, а боярского, да и на дворе почти все то же гуторят...

— Да ты когда же его видела?

— Эх, да разве я утерплю, чтоб не посмотреть на бравого парня да не повеселить себя? Так устрою, что не доглядеть за мной ни Панкратьевне, ни Еремеевне... Я его еще на Москве не раз видала... Знаешь ли, княжна, если он боярин, то хоть тебе пара, такой бравый да красивый...

Княжне хотя и самой смерть хотелось слушать о предмете своей тайной любви, но она пересилила себя и нетерпеливо перебила свою любимицу:

— Полно тебе болтать, надоела ты мне!.. У тебя только и на уме, что женихи... Поди вон, я засну...

Княжна, лежавшая уже в постели, накинула себе на голосу одеяло, чтобы скрыть от Маши свое смущение.

Та лукаво улыбнулась и поспешно вышла из комнаты.

Княжна, однако, не заснула. В голове ее одна за другой пробегали мысли и все сосредоточивались около представления о выздоравливающем юноше.

— Да, — говорила она сама себе, — Маша права: он очень, очень красив... Таких я еще никогда не видывала... Как он мне мил... Кажется, так бы все и смотрела на него, все и любовалась бы им одним, только бы слушала его...

Вдруг яркая краска покрыла ее ланиты, — она вспомнила последние минуты, проведенные у изголовья раненого Воротынского: он забылся первым, здоровым сном; мертвенно-бледные щеки покрылись легким, нежным румянцем, русые кудри сбились на лоб, точно высеченный из мрамора. Он был так увлекательно хорош, и между тем княжна принуждена была с ним расстаться.

Он должен проснуться, по словам Панкратьевны, в полном сознании, на пути к выздоровлению, и ей, девушке, непригоже было оставаться у постели выздоравливающего постороннего молодого мужчины. Она сама понимала это, и мысль о скорой разлуке до боли сжимала ее наполнившееся первым нежным чувством сердце. Она не утерпела, низко склонилась над изголовьем дорогого ей больного и запечатлела на его губах, оросив его лицо теплыми слезами, первый девственный поцелуй, но испугавшись своей смелости, быстро вышла из комнаты раненого.

Этот момент прощанья с ним пришел ей на память и вызвал яркую краску на ее прелестное, несколько похudevшее и побледневшее за это время личико.

«Неужели он потерян для меня навсегда? Ужели я никогда более с ним не встречу? Это было бы ужасно!»

Так думала княжна Евпраксия, оставшись в опочивальне одна, и сон лишь на заре смежил ее очи.

Яков Потапович, вполне примирившийся с своим положением друга и защитника беззаветно

любимой им княжны Евпраксии, привязался всем своим многолюбящим сердцем и к порученному его попечением князем Василием молодому князю Владимиру Воротынскому. После же самоотверженного поступка последнего, спасшего старого князя от неминуемой смерти, Яков Потапович начал положительно благоговеть перед юношей, хотя горькая для него мысль о том, что молодой Воротынский мог явиться самым подходящим женихом для молодой княжны, все чаще и чаще, особенно после рокового случая на охоте, стала приходить ему в голову.

«Разве умереть!» — мелькала лишь порой в его голове эгоистическая мысль, но он гнал ее тотчас же от себя, приписывая ее козням дьявола — врага человеческого.

Усердной молитвой и наложенной им самим на себя эпитимией наказывал он себя за подобное помышление, — за последнее время он стал особенно религиозен. Молитва помогала, и он приобрел в своей душе искреннее желание счастья обоим друзьям, созданным, по его мнению, друг для друга.

Весть о переломе болезни Владимира, о надежде на скорое его выздоровление встречена была им радостно, и с того момента как больной очнулся от беспамятства и силы его стали мало-помалу укрепляться, Яков Потапович проводил около него целые дни.

Несмотря на все это, когда уже после окончательного выздоровления молодого Воротынского князь Василий, во время беседы в своей опочивальне с глазу на глаз с приемышем, коснулся своих забот о дочери, как девушки в возрасте невесты, возрасте, опасном в переживаемое время, а затем весьма прозрачно перешел к выхвалению достоинств сына его покойного друга и вопросу, чем отблагодарить ему Владимира за спасение жизни, Яков Потапович побледнел и задрожал.

— Такие услуги, как его, не оплачиваются ни гостеприимством, ни деньгами... — задумчиво заметил князь Василий.

Яков Потапович успел оправиться от охватившего его волнения и с твердостью произнес:

— Есть средство отплатить ему за это сторицею!

— Какое?

— У тебя, князь, есть сокровище, которое превыше всех твоих богатств... Отдай его ему... он достоин его...

— Дочь... — понял старик. — Я сам думаю об этом и вполне разделяю твое мнение о Владимире: он достоин ее и я с удовольствием назвал бы его своим зятем, но, во-первых, надо их познакомить, и полюбит ли она его, полюбит ли он ее, разделит ли он твое мнение, что она превыше всех моих сокровищ!..

Яков Потапович перебил князя, сделав нетерпеливый жест:

— Кто может мыслить иначе о княжне Евпраксии?..

Князь Василий окинул его пронизательным взглядом.

— Дай Бог, чтобы это было так; но я не окончил... Во-вторых, он сын опального, сын казненного... Как взглянут на это там! Не погубит ли этот брак и его, и дочь, и весь род наш?!

Голос старика задрожал.

— Что же сделал он такого? И отец-то его, по его рассказам, погиб невинным! Но если бы даже он был виноват, то разве сын отвечает за грехи отца?.. — вспыхнул Яков Потапович.

— По-ихнему, быть может, и отвечает... — с горечью произнес князь. — Сам, чай, знаешь, кто там всем орудует и можно ли ждать от советника-палача чувства справедливости?

— Нет, князь, прости, я отказываюсь верить этому, — с жаром возразил Яков Потапович. — Я отказываюсь верить, чтобы великий государь был всегда послушен голосу изверга-Малюты. Если ты, или князь Никита, которого царь так любит, прямо и открыто явитесь бить челом за сына опального, если царь узнает его подвиг при спасении твоей жизни, он, я уверен, простит его и явится сам покровителем молодой четы, возрадовавшись чудесному спасению молодого отпрыска славного русского боярского рода...

Эта горячая, убедительная речь произвела впечатление на князя Василия.

Яков Потапович подтвердил его затаенные мысли и надежды.

— По разуму вещей это так, — согласился он. — Но все же надо действовать пока осторожнее... Чтобы разрешить вопрос о их взаимных чувствах, я на днях познакомлю их. У Владимира нет отца, нет даже, кроме меня, покровителя, за него некому заслать сватов, так я сам буду его сватом перед самым собою и моей дочерью...

Этим решением окончилась беседа князя Василия с самоотверженным другом его дочери — Яковом Потаповым.

IV

Долг платежом красен

Прошло несколько дней, и князь Владимир был позван в опочивальню князя Василия.

Такой неожиданный зов, в неурочное время, когда старый князь имел обыкновение предаваться послеобеденному сну, предвещал непременно какую-либо серьезную беседу, и сердце молодого человека сжалось томительным предчувствием.

Он пересилил себя и твердою поступью вошел в опочивальню.

— Ты изволил меня звать, князь? — спросил он слегка дрогнувшим голосом.

Князь Василий, сидевший на лавке, приветливо улыбнулся вошедшему и жестом указал ему место возле себя.

— Да, побеседовать малость мне с тобой надобно, сын мой любимый, хоть не родной, а названный!

Воротынский сел.

Князь Василий в первый раз после первого приема его у себя, когда он обещал ему быть вместо отца, назвал его сыном. Это не могло предвещать недоброе. Чуть заметная, довольная улыбка скользнула по губам Владимира. Он, уже совершенно успокоенный, вопросительно глядел на старика.

— В долгу я у тебя, добрый молодец, в долгу неоплатном, — начал тот, после некоторого молчания. — И чем вознаграждать тебя — не придумаю!..

Владимир сделал нетерпеливое движение и раскрыл было рот, чтобы возразить, но князь не допустил его до этого.

— Знаю, знаю, что хочешь сказать ты, знаю твою благодарную, благородную, самоотверженную душу, но все это не освобождает меня от должной признательности... Такая услуга, которую оказал ты мне, не забывается и даже, увы! не может быть вознаграждена: за дарованную жизнь платят жизнью...

Воротынский сидел с скромно опущенными глазами и молчал.

— Но я все-таки хочу вознаградить тебя, — продолжал князь. — Я решил отдать тебе то, чего нет для меня дороже на свете... От тебя будет зависеть принять, скажу более, заслужить эту награду, я же хочу сказать, что даю тебе на это согласие и большего обещать не могу!..

Старый князь, видимо, с усилием говорил все это, путался, ожидал поддержки от собеседника, ожидал, что он поймет его с полуслова, но последний не оправдал его надежды, а продолжал глядеть на него вопросительно-недоумевающим взглядом.

Надо заметить, что Владимир понял, но боялся ошибиться. В такое неожиданно быстрое осуществление его планов он не верил и ожидал более ясных намеков.

Князь Василий несколько минут помолчал, как бы собираясь с силами.

— Ты, вижу, меня не понял, князь, — вздохнул он. — Скажу яснее: ты знаешь сам, что ты знатного рода, такого же, как и я... Будь отец твой жив, царство ему небесное, он не отказался бы породниться со мной, заслать бы сватов для тебя за моей дочерью, и я, если бы вы полюбились друг другу, дал бы, не сумняся, свое благословение... Но Господь судил иначе... У тебя нет на всей земле родственников, кроме меня; дядя твой, Михаил, почти в изгнании, на дальнем воеводстве, мы переживаем тяжелые времена и не до исполнения нам старинных свчаев и обычаев... Я хорошо узнал и оценил тебя и скажу тебе по душе, что лучшего мужа моей дочери и лучшего зятя себе, как ты, я не пожелал бы...

Воротынский вскочил, закрыв свое лицо обеими руками.

— Мне, значит, приходится явиться твоим сватом перед моею дочерью... Хочешь ли ты этого, князь?

Владимир бросился к ногам князя Василия.

— За что на меня, безродного, ты сыплешь такими милостями, за что меня, сироту горемычного, хочешь подарить ты таким неизреченным счастьем?.. Не видал я еще очей княжны Евпраксии, но слышал, что красота она неопишумой, что умна она и разумна, как немногие... Как благодарить мне тебя, отец названный, за посул один такого счастья?.. Покажусь ли я только люб княжне — твоей дочери?

— Благодарить тебе меня не за что — я забочусь о счастье вас обоих. Вернусь в Москву, буду бить челом государю о твоём прощении, о снятии опалы с рода твоего; не поможет моя стариковская просьба — брата Никиту умолю, любимца царского, а тебя от царского гнева вызволю...

Старый князь не заметил, что при последних словах по лицу продолжавшего обнимать его колени юноши мелькнула какая-то загадочная усмешка.

— А полюбитесь ли вы друг другу — решить это не долго; нынче же, сейчас же покажу я тебе мое сокровище, которым хочу отдарить тебя за услугу великую.

Князь поднял Владимира, по лицу которого на самом деле текли крупные слезы, обнял его и трижды облобызал.

Они вышли из опочивальни, прошли в большую избу, и князь Василий захлопал в ладоши.

Несколько слуг выросли перед ним, как из-под земли.

— Скажите княжне, чтобы шла потчевать медом меня и гостя дорогого... Да кликните и Якова Потаповича...

Слуги бросились исполнять приказания.

Старый князь и Воротынский сели на лавку у стола, стоявшего в переднем углу горницы.

Оба молчали. Князь с любопытством смотрел на молодого человека; последний казался смущенным и взглядывал по временам на двери, в которые должна была войти молодая хозяйка, с выражением тревожного ожидания.

Вскоре в комнату ровною, спокойною походкою вошел Яков Потапович. Окинув присутствующих беглым взглядом, он понял все происшедшее между ними и мускулы его красивого лица дрогнули.

— Хочу, вот, показать моему, быть может, будущему зятюшке молодую княжну, а ей — женишка мной избранного... Бог даст, друг другу по душе придутся!.. — сказал князь, обращаясь к Якову Потаповичу.

— Что ж, дело доброе, может, сам Господь направил князя Владимира под кров твой, князь-батюшка, чтобы устроить судьбу нашей касаточки.

Голос Якова Потаповича дрогнул.

— Спасибо на добром слове, Яков Потапович, — с непритворною благодарностью в голосе заметил Воротынский, поклонившись поясным поклоном.

Мучительная душевная боль снова отразилась на мгновение в чертах лица Якова Потаповича.

В это время в дверях появилась княжна Евпраксия в сопровождении Маши и другой сенной девушки. Княжна была бледна и шла с опущенными глазами. В ее руках был серебряный поднос с такими же чарами; две сенные девушки несли по серебряному жбану с душистым медом.

Все трое мужчин встали.

Княжна тихо подошла к отцу, сделав всем троекратный поясной поклон.

Князь Василий наклонился к своей дочери и поцеловал ее в лоб.

— Попотчуй, дочка дорогая, медком холодненьким меня, старика, Яшу, да князя Владимира Воротынского, сына моего покойного друга, которому заступил я место отца.

Княжна на минуту вскинула свои чудные глаза на Владимира. Она была смущена; она чувствовала в себе какое-то непонятное томление. Наконец, снова подняв глаза, тихо проговорила:

— Я денно и ночью молюсь за здоровье князя Владимира Никитича.

Владимир невольно вздрогнул.

«Она знает мое имя... Это она ухаживала за мной во время моей болезни, это ее поцелуй горит на моих губах... И как она поглядела на меня... Она несомненно любит меня, а я...»

Он не окончил своей мысли, как снова раздался мелодичный голос княжны.

— Кушайте на здоровье!

Она подносила ему на подносе чару с душистым медом.

— За твое дорогое здоровье, княжна, — произнес он с чувством, — цветы на радость твоего отца и твоего будущего суженого — счастливца! Не обессудь меня за правдивые слова, дозвожь молвить их?

Он остановился на мгновение. Княжна молчала.

— Много гоняла меня по белу свету лиходейка-судьба, много видел я красных девушек, но такую красавицу, как ты, княжна, впервые видеть доводится. За здоровье той, что краше всех на свете, за твое здоровье, княжна Евпраксия!

Он мигом осушил свою чару.

Княжна снова вскинула на него взгляд, и яркий румянец вспыхнул на ее щеках.

— Благодарствуй, князь, на ласковом слове! Не обессудь и меня, коли не признаю я твои слова за правдивые. Какою Бог дал, такую и уродилась...

— Говорю, что на душе есть, княжна!..

По знаку старого князя сенные девушки снова наполнили чары.

Яков Потапович и Воротынский осушили их за здоровье князя Василия.

Две последние чары были выпиты за здоровье Владимира и Якова Потаповича.

Княжна удалилась в свои горницы.

Мужчины остались одни.

Князь Василий понял, что красота его дочери произвела на его гостя должное впечатление. Он видел также, что княжна не осталась равнодушной при этом неожиданном знакомстве, и чутким отцовским сердцем угадал, что в сердце его ненаглядной дочурки закралась первая любовь.

— Что ж, сватать, князь? Али не приглянулась невеста-то? — шутливо обратился он к сидевшему в задумчивой позе Владимиру, дружески потрепав его по плечу.

Тот быстро вскочил, схватил его за руку и крепко сжал ее в своих обеих руках.

— Батюшка-князь, не дразни счастьем недостижимым, не стою я такой красавицы — она под пару лишь разве самому царю...

— Наше место свято! — в страшном испуге воскликнул князь Василий. — Не накличь, молодец, беды на свою и на наши головы!..

— Прости, князь, я к слову молвил, не подумавши: последний ум отняла у меня красота твоей дочери, до того она мне полюбилась...

Старик успокоился.

— Так поспрошать ее, ты-то полюбился ли, молодец? Да только, смекаю я, и пытаться о том не надобно...

— А что?

— Да лицо девушки, что зеркало, или ручей ключевой воды: все в нем видимо, ничего не скроется...

— И что же ты увидал в нем, князь?

— Вестимо то, что люб ты ей: недаром она за тобой во время болезни так ухаживала.

— Она, княжна Евпраксия?..

— А ты не знал?

— Не знал, князь, а как увидал ее, стал догадываться; в полузабытьи лежа, видел я над собой наклоненную такую же, как она, красавицу, да подумал я тогда, что сон видел, чудный сон, и что наяву с такой и не встретишься, ан вышло, увидеть довелось живую, не виденье сонное; а я уж молил Бога, чтобы хоть оно повторилось...

— Ну, значит, дело наше можно считать слаженным; только чур — молчок до приезда в Москву и до моего челобитья великому государю...

Яков Потапович молчал почти все время, но глядел на всех открытым, честным взглядом своих прекрасных глаз. В них сияла искренняя радость за упрочивающееся счастье любимых им людей, и ни единая горькая мысль о своих разбившихся надеждах ни на минуту не омрачила их блеска.

Князь Василий удалился в свою опочивальню, а Воротынский рука об руку с Яковом Потаповичем отправились в горенку последнего и побеседовали в ней до позднего вечера.

Тяжелое предчувствие говорило Якову Потаповичу, что будущее далеко не устроится так, как располагают они. Вещий сон снова приходил ему на память, но он гнал от себя эти мрачные мысли.

«Что сон? Пустяки. Может, Господь и смилуется над княжной непорочной. За что ее карать, непорочную?» — уверял он сам себя и вслух начинал уверять выразившего сомнение Воротынского относительно исхода челобитья у царя, что на Москве устроится все как по писаному.

На другой день, утром, когда княжна Евпраксия, по обыкновению, пришла поздороваться с отцом, князь Василий поцеловал ее крепче обыкновенного, усадил с собой рядом на скамью и взял ее обе руки в свои.

— Покалякаем-ка мы с тобой, дочурка моя милая, — над узорным шитьем за день успеешь еще насидеться...

Княжна растерянно посмотрела на отца. Ее лицо мгновенно побледнело, затем так же быстро покрылось ярким румянцем, что не ускользнуло от пристально и неотводно глядевшего на нее отца, и он улыбнулся снисходительно-доброй улыбкой.

— Чего же ты смутилась, девушка, али знает кошка, чье мясо съела? Знаешь ты, о чем отец твой с тобой беседу начнет?

— Как мне знать это, батюшка? — с неподдельным испугом в голосе молвила княжна.

— Как мне знать это, батюшка? — передразнил ее князь Василий. — Однако ты у меня девка прехитрая: ни в меня, ни в покойницу, а разве в брата, князя Никиту, твоего дядюшку! — с добродушным смехом добавил князь.

Княжна молчала, перебирая в смущении складки своего сарафана.

— Так не знаешь, о чем я речь поведу и зачем познакомил я тебя вчера с князем Владимиром?

Княжна зарделась, как маков цвет.

— Почем мне знать, батюшка? Твоя воля — родительская! — чуть слышно произнесла она.

— Что моя воля? Неволить тебя я не буду, сама, чай, это ведаешь, а замуж пора тебе. Не огурец, ведь, не впрок класть — приходится расставаться, отдавать тебя добру молодцу.

Княжна еще ниже опустила свою головку.

— Князь Владимир Воротынский тоже всем взял, молод, собой красавец, отважен, умен, душевен. Господь мне на мысль положил соединить судьбу вашу, а Яков меня на эту мысль натолкнул...

— Яков?.. — вдруг перебила отца княжна Евпраксия и подняла голову.

В ее глазах мелькнуло даже на мгновение выражение некоторого недоверия к словам отца.

— Ну да, Яков, чего ты так диву далась? Он парень у меня такой, что разуму ему не занимать стать у кого-нибудь, а уж что посоветует — как отрубит: со всех сторон, как ни думаешь, лучше не выдумать! — заметил князь, не поняв, да и не имев возможности понять восклицание дочери, снова уже сидевшей с опущенной головой.

— Я намекнул о том Владимиру, — продолжал князь, — тебя показал ему. Он чуть с ума не сходит от радости; говорит, что видел тебя, как сквозь сон, у своей постели во время болезни, да и впрямь за сон потом принял, за чудное видение, так и сказал. Теперь от тебя зависит на всю жизнь осчастливить его и меня, старика, порадовать; согласна ты замуж за него идти?

— Твоя воля, батюшка; мне из твоей воли выходить не приходится.

— Не то я спрашиваю тебя, а люб ли он тебе? За время болезни его, да и вчера, чай, на него нагляделась...

Княжна молчала.

— Отвечай же, люб или нет? В этом все дело, — снова, после некоторого молчания, спросил князь.

— Люб... люб... батюшка! — чуть слышно произнесла княжна и, бросившись на грудь отца, залилась слезами...

— Коли люб, так и говорить нечего... В Москву вернемся, веселым пирком — да и за свадебку...

Княжна Евпраксия крепко поцеловала отца.

— Только словечка пока до Москвы о том никому не молви, — счел долгом предупредить князь дочь, озабоченный мыслью об исходе своего челобитья у грозного царя, и отпустил ее.

Тотчас по уходе дочери князь Василий позвал к себе князя Владимира и сообщил ему результат его сватовства. Воротынский в восторге целовал руки своего будущего тестя, обливая их, казалось, непритворными слезами.

— Видаться с невестой, хоть этого и не водится по старине, можешь по утрам, у меня, — разрешил князь, последний раз прижимая к груди своего будущего зятя.

Владимир прямо от князя прошел в горницу Якова Потаповича (в усадьбе он жил отдельно) и поделился с ним своею радостью.

Несмотря на принятые, как мы видели, со стороны князя Василия меры, чтобы предстоящая свадьба его дочери с князем Воротынским оставалась до времени в тайне, эта тайна не укрылась от пронизательности сенных девушек, и в горнице княжны, чуть ли не тотчас же по возвращении ее от князя Василия, стали раздаваться свадебные песни и величания «ясного сокола» князя Владимира и «белой лебедушки» княжны Евпраксии.

Княжна сначала было стала останавливать девушек, но ее смущенный вид еще более подтверждал их подозрение и они не унимались.

Поздним вечером того же дня князь Владимир Воротынский вышел, как бы для прогулки, со двора усадьбы, дошел до опушки ближайшего леса и свистнул.

Эхо не успело повторить этот свист, как перед ним точно из земли выросла фигура мужчины.

Воротынский сказал ему несколько слов и сунул в руку какой-то сверток.

Незнакомец исчез так же быстро, как и появился. Владимир вернулся домой.

V

Среди молитв и казней

Оставим обывателей и обывательниц дальней княжеской вотчины, как знающих, так и догадывающихся о предстоящем радостном для семейства князя Василия событии, жить в сладких мечтах и грезах о лучшем будущем и перенесемся снова в ту, ныне почти легендарную Александровскую слободу, откуда не менее кажущийся легендарным царь-монах, деля свое время между молитвами и казнями, правил русской землей, отделившись от нее непроницаемой стеной ненавистной ей опричнины.

Несмотря на такое ненормальное положение главы государства, несмотря на такую беспримерную в истории изолированность царя от «земли», царь этот еще не слабел в делах войн и внешней политики и еще продолжал являться с блеском и величием в отношении к другим державам.

За описываемое нами время внешнее положение Московского государства было следующее: на юге огромными необозримыми степями отделялось оно от исконных злодеев и хищников — крымских татар; для ограждения от их набегов на границе были построены крепкие города, остроги и засеки, в которых наготове содержались сильные рати. На северо-западе русская граница соприкасалась с Ливонией, далее к югу — с Литвой и древними русскими областями, отошедшими к Польше во время монгольского ига. На севере Русское царство граничило с шведскими владениями.

Со времен первого московского князя — собирателя земли русской — Ивана Калиты, князь московские добивались владеть Ливонией, занятой немецкими рыцарями, чтобы открыть себе свободный путь к морю. Решительнее всех своих предшественников действовал в этом случае Иоанн Грозный.

На Ливонию имели свои виды Польша, Швеция и Дания.

Страна эта была страшно опустошена русскими войсками, и большая часть ее была

завоевана царем.

Ливонские рыцари были до того стеснены, что упали духом и решились поддаться какому-либо сильному государству, которое бы могло защитить их от грозного меча русского царя. Одни искали зависимости от шведского короля, другие от польского, Сигизмунда-Августа. Вследствие этого часть ливонских земель с городом Ревелем подчинилась Швеции, южные города признали главенство Польши, а земли, лежавшие в смежности с Русским государством, были удержаны последним как завоеванные, и Иоанн Васильевич решился до тех пор не класть оружия, пока не добудет себе приморских городов. Овладеть Балтийским побережьем стало для него заветною мечтою.

«За это-то, — замечает наш знаменитый историк С. М. Соловьев, — так и преклонился перед памятью об Иоанне Грозном гениальный продолжатель его дела — Петр Великий».[11]

По свидетельству иноземцев, приезжавших в Россию для торговли, «Иоанн затмил своих предков могуществом, имеет много врагов и смиряет их. Литва, Польша, Швеция, Дания, Ливония, Крым и Ногаи ужасаются русского имени».[12]

Царские послы гордо отвечали шведским, когда те стращали их своими союзниками и войной:

— Вы пугаете нас Литвой, цесарем, Даниєю; будьте друзьями всех царей и королей — не устрасимся.[13]

Таково было внешнее положение государства.

Мы оставили, как, вероятно, помнит читатель, грозного царя возносившим горячие благодарственные мольбы к престолу Всевышнего за дарование ему непреложных доказательств вины сверженного им митрополита Филиппа, а следовательно и оправдания совершенных по приказанию его, Иоанна, жестоких казней над его единомышленниками.

После этой молитвы и совершенной через несколько дней казни сознавшихся под пытками Малюты Колычевых, царь несколько успокоился, и жизнь в слободе вошла в свою обычную колею.

На место Филиппа царь немедленно избрал нового митрополита — троицкого архимандрита Кирилла, инока доброго, но слабодушного и безмолвного, — так, по крайней мере, описывают его современники.

Таким образом, надежды новгородского архиепископа Пимена, главного виновника целой сети клевет, опутавших низложенного митрополита, заступить его место — не оправдались.

Обеспечив себя с этой стороны, освободившись от архипастыря строгого и непреклонного, Иоанн, подстрекаемый своими любимцами, стал, по прошествии некоторого времени, еще смелее и необузданнее свирепствовать. Его не останавливали даже естественные бедствия, обрушившиеся в это время на русскую землю: моровое поветрие, от которого люди умирали скоропостижно в громадном количестве («знамением», как сказано в летописи, — вероятно пятном или нарывом, — догадывался Карамзин), тучи мышей, выходивших из лесов и поедавших хлеб на корню, в скирдах и житницах, которого и так было мало вследствие неурожая.

Повторяем, и эти, видимо, небесные кары не действовали, а казалось, еще более раздражали психически больного царя. Из своего слободского вертепа, он, минуя Москву, уже достаточно обогрившую кровью неповинных, начал делать, по временам, наезды на разные русские города. Началось с Торжка. Царь появился в нем в праздник, окруженный своими любимцами и множеством опричников-ратников. В городе происходила ярмарка. Опричники

стали грабить товары; купцы, понятно, отстаивали свою собственность; за последних вступился народ. Началось кровавое побоище.

— В городе измена, — объявил царю, бывшему у обедни в городском соборе, вбежавший Малюта, — народ бунтуется, бьет твоих верных слуг!

Иоанн побагровел от гнева.

— Бунтовщики, изменники!.. — прохрипел он. — Истребить всех до единого человека!..

Малюта быстро вышел, вырвав это жестокое повеление.

Царь упал ниц перед алтарем в горячей молитве.

В то время, когда в алтаре собора и других городских церквей священники приносили бескровную жертву, в городе началась кровавая резня. Неистовые, рассвирепевшие опричники, получив от своего не менее неистового начальника страшное приказание, освященное именем царя, бросились на безоружные толпы народа и начали убивать, не разбирая ни пола, ни возраста; сотни живых людей утонули в реке, брошенные туда извергами, с привязанными на шею камнями или обезображенными трупами своих же сограждан. Стон и плач стояли в несчастном городе.

Царь, окруженный любимцами и духовенством, любовался этой картиной кровопролития, упивался этой музыкой смерти с высокой паперти собора.

Духовенство, наученное судьбою Филиппа, безмолвствовало.

Почти то же, через малый промежуток времени, произошло и в Коломне. Под этим городом находились поместья несчастного Федорова. Жители любили его, а этого было достаточно, чтобы Иоанн признал их всех поголовно мятежниками, достойными кровавой расправы.

Уцелевших жителей опальных городов сотнями уводили в Александровскую слободу, где они в обширных теплицах ожидали своей участи. По большей части они служили для домашних царских кровавых потешных зрелищ. Измышлением этих потех для великого государя занимался тот же Малюта, так как никто не мог соперничать с ним в его кровавой изобретательности. Даже сам царь порой содрогался и бросал на своего любимца взгляд пугливой ненависти. Григорий Лукьянович хорошо видел это, но также хорошо понимал, что малейшее ослабление его в усердии именно в этом направлении может породить в душе царя подозрение в его измене, последствия чего могли быть не в пример хуже изредка бросаемых недружелюбных взглядов. Он сознавал, что царь порой, в минуты просветления, тяготится им, и ревниво оберегал своего властелина от продолжительности таких минут, а этого он мог достичь лишь постоянными устрашениями Иоанна мнимыми изменами и убеждениями его в необходимости непрерывных казней для вящего примера неблагодарному народу и подкапывающимся под царскую власть боярам.

— Пусть видят они, как ты, великий государь, расправляешься со своими лиходеями, так им лезть на смерть не захочется и измену творить неповадно будет; а только отпусти повода, бояре и народ, что твой дикий конь, из седла тебя и вышибут. На престол твой глаза-то у многих родичей разгораются... — чуть не ежедневно, различно варьируя, нашептывал царю Малюта.

— Так, так, Лукьяныч, единый мой верный слуга, все на меня ополчились: и живые, и мертвые; по ночам сна лишают, так в глаза и мечутся... — стонал несчастный Иоанн почти в паническом страхе.

— А ты порой на меня гневаешься, жесток-де очень у меня Гришка-то! Думаешь, мне тоже

сласть в крови их нечистой купаться, слушать, как хрустят их кости разбойничьи? Да для твоей царской милости и купаюсь, и слушаю. Как подумаю, что как одному спущу, другого помилую, ан вдруг они нам с тобой, великий государь, спуску не дадут, нас с тобой не помилуют?!

— Не помилуют, Лукьяныч, не помилуют, только им волю дай... Это ты по истине...

— Вот то-то и оно, великий государь, тебя спасаю, тебя берегу... для народа... довольно он, сердешный, под боярским правлением помаялся...

— Береги, Лукьяныч, береги... — почти бессознательно шептал Иоанн и шел на молитву или отходил ко сну.

Вид крови и смерти стал производить на него прямо оживляющее действие. После самых мучительных казней, совершенных в его присутствии, он возвращался, как уверяют летописцы-современники, с видом сердечного удовольствия, шутил, был разговорчивее и веселее обыкновенного.

Для домашних кровавых потех было очищено место перед царским теремом. Крыльцо в палаты было двускатное, широкое, с обширною площадкою от спусков под крышей, увенчанной царевым орлом. Прямо перед ним был подоблами[14] обведен широкий круг для медвежьей травли, — любимого удовольствия Иоанна. По мысли Малюты, травили не самых зверей, а их натравливали на безоружных заключенных царских тюрем, выпускаемых по одному на растерзание диким зверям. Если обреченной жертве удавалось как-нибудь отбиться от косматых палачей и выскочить за круг, то она считалась захваченной невинно, а потому освобожденной от преследования и казни. В этом выражалось оригинальное правосудие и милосердие тогдашнего жестокого времени.

Эта травля людей медведями происходила под звуки музыки гудошников и накрачеев, которых особый певчий-дьяк обучал брать отменные лады. Иоанн любил слышать мусикийское согласие, как и столповое пение в храме.

Весь звериный притч, как назывались служители царского зверинца, был одет в турецкие кафтаны, обшитые золотыми нашивками так часто, что кармазинное сукно просвечивало узенькими полосками между галунов на руках и на груди; на спине же приходились серебряные орлы с Георгием Победоносцем.

Медведи, приготовленные для травли, также обыкновенно были принаряжены; поперек под брюхо шли на красных ремнях нашитые бубенчики; ошейники с кольцами, сквозь которые продевали ремни наборной сбруи, были бархатные с золочеными бляхами, а на тяжелых лапах зверей болтались серебряные колокольчики самого нежного звука.

Обыкновенно в назначенный день кровавого зрелища царь с любимцами выходил после обедни и трапезы на крыльцо и садился на приготовленное кресло.

При его появлении музыканты начинали свою игру: зурны и накры дули вперемежку, и звуки эти смешивались со звоном колокольчиков на лапах выпущенных на площадку мишуков и ревом последних в предвкушении кровавой добычи.

Но вот среди зверей появлялся бедный, исхудалый, с искаженным от страха лицом «изменник», «бунтовщик», словом, «преступник», и «потеха» начиналась.[15]

Часто на арену выпускались одна за другой до десяти жертв, и все они по большей части оставались на ней бездыханными, с переломанными костями и развороченными черепами.

Удар колокола к вечерне прекращал кровавую «потеху». Царь с братиею удалялся на

молитву.

Да не посетует читатель на отсутствие картинности в этом описании, — перо отказывается служить для изображения этих ужасов.

Малюта Скуратов, однако, казалось, не мог насытиться этими зрелищами; лицо его, на котором только при столах умирающих играла отвратительная улыбка удовольствия, во всякое другое время было сурово и мрачно. Время шло, а обида, нанесенная ему холопами князя Прозоровского, все еще осталась неотомщенной — красавица-княжна все еще не была в его власти.

Через неделю после того, как князь Владимир Воротынский сделался, по воле князя Василия, женихом его дочери, к хоромам Малюты Скуратова на взмыленном донельзя коне прискакал всадник. Это был по виду неказистый коренастый мужичонка, одетый в черный озям и баранью шапку.

Дело было под вечер; Григорий Лукьянович был дома и тотчас же принял гонца.

— С грамотой? — нетерпеливо задал он вопрос.

— С ней самой! — отвечал прибывший, вытаскивая из-за голенища свиток.

Малюта поспешно развернул ее и стал читать. Улыбка торжества разлилась на его безобразном, мясистом лице. Он вынул из-за пазухи кошелек с золотом и бросил его привезшему грамотку.

— Гуляй, да по временам ко мне наведывайся, может, понадобится... — буркнул Малюта.

— Много благодарен твоей милости, Григорий Лукьянович, только прикажи — какую ни на есть службу сослужу... — упал приезжий в ноги Скуратова, быстро спрятав кошелек за голенище.

— Хорошо, ступай...

Тот не заставил повторять себе этого и быстро исчез за дверьми опочивальни.

Малюта остался один.

— То-то обрадуется Танька, как сообщу ей такую весточку... — сказал он самому себе, снова перечитав полученную грамотку.

Цыганка, умевшая поддерживать страсть в своем страшном обладателе, не потеряла своего обаяния для грозного опричника.

Вся дворня и даже все домашние догадывались об их сношениях.

Один влюбленный в нее без ума Григорий Семенов оставался слеп до времени и не замечал двойной игры своего черномазого кумира.

VI

Роковое открытие

До дня отъезда семейства князя Прозоровского в вотчину Григорий Семенов, как мы знаем,

почти бессленно занимался наблюдением за княжеским домом и лишь изредка являлся на самое короткое время для доклада в Александровскую слободу. Когда же князь уехал, Григорий Лукьянович стал давать Кудряшу другие и весьма частые поручения, требовавшие иногда довольно долгого отсутствия последнего из слободы. Поручения эти сопровождалось всегда со стороны Малюты замечаниями, что он-де не может выбрать для них лучшего исполнителя, чем он, Кудряш, на преданность и умение которого он вполне рассчитывает, и что услуги его им не забудутся. Кроме того, они щедро вознаграждались тароватым опричником. Григорий Семенов, ничего не подозревая, верой и правдой служил своему господину, надеясь через него выйти окончательно в люди, а из денежных наград большую часть отдавал на сохранение любимой девушке, которую он не нынче-завтра надеялся назвать своей женой.

— Схорони, Танюша, моя касаточка; все равно, все что мое — твое, пригодится нашим же детишкам на молочишко, — обыкновенно говаривал он, передавая ей деньги.

Татьяна Веденеевна поддерживала и разделяла эти надежды и, в часы редких и кратких свиданий с своим возлюбленным, проявляла в своих ласках столько любви и страсти, что способна была усыпить бдительность и не такого доверчивого человека, каким был Григорий Семенович. Дворня подсмеивалась над ним исподтишка, но никто даже намеком не решался обмолвиться при нем об отношениях его возлюбленной к «боярину», как величали Григория Лукьяновича его слуги. Так же вели себя и опричники-ратники, товарищи его по десятку Малюты. И те, и другие знали бешеный характер Григория, знали его беспредельное чувство и доверие к цыганке, а также и то, что он, не в пример другим, был в особенной чести у Скуратова. Связываться, следовательно, с таким человеком было никому не с руки.

— Открыть ему глаза?! Да как ему еще взглянется. Пожалуй, за клевету сочтет, быть тогда беде; лучше помолчать от греха. Да и какое нам дело до чужих баб? Коли сам ослеп, так и исполать ему! — рассуждали почти все.

— А может он насчет этого с ней в согласии? — замечали некоторые. — Вдвоем в душу без масла влезли к Григорию Лукьяновичу.

Последние ошибались: Григорий Семенович на самом деле не подозревал ничего. Он не мог допустить мысли о коварстве любимой девушки. Он не мог даже представить себе, что она, будущая жена его, могла изменить ему для безобразного Скурлатовича. В отношении же других молодцов Татьяна держала себя так чинно и гордо, что даже у склонного к ревности Кудряша не могло явиться и тени хотя бы малейшего подозрения.

«Она безумно, страстно любит меня и меня одного; она говорит мне сущую правду», — уверенно думал Григорий Семенович и спокойно покидал свою «лапушку» на целые недели, отправляясь по служебным поручениям.

Так прошло лето.

В тот вечер, когда во двор Малюты прискакал таинственный гонец и передал Григорию Лукьяновичу так обрадовавшую его грамотку, Григория Семеновича не было в слободе. Он вернулся только поздно ночью, когда в хоромах и людских все уже спали.

Въехав на задний двор, где находились избы для помещения ратников и ворота на который никогда, и даже ночью, не затворялись и никем не оберегались, он разнуздал коня, поводит его, поставил в конюшню и уже хотел идти уснуть несколько часов перед тем, как идти с докладом об исполненном поручении к Григорию Лукьяновичу, уже тоже спавшему, по его предположению, так как был уже первый час ночи, как вдруг легкий скрип по снегу чьих-то шагов на соседнем, главном дворе, отделенном от заднего тонким невысоким забором, привлек его внимание. Вскочить на этот забор было для него делом одного мгновения. Покрытый снегом, главный двор был виден с высоты его как на ладони. Была светлая, лунная

ночь. Зоркий Григорий Семенович увидал у двери, ведшей, как знал он, и как знаем и мы, в опочивальню Малюты, закутанную в платок женскую фигуру. Сердце его мучительно сжалось, — он узнал в ней Татьяну. Он хотел крикнуть ей, но почувствовал, что горло его как бы кто защемил железными клещами и оно не может издать ни малейшего звука. Дверь, у которой стояла Татьяна, между тем отворилась изнутри, и цыганка исчезла за ней. В глазах Григория Семеновича потемнело, затем в них появились какие-то кровавые круги, и он, потеряв равновесие, как сноп свалился на главный двор. От ушиба при падении он очнулся, встал, обвел вокруг себя помутившимся взглядом, и первую мыслью его было броситься за ней, разбить дверь и убить их обоих. Он уже сделал несколько шагов, но остановился.

«А что если это не она, если мне это померещилось? — мелькнуло в его голове. — Нет, она, несомненно, она, — припомнил он виденную фигуру. — А если и она... так он сумеет защитить ее... Лучше подожду, когда она выйдет, и тогда... если это точно она... тогда...»

Он притаился в тени забора.

«Что же тогда?.. Убить ее?.. Но здесь, на дворе, она закричит... явятся на помощь... могут спасти ее... меня убьют... казнят... я умру неотомщенный... Нет... не то... не так надо...»

Он стоял и ждал. Прошло несколько томительных часов, и он со всех сторон успел обдумать свое положение. Раздался легкий стук двери... Она вышла... Это точно была она, он в том убедился и дал ей проскользнуть в хоромы. В его голове созрел план, и он, почти успокоенный, осторожно перелез назад через забор.

Наутро Григорий Семенович явился пред лицо Малюты, — вчера еще его благодетеля, сегодня — злейшего врага. Григорий Лукьянович внимательно выслушал доклад своего верного слуги. Возложенное на него поручение было исполнено с точности.

— Спасибо, Григорий, большое спасибо, на вот тебе на гулянку, поезжай на Москву, там кружала веселей и лучше слободских, прислушайся, что народ гуторит, да разузнай под рукой в доме князя Василия, нет ли какой от него весточки из вотчины?

Малюта подал Григорию Семеновичу туго набитый кошель.

— Благодарствуй, Григорий Лукьяныч, много довольны твоей милостью, — глухим голосом произнес Кудряш.

В голосе его прозвучала злобная ирония и глаза метнули на «грозного опричника» взгляд свирепой ненависти. Последний ничего не заметил, — он был занят мыслями о полученном накануне письме. Да и стоило ли ему наблюдать за выражениями холопских лиц.

Не обратил он даже внимания, что Григорий не величал его «боярином», как это делал обыкновенно, а назвал по имени и отчеству.

— Разузнай, разузнай о твоём князюшке: скоро, даст Бог, ему карачун будет, со всеми его чадами и домочадцами, — продолжал он, отчасти отвечая своей собственной заветной мысли, отчасти желая обрадовать своего верного помощника в деле предстоящей судьбы князя Прозоровского.

Ожидания Малюты не оправдались: Кудряш не выказал особенной радости при этом известии и лишь для приличия скорчил свои губы в нечто вроде улыбки.

«Поди ж ты, и этот изверился в возможность отмщения!» — объяснил Григорий Лукьянович холодную встречу его слов со стороны Кудряша.

— Погодь маленько! Увидишь, что правда, — заметил он вслух.

— Дай-то Бог извести вконец моих врагов, — злобно заметил Григорий Семенов, и на этот раз он самом деле улыбнулся, но какой-то загадочной улыбкой.

— Ну, ступай, гуляй, я тебя не задерживаю, — отпустил его Малюта, — мне пора к утрени...

Кудряш быстро вышел. За ним, взяв шапку, вышел и Григорий Лукьянович.

Сделав несколько шагов по двору, Кудряш остановился, тяжело вздохнул, как бы желая вдохнуть в себя как можно более свежего воздуха. Раннее утро было прекрасно. Только что показавшееся из-за горизонта дневное светило обливало своими яркими лучами всю окрестность, и эти лучи невыносимым для глаз блеском отражались от чистого, пушистого, еще юного снега, покрывавшего двор и крыши домов. Еще вчера он с восторгом встречал восход солнца, начало нового счастливого дня, полного надежд впереди, а теперь это самое солнце казалось ему каким-то багровым, кровавым пятном. Он оглянулся, бросил взгляд на крыльцо Малюты, с которого только что сошел, вспомнил все вчерашнее, и прилив необычайной злобы снова охватил его сердце... У него потемнело в глазах... Но чу! раздался удар колокола, другой, третий... и серебристые, чистые звуки понеслись в утреннем морозном воздухе, — это грозный царь с Малютой звонили к утрени. Благовест не внес религиозного доброго чувства в истерзанную событием этой ночи душу Кудряша, — слободской благовест вообще не производил такого впечатления, — но заставил его очнуться и пересилить себя. Припадок гнева до времени не входил в задуманный им адский план мести изменнице и сопернику. Григорий Семенович снял шапку, провел рукой по лбу, тряхнул кудрями и, ухарски надев шапку набекрень, спокойной и ровной походкой направился к одному из стоявших в глубине двора сараев. Их было несколько, дверь крайнего была без замка. Он глядевшись вокруг, приотворил ее.

— Таня, — хриплым шепотом произнес он.

— Здесь! — донесся из сарая тихий голос.

Это было условленное место свиданий Григория и Татьяны. Последняя как-то ухитрилась раздобыться другим ключом от замка крайнего сарая, и каждый раз по приезде Григория из отлучки и после посещения им Григория Лукьяновича ожидала его в нем. Здесь он передавал ей полученную добычу; здесь, наедине с горячо любимой девушкой, проводил он те чудные минуты своей жизни, которыми скрашивалась его тяжелая, душегубственная служба.

О возвращении своего возлюбленного из отлучки по службе Татьяна узнавала через двенадцатилетнюю дочь одного из опричников-ратников, жившего на заднем дворе с своей женой. Это была единственная женщина в этой своего рода казарме, стряпавшая обед и стиравшая белье для остальных ратников. Ее дочь, Надюша, служила на посылках и ежедневно бегала в девичью барских хором. Хитрая цыганка привязала к себе девочку разными ничтожными подачками, и через нее разузнавала не только все, что делалось на заднем дворе, но даже во всей слободе.

VII

Собаке собачья смерть

Григорий Семенович осторожно, но плотно притворил дверь и твердыми, привычными шагами пошел вглубь обширного сарая. К нему навстречу бросилась Татьяна Веденеевна и быстро обвила его шею руками. Он вздрогнул, но переломил себя и даже обнял ее.

— Гришенька, милый, касатик мой, я тебя не ждала так рано; нынче, ни свет ни заря, Надюшка прибежала, сказала мне, я так и ахнула от радости... — затараторила цыганка.

— Управился рано — рано и вернулся... — глухим шепотом отвечал он.

В сарае был почти мрак, а потому Татьяна не была в состоянии хорошо разглядеть лица Григория Семеновича, а между тем это лицо исказилось выражением такой непримиримой злобы и ненависти при первых словах ее льстивой речи, что, заметь она это, то поняла бы, что ему известно все, что он открыл ее двойную игру и уразумел, что не любовь, а алчность и желание сделать его орудием своей мести толкнули ее в его объятия, как толкнули и в объятия безобразного Малюты. Она поняла бы также, что он бесповоротно решил не прощать ей такого надругания над его искренним, беззаветным чувством, что ее ждет страшная расплата. Она убежала бы, сыскала бы защиту своего властного покровителя, и не успокоилась бы до тех пор, пока Григорий Семенович не был бы уничтожен мановением руки жестокого опричника. Это было бы тем легче, что Кудряш в деле мести князю Прозоровскому и Якову Потапову не был уже теперь особенно нужен Григорию Лукьяновичу, и последний, не моргнув глазом, при одном намеке нравящейся ему до сих пор женщины отправил бы его к праотцам. Но, повторяем, к несчастью для себя и к счастью для Григория Семеновича, она не заметила выражения его лица, а он поспешил снова пересилить себя и стал говорить с ней спокойным, почти по-прежнему нежным голосом. Он передал ей полученный от Малюты кошелек, который она поспешно спрятала за пазуху, быстро, с довольной улыбкой взвесив его на руке.

Они сели на один из стоявших в сарае ящиков. Обвив его шею руками и прижавшись к нему всем телом, она нежно склонила свою голову на его плечо, обдавая его своим горячим, полным страсти дыханием.

Близость этой женщины, ненавистной до безграничной любви и вместе с тем любимой до безграничной ненависти, трепет ее молодого, роскошного тела, фосфорический блеск ее глаз во мраке того убежища любви, которое невольно навело на Григория Семеновича рой воспоминаний о пережитых им часах неизъяснимого блаженства, привели его в иступленное состояние: он позабыл на мгновение измену этой полулежавшей в его объятиях страстно любимой им женщины и крепко сжал ее в этих объятиях, весь отдавшись обаянию минуты.

Не подозревавшая, что происходит в душе ее возлюбленного, Татьяна, наэлектризованная вызывающей страстью, горячо отвечала на его жгучие ласки.

Минуты пронеслись.

Бледный, как полотно, с дрожащею нижнею челюстью, стоял Григорий Семенович перед сидящей Танюшей. Воспоминания о всем виденном им минувшею ночью, ясное доказательство измены за минуту обласканной им женщины с особою, роковою рельефностью восстали в его уме, прояснившись после пронесшейся бури страстей, как небосклон после миновавшей грозы. Он напряг всю силу своей воли, чтобы снова не броситься на нее, но не для объятий и ласк, а для того, чтобы задушить ее теми же руками, которыми только что ласкал ее. До боли закусил он нижнюю губу и сжал так сильно правую руку свою же левую, что затрещали суставы. Физическая боль утишила нравственную, и он заговорил почти ровным голосом:

— Ослобонись-ка на часок, до лесу дойди, что за задним двором, дело есть...

— Зачем, какое дело? — вскинула на него глаза Татьяна.

— Мешок с казной да ларец с ожерельями, запястьями, перстнями и кольцами с камнями самоцветными Господь Бог мне по дороге послал на нашу сиротскую долю, я в дупле дубовом все схоронил, так показать тебе надобно...

— Где же тебе это Бог послал? — спросила она, и глаза ее радостно заблестали.

По его лицу пробежала злая, презрительная усмешка.

— Где — про то я знаю, да тот, кто собирал и копил эти сокровища... — уклончиво отвечал он.

— Да хорошо ли ты схоронил их, касатик мой? Неровен час, украдут — разорят нас с тобой вконец...

— Не бойсь, не украдут, место надежное; возьми и нашу казну, сложи в тот ларец кованный, что летось я тебе из Москвы привез, вместе схороним; дома-то держать опасно; я сегодня после полудня уезжаю месяца на три; неравно с тобой здесь что приключится, а там все сохраннее будет...

Татьяна ответила не сразу. Мысль, что место, где будут скрыты ее казна и сокровища, будет известно другому лицу, не особенно ей улыбалась. С тем, что эти сокровища их общее с Григорием достояние, она внутренне далеко не соглашалась, но была слишком хитра, чтобы дать ему заметить это свое колебание. Но на этот раз она ошиблась, он догадался и подозрительно спросил:

— Что же ты задумалась, моя касаточка?

— Думаю, как мне урваться незаметно, да и ларец принести... — медленно, как бы раздумывая, произнесла она.

— Невелик он, под полой шубейки протащишь, никто и не увидит. Да и кому видеть? Время такое, все по своим делам разбрелись... в слободу...

Татьяна между тем уже успела надуматься.

«Он надолго уезжает, а я без него успею перетащить все в другое место; до его возвращения много воды утечет... Что-то потом будет?» — пронеслось в ее голове.

— Так я через полчаса на опушку прибегу! — произнесла она и выпустила его из сарая.

— Приходи, ждатель буду, да поторапливайся, — буркнул он и пошел, не оглядываясь, к воротам.

Он чувствовал, что злоба подступала к его горлу, душила его, что это отражалось на его лице, а потому и не хотел, чтобы она видела его при свете яркого утра, надеясь успокоиться, пока дойдет до леса, который был все-таки довольно далеко.

Торопливо шагая по отделявшему лес от заднего двора полю, он продолжал ворчать, изливая кипевшую в его душе злобу.

— Ишь, тварь подлая, с моей же казной от меня сторонится, в знакомое мне место схоронить кобенится. Да не пригодится она тебе, змее подкольной; уж и поразмытарю эти я денежки по Москве-матушке; не пригодились кровавые на честное житье, пригодятся хоть на то, чтобы завить горе веревочкой.

Остановившись на опушке леса, он стал ждать, пристально вглядываясь в снежную пелену, покрывавшую отделявшее его от двора и сада Малюты пройденное им обширное поле. Минут через двадцать показалась торопливо шедшая Татьяна. Лицо его исказилось злобной усмешкой.

— Спешу, спешу, богачиха, клад зарывать... — проворчал он и с усилием придал своему

лицу спокойное выражение.

Татьяна Веденеевна была уже близко.

— Насилу дотащила, так тяжеленек он; только ключа не захватила; искала, искала — не нашла; и куда запропастился — не ведаю, так и бросила искать, больно торопилась, чтобы тебя ждать не заставить!

Она подошла к нему и протянула довольно большой, окованный жестью ларец.

— Ништо, и без ключа обойдемся, не отворять его тебе! — промолвил он с чуть заметною ядовитую усмешкою.

— А далеко это место-то, Гришенька? — спросила она, когда они углубились в чащу.

— Не на самом же юру клады хоронят! Да не бось, дойдем, не больно, чтобы далеко...

Они пошли молча, все более и более углубляясь в чащу. Она изредка взглядывала на него. Лицо его становилось все мрачнее и мрачнее. Ее сердце стало сжиматься каким-то томительным, безотчетным страхом.

— Еще далеко? — чуть слышно произнесла она каким-то подавленным голосом.

Они зашли уже в самую глубь леса; деревья по большей части были хвойные, и сквозь их густые, опущенные снегом ветви чуть пробивались солнечные лучи.

— Да хоть здесь, коли уж очень торопишься! — вдруг обернулся он к ней, кинув на снег ларец.

Она взглянула ему в лицо. Оно было искажено такую адскою злобою, что у нее подкосились ноги и она могла только прошептать:

— Гришенька, что с тобою?

— Что со мною? — закричал он голосом, в котором разом прозвучала вся так долго сдерживаемая злоба. — Не тебе бы, непутевая, об этом меня выспрашивать! Пораздумать бы надо ранее, что будет со мной, как узнаю я, что ты по ночам к Малюте шастаешь!..

Он схватил ее за руку.

— Я?.. Когда... кто это наклеп...

Она не успела договорить.

— Молчи, сам я сегодня ночью видел, как вошла ты и вышла от него! Не скверни ложью языка хоть перед смертью-то...

— Перед смертью? — машинально повторила она. — Перед какой смертью?..

— Так ты думала, змея подколотная, что жить тебя я оставлю после того, гадину, что не залью я боль свою сердечную кровью твоею поганую?.. Довольно послужил я тебе и дьяволу, пошел, подлый, против своего благодетеля, князя-батюшки, чуть дочь его, святую, чистую, непорочную, не отдал своими руками на поругание извергу! А все кого теща, как не тебя да дьявола?.. За казной сюда пришла, алчная душа цыганская, за сокровищем! Приготовил я тебе сокровище; может, малость грехов твоих неискупимых простится тебе, как примешь ты от руки моей смерть мучительную.

Он продолжал как клещами держать ее левой рукой за правую руку. Она не чувствовала боли

и стояла бледная и безмолвная. При последних его словах она упала перед ним на колени.

— Прости меня, Гриша, Гришень...

— Нет, и не может быть тебе прощенья!.. — сверкнул он глазами.

И, выхватив из ножен висевший у пояса длинный нож, со всего размаху вонзил ей его по самую рукоятку в левую сторону груди. Послышался только какой-то хрип, и острие ножа показалось из спины.

— Вот тебе мое прощенье! — добавил он упавшим голосом, и, повернув нож, так же быстро вырвал его из раны.

Бездыханный труп цыганки упал к его ногам, обагрив алою кровью, брызнувшей фонтаном из раны, девственный снег вековечного дремучего леса. Она не успела договорить фразы и даже издать малейшего стога. Он так ловко отскочил от нее, что ни одна капля крови не попала на него.

Омыв в снегу лезвие ножа, он спокойно обтер его о полы кафтана и вложил в ножны. Самое убийство ничуть не взволновало его; в его страшной службе оно было таким привычным делом. Он даже почувствовал, что точно какая-то тяжесть свалилась с его души и ум стал работать спокойнее.

— Надо зарыть ее, а то, неровен час, рыжий пес нарядит народ ее разыскивать, какой-нибудь шалый и наткнется, доберутся до меня — не отвертись!

За поясом у него был только небольшой топор, который он взял, проходя по заднему двору; чей он был — он не знал, но ему показалось, что он может пригодиться.

Покойная цыганка не обратила внимания на присутствие у него этого орудия, или же, быть может, думала, что оно понадобится для заклепки древесного дупла, куда они спрячут казну.

— Авось им и вырою могилу-то! — подумал он, вертя его в руках.

На глаза ему попался брошенный им ларец. Он с силой ударил по нему топором.

Крышка со звоном отскочила и перед глазами Григория Семеновича заискрились и запрыгали мириады цветных искр. Чего-чего тут не было! Бурмицкие зерна, изумрудные «запоны» и «привесы», алмазные и яхонтовые занятища, золотые перстни с самоцветными камнями.

Один из последних особенно бросился ему в глаза — это был золотой перстень с блестящим яхонтом. Григорий Семенович не раз видел его на руке Малюты.

«Так вот за что она, подлая, любила его, рыжего пса», — промелькнуло в его голове.

Он отобрал кошельки с золотом и рассовал их к себе за пазуху и за голенища. В числе их был и тот кошелек, который он передал покойнице часа два тому назад.

— Ишь, ключ, говорила, не нашла, торопилась, а кошель запереть ухитрилась! — припомнил он заявление Татьяны. — Лгала, собака, до самого смертного часа лгала. Собаке — собачья и смерть!

Он даже усмехнулся.

Когда последний кошелек был вынут, он, как было возможно, закрыл разломанный ларец.

— Схороню с ней, пусть при ней все то останется, за что продала она душу свою, за что приняла и смерть от руки моей.

Он стал усердно рубить мерзлую землю. Работа подвигалась медленно. Когда он кончил, по солнцу было уже далеко за полдень. Осторожно приволок он за ноги к яме уже окоченевший труп и, положив к изголовью ларец с драгоценностями, уложил его в эту наскоро приготовленную могилу. Затем, истово перекрестившись, он стал засыпать ее комками мерзлой земли и снегом.

Через четверть часа могила была им выровнена и даже окровавленный снег разбросан в разные стороны, а через два часа он уже мчался по дороге в Москву.

VIII

В Москве

В московских хоромах князя Василия Прозоровского шла спешная уборка. Двор и сад расчищали, разгребая сугробы снега, которые и свозили на лед Москвы-реки; в самых хоромах мыли полы, двери, окна, сметали пыль. Был конец ноября 1568 года, и в доме князя с часу на час ждали возвращения вельможного боярина с семьей из дальней вотчины. О том, что князь Василий выехал из усадьбы, сообщил прискакавший ранее гонец, привезший распоряжение приготовить и истопить хоромы, словом, привести все в порядок в пустовавших уже несколько месяцев жилых помещениях московского княжеского дома. Приехавший из вотчины сообщил также оставшемуся надзирать за домом ключнику и некоторым из старых княжеских слуг о происшествиих последнего времени: о нападении на старого князя во время охоты и спасении его жизни тем неизвестным молодцом, которого князь еще в Москве приютил в своем доме.

— И изранил же его пес этот, что на князя-батюшку налетел было. Насилу его Панкратьевна с княжной Евпраксией выходили, — говорил посланный.

— С княжной Евпраксией? — разинули от удивления рты слушатели.

— Вестимо с княжной — нашим ангелом! Уж ее взять на то, чтобы о несчастном сердечком поболеть, золотая ведь она у нас и душой, и красой девичьей...

— Это что говорить, вся в покойницу, тоже была божья душа, обо всех сердцем болела, последнего холопа от смерти выхаживала...

— То-то, а тут молодец-то, что князю жизнь спас, не холопом оказывается, а подымай выше...

— Ну! Боярин он, значит?

— Княжеского рода...

— Ври!

— Чего врать! Сам князь Панкратьевне, вишь, сказал, да потом на последах это еще верней объяснилось...

— А что?

— Да уж говорить ли? Тайна пока это великая... болтать зря тоже нечего... заказано...

— Не бабы долготязычные, не разболтаем, — обиженно заявили слушатели. — Скажи,

родимый, поведай...

— Так и быть, что с вами делать, слушайте. Начал рассказывать — кончать надо. Только, чур, уговор — не болтать до поры до времени...

— Уж будь благонадежен — могила...

— Наша-то княжна, баят, с ним сосватана...

— Ой ли!..

— Разрази Господь, коли вру. Сенные девушки уж свадебные песни поют, князя и княжну величают... Повторяю только, говорю вам это за тайну великую... Сам князь Василий промеж себя, княжны, Якова Потаповича да жениха нареченного все это содержит, значит, так надо, а потому лишнему человеку вы ни гугу, нечего зря языком-то чесать...

— Вестимо, нечего; да нам с кем и гуторить? Не с кем, — согласились слушатели.

— Дай Бог князю-батюшке, княжне и жениху ее нареченному всяческого счастья и благополучия. Только почему же радость такую в скрытности содержать? — в раздумье спросил, после некоторого молчания, старик-ключник, тот самый, если помнит читатель, который предлагал князю Василию вернуть и проучить сбежавшую Татьяну.

— Нареченный-то, слышь, боярин опальный. Князь, как приедет, челом бить будет о нем государю, и тогда уж по государевой воле все и объявится... — понизив голос до шепота, произнес гонец.

— Вот оно что!.. Дела!.. Тягостные времена ноне для князей и бояр настали. Да и поделом им, ништо, тоже достаточно крови народной повысосали!.. — заметил бывший среди слушателей угрюмый старик.

— Не князь ли наш, кормилец, кровопийствовал? — остановил его ключник.

— Не о нем речь, — возразил тот. — Таких бояр-то не найдешь, а иные прочие весь свой век на холопьях, на народных хребтах ездили да под царский стол козни подводили... Пора и им было препону положить...

Ключник и остальные молчали.

— Взять бы хоть князя Никиту!.. Нашему-то, кажись, братом доводится, плоть одна, а душа-то ан разная, — совсем передался кромешникам!..

— Да ведь кромешники-то эти слуги царские. Коли царь, по-твоему, по-божески действует для народа, значит, и они... — заметил ключник.

— Стар ты, дедушка, а разумом, не в укор тебе будь сказано, не раскидист, — перебил его угрюмый старик. — Тоже сморозил, прости Господи, околесину — царя-батюшку, надежу-государя с кромешниками сравнил! Ему, царю-батюшке, впору было убежать от бояр-кромольников, ну, и обласкал он людей из простых, думал будут-де меня охранять, да и людишек не обижать, свою бедность да темность памятуя, а коли ошибся в них — не его вина; он, родимый, чай, и не знает своевольств ихних, дел их окаянных... Сверху-то ему всего не видно, не Бог тоже.

— Вестимо так... Правда... Тоже до царя довести о кромешниках — и им спуска не даст, не помилует... Грозен он, да справедлив, батюшка, — слышались возгласы.

Ключник, не найдя ни в ком поддержки, не продолжал спора.

Несмотря на данное слово, вечером того же дня вся оставшаяся в городе княжеская дворня знала в подробности как случай с князем Василием на охоте, так и предстоящее радостное в княжеском доме событие. Впрочем, все говорили обо всем этом шепотом и передавали друг другу под строгою тайною. Все также, в один голос, искренно желали счастья любимой боярышне, ангелу-княжне Евпраксии Васильевне, и пожелания эти, казалось, готовы были исполниться. Княжна, по крайней мере, считала себя счастливой и без страха глядела на грядущее, все же еще пока окутанное для нее неизвестностью. Даже эта неизвестность ничуть не пугала ее. Впрочем, она имела весьма смутное понятие о положении своего нареченного жениха. Она знала со слов отца, что отец Владимира был его искренним другом, что он казнен, что сын его долгое время скрывался в Литве, и чтобы восстановить в настоящее время его права на Руси, необходимо особое челобитье царю, к которому и готовился князь Василий, отписавши о своем положении своему брату, а ее дяде, князю Никите, прося его содействия и совета. В простоте своей души, княжна полагала, что если отец и дядя возьмутся за это дело, то все непременно окончится благополучно; она считала их за людей, для которых возможно все; значит, о чем же было беспокоиться? С Владимира, ее дорогого, милого Владимира снимут опалу, непременно снимут, — самое слово «опала» ей было не совсем понятно, — затем она пойдет с ним под венец. Свадьба будет пышная: такая же пышная, как была у ее матери, когда она выходила за ее отца и о которой с восторгом рассказывала Панкратьевна, вспоминая отчетливо каждую подробность этой церемонии, а может, будет сам царь, который и приблизит к себе ее молодого мужа за его ум, за доблести. Всем будет хорошо: и отцу, и дяде, и ей, и... Якову... Так мечтала молодая девушка, а при воспоминании о Якове Потаповиче сердце ее, против ее воли, до боли сжималось какою-то безотчетною жалостью. Это чувство только отчасти омрачало ее радужное настроение. Зачем именно тогда, когда она так счастлива, около нее есть человек, которого она любит, как брата, который спас ее из рук ее врагов и который... несчастлив. Что Яков Потапович несчастлив — она догадывалась каким-то чутьем, и ее не могли обмануть, как обманывали других окружающих, его спокойное настроение, его приветливая улыбка, его счастливый вид. Княжна знала более других: знала то, что знала только еще Татьяна, что Яков Потапович любит именно такую любовь, которая исключает возможность его счастья при счастии ее с другим. Она прежде только об этом догадывалась, но ей стало это ясно с памятной для нее беседы в саду с глазу на глаз в эту ужасную ночь неудавшегося, к счастью, ее похищения Малютой. Оттого-то она была так поражена, когда отец ее сказал ей, что выдать ее замуж за князя Воротынского подал ему мысль Яков Потапович, тот самый Яков Потапович, который сам безумно любил ее. Все это сначала не укладывалось было в головке княжны.

«Может, разлюбил?» — задавала она себе мысленно вопрос.

Но она вспоминала изредка и теперь подмечаемые ею его взгляды, полные безграничной любви, загоравшейся невольно в его глазах, которые он поспешно опускал вниз, и должна была откинуть от себя эту мысль. Когда она постепенно все более и более стала привязываться к своему жениху, стала, как ей, по крайней мере, казалось, все более и более любить его, она стала яснее понимать и чувство к ней Якова Потаповича, и кроме жалости к нему, в ее уме и душе появилось безграничное уважение, почти благоговение перед этим чувством. Воспитанная, как многие девушки того времени, на священных книгах, следовательно, религиозно настроенная, княжна додумалась, что это чувство к ней со стороны названного брата и есть именно та евангельская любовь, которая выражается тем, что любящий должен душу свою положить за друга своего, что это чувство именно и есть такое, которое даже не нуждается во взаимности, которое выше этого все же плотского желанья, а находит удовлетворение в самом себе, именно в этом твердом решении положить свою душу за друга. Княжна сравнивала эту любовь с своим чувством к Воротынскому и находила, что и она была бы способна на такой подвиг; что даже возможность такого подвига доставила бы ей то жгучее наслаждение, которое, пожалуй, неизмеримо выше наслаждения чувствовать себя любимой взаимно.

Остановившись на этой мысли, ухватившись, так сказать, за нее, княжна даже перестала жалеть Якова Потаповича, перестала думать о том, что она так обязана ему и так неблагодарна относительно его, — эта мысль тоже ее сначала немало мучила, — а даже решила и вперед не отказываться от его услуг, какие бы они ни были: большие или малые. Она предугадывала, что этот отказ был бы для него горячее ее кажущейся неблагодарности, и не обижалась. Отдать всецело свою судьбу, и даже судьбу ее будущего мужа, под его покровительство — вот единственное возмездие, которое она могла предложить ему за его бескорыстно и бесповоротно отданное ей великодушное и благородное сердце. Она остановилась на этом возмездии и спокойно, кроме свиданий с князем Владимиром в опочивальне старого князя, беседовала с ним под покровительством и наблюдением Якова Потаповича, обманув тем или другим способом бдительность старухи Панкратьевны.

Они втроем строили планы будущего, рисовали картины, одна другой заманчивее, предстоящей жизни в Москве зимой, а летом в тех или других вотчинах...

IX

Письмо князя Никиты

Безучастнее всех к грезам и мечтам о будущем относился главный их виновник, если можно так выразиться, князь Владимир Никитич. Это бросалось в глаза Якову Потаповичу, это не ускользнуло от внимания и княжны Евпраксии. Первый объяснял это беспокойством своего нового друга за исход челобитья у царя и всеми силами старался вдохнуть в него бодрость и надежду.

«Бедняжка, — думал он, глядя на задумчивого, как бы растерянного Воротынского, — он так привык к ударам мачехи-судьбы, что не верит своему счастью, не верит в возможность для него светлого будущего; это свойство всех глубоко несчастных людей».

И добрый, честный Яков Потапович принимался развлекать угрюмого и неразговорчивого Владимира.

Княжну Евпраксию такое поведение ее нареченного жениха сильно озадачивало и огорчало. Она не могла понять причин этого почти безразличного отношения к их будущему со стороны любимого ею и любящего ее человека. Он говорил же и говорит ей о любви, он берет ее, наконец, замуж, связывает с нею всю свою жизнь, — значит, любит ее. Огорчали ее его сдержанность не только при отце и Якове Потаповиче, но даже в те редкие минуты, которые им удавалось проводить наедине. Он еле отвечал на ее ласки, он, казалось, избегал этих ласк, точно они тяготили его. Так думалось ей иногда, и княжна старалась уверить себя, что она преувеличивает, что робость его и задумчивость объясняется его положением — положением сироты. Княжна кончала тем, что обвиняла себя же в том, что осмеливалась быть недовольною ее милым, дорогим будущим мужем. Она вспоминала те мучительные думы, которые терзали ее бедное сердце после того, когда она была принуждена удалиться от постели выздоравливающего Владимира, не зная даже, встретится ли она с ним в жизни. Узнать человека, заронившего в сердце чувство любви, узнать чуть ли не на мгновение и потерять его навсегда, потерять не мертвого, а живого, знать, что он живет, что его любит другая, что он, может быть, сам любит, и жить... жить... Думать, что, быть может, это произошло только потому, что он не знал любящей его девушки, даже не видал ее, что иначе, быть может, она нашла бы отклик своей любви и в его сердце, и они были бы счастливы... и жить... Нет, этого не может быть! Господь не допустит этого?..

Так думала она тогда, и теперь, когда Бог на самом деле, по ее мнению, не допустил этого,

она упрекала себя за свое недовольство, в котором, казалось, выражалась ее неблагодарность за неизлечимое милосердие Создателя.

Князь Василий тоже заметил некоторые странности в отношениях своего будущего зятя к невесте, но, как и княжна, приписал его холодную с ней сдержанность сиротскому положению юноши, а также беспокойству за челобитье, и уважению, питаемому им к нему и княжне; ему даже нравилось такое поведение молодого человека, не позволявшего себе увлекаться до решения его участи царем и до свадьбы.

За исход своего ходатайства перед царем за сына казненного князя Никиты Воротынского сам князь сильно беспокоился и с нетерпением ждал ответа на посланную им грамотку к брату, в которой он откровенно изложил ему как все происшедшее, так и свои намерения, прося совета и помощи. Князь Василий решил ехать в Москву тотчас по получении ответа на это письмо.

Наконец ответ этот был получен. В нем князь Никита, с свойственной ему дипломатической осторожностью, весьма пространно и весьма туманно говорил и за, и против предпринятого его братом решения. «Конечно, — писал он, — род князей Воротынских ничуть не ниже нашего рода, и брак одного из его представителей с моей племянницей при других обстоятельствах и в другое время был бы и для меня не только желателен, но даже более чем приятен, особенно при тех качествах, которыми, оказывается, наделен молодой князь, но, приняв во внимание переживаемое тяжелое время, время гонения боярских родов, желание породниться с отпрыском опального рода князей Воротынских, друзей изменника Курбского, одно имя которого приводит доньне царя в состояние неистовства, является опасною игрою, в которой игрок должен иметь мужество поставить на карту не только милость и благословение царя, но даже и самую жизнь свою и своего семейства. Хотя я, — говорил он далее в своем письме, — и вполне разделяю твое мнение, что сын не может быть ответчиком за преступления отца, но отвечать за то, что царь так же посмотрит на это, не могу. Я не решусь даже стороной намекнуть на это государю, особенно после высказанного недавно мнения Малютой Скуратовым, мнения, разделенного и царем, по поводу невинно погибшего на плахе юноши, одного из Колычевых: „Если он и не виноват был пока, то непременно был бы виноват впоследствии, так как уже с молоком своей матери он всасывал преступные замыслы против царя. Значит, если казнен несколькими годами ранее, то тем лучше, а то Бог весть еще, чем окончилась бы его преступная деятельность для царя и России, если бы его оставить в живых и дать возможность проявить эту деятельность!“ Об этом мнении Скуратова, повторяю, разделенном и государем, который при всех сказал ему: „Верно, верно, отец параклисиарх! Умные речи приятно слышать!“ — только и говорят теперь при дворе, и большинство опричников находят, что Малюта прав, что в боярских крамольных родах яблоко от яблони недалеко падает. Приезжай в Москву, — так заканчивал хитрый царедворец свое послание, может быть, в чем и успеешь, я же пока постараюсь подготовить почву и стороной разведать, как может быть принято такое ходатайство. Совет мой — до поры до времени держать не только это сватовство, но даже и самое пребывание в твоём доме молодого Воротынского в строжайшей тайне. По-моему даже лучше бы ты сделал, если бы оставил его в вотчине, а не возил в Москву, где ты, как тебе известно, всегда будешь зависеть от последнего холопа, которому пожелается на тебя донести. Как ты ни любим ими, но на всех их положиться нельзя».

Письмо брата далеко не утешило князя Василия, хоть он, по правде сказать, и не ожидал от него особого утешения, тем не менее он не упал духом и приказал собираться в Москву. Послав гонца велеть приготовить хоромы, князь не оставил мысли — по приезде, уже на словах посоветовавшись с братом, явиться к царю с челобитьем, тем более, что брат не отказался помочь ему, а только уведомлял, что, по его мнению, это будет трудно, а главное — опасно.

— Себялюбец, — подумал про себя князь, — да и трусоват малость, не в укор будь ему

сказано: всякие страсти ему чудятся; а может, с Божьей помощью, все обойдется и благополучно...

Над советом брата — оставить Владимира в вотчине — он призадумался.

«Надо переговорить с ним самим; пусть сам решает».

При первом свидании князь Василий прочел письмо брата молодому Воротынскому. На губах Владимира мелькнула чуть заметная улыбка.

— Поверь, князь, что, если царь не уважит твое челобитье, я сам выдам себя головою и спокойно пойду на казнь и мученья, чтобы только не повредить тебе и княжне, которую я люблю больше жизни... На это, клянусь тебе Господом, у меня хватит решимости; но, подобно трусу, скрываться у тебя в вотчине, подводя тебя под царский гнев, быть вдали от тебя, князь, и от княжны, моей нареченной невесты, вдали от места, где решается вопрос о моей жизни или смерти, я не решусь... Лучше я уйду от тебя куда глаза глядят, лучше я сам покончу с моею постылою жизнью...

В голове его звучала бесповоротная решимость и непритворные слезы. Князь обнял его.

— Я не ожидал от тебя иного ответа; поедем вместе, будь что будет...

Владимир с чувством припал к руке князя, оросив ее слезами.

На другой день после этого разговора длинный княжеский поезд потянул обратно в Москву. Въехав в столицу, князь Василий, Яков и Панкратьевна особенно и набожно осенили себя крестным знамением. Не перекрестился один Владимир Воротынский. Он сидел погруженный в глубокую думу.

О чем была эта дума?

Х

Жалует царь, да не жалует псарь

Прошло несколько дней. На дворе стоял ноябрь в самом начале. В Москве ожидали приезда царя по случаю, как шли толки в народе, обручения красавицы-княжны Евпраксии Васильевны Прозоровской с сыном казненного опального вельможи — молодым князем Воротынским, которому сам Иоанн обещал быть вместо отца.

Было около полудня, когда Иоанн быстро пронесся по московским улицам с своими опричниками. Пешеходы, еще издали завидя эту скачку, спешили поскорее укрыться куда попало. Они делали это очень благоразумно, так как зазевавшимся грозила неминуемая опасность быть раздавленными лошадьми. Прискакав в Кремль и войдя в царские палаты, царь взошел в свою опочивальню, крикнув за собою одного Малюту Скуратова. Он сел в высокие кресла, а верный клевет молча стоял перед ним, ожидая, когда тот заговорит. Молчание продолжалось довольно долго. В палате царствовала совершенная тишина. Малюта стоял перед царем, боясь шелохнуться, затаив дыхание, устремив неподвижно свои суровые глаза на него, пылливо следя за малейшим его движением. Наконец царь поднял голову и, мрачно взглянув на Григория Лукьяновича, проговорил.

— Ты чего там, дорогой, с Алешкой Басмановым насчет Прозоровских перешептывался? Думал, чай, не слышу я? Шалишь, брат, уши еще не заложило! Говори, выкладывай, что

знаешь, в лицо мне говори, а не за спиною! Знаешь, что не люблю я этих шепотков слуг моих!

Очи царя загорелись гневом, и он сильно ударил острием костыля в пол.

— Не таюсь я перед тобой, великий государь! Что за глаза, то и в глаза скажу... Спокойствие твое и государства твоего мне дороже жизни моей нестоящей, и гибель твоя и разорение русского царства страшнее гнева твоего... Казнить хоть вели, а говорить что надо буду...

— Какая гибель?.. Какое разорение?.. — вскинулся на него Иоанн. — Что загадки задаешь? Говори прямо, змей лукавый!

— Не ошибись, великий государь, не другого ли змея на груди своей отогреваешь, да не одного, а двух больших и одного змееныша, а во мне, верном холопе твоём, лукавства не было и нет.

Малюта, говоря это, почти хрипел от бушевавшей в нем внутренней злобы. Видно было, что для него наступила такая решительная минута, когда не было иного выбора, как на самом деле идти на казнь, или же добиться своей цели и заставить царя сделать по-своему.

— Опять ты за свое! Али кому я милость окажу, али как отличу, сейчас тебе тот ворогом лютым становится, — медленно произнес Иоанн, обводя своего любимца долгим подозрительным взглядом.

Григорий Лукьянович выдержал этот взгляд.

— Не мои вороги, государь, а твои и царства твоего! — глухим голосом ответил он.

— Чем же докажешь ты, что князья Прозоровские и мальчик-князь Воротынский — наши вороги? — ядовито спросил царь, не спуская с него все еще гневного взгляда.

— Докажу, великий государь, только яви божескую милость, выслушай, и по намеднешнему, когда в слободе еще говорить я тебе начал, не гневайся... Тогда еще сказал я тебе, что ласкаешь ты и греешь крамольников. Хитрей князя Никиты Прозоровского на свете человека нет: юлит перед твоею царскою милостью, а может, и чарами глаза тебе отводит, что не видишь, государь, как брат его от тебя сторонится, по нужде лишь, али уж так, по братнему настоянию, перед твои царские очи является...

При слове «чары» Иоанн стал боязливо оглядываться, поспешно креститься и шептать:

— Чур меня, чур меня!

Когда же Малюта начал говорить о редких посещениях князем Василием двора, царь, как бы про себя, молвил:

— Редко, редко видал я его, это что говорить, а когда и приезжал, так сидит, бывало, такой молчаливый, насупленный, точно кто его обидеть собирается...

— О старом времени, адашевском, тоскует, о святом, по его, старце Филиппе печалуется, — вставил Малюта, — тебя, царь батюшка, пуще зверя какого боится, на стороже держится...

— Чего же ему-то меня бояться?

— Кажись бы нечего, кабы на уме чего не было. Я и сам так смекал; чует сердце мое виноватого... А как узнал я из челобитья его тебе, что выдает он свою дочь за сына явного крамольника, так кровью облилось оно... Пораздумай сам, великий государь, откуда вывез он его? Из-под Новгорода! Ты сам, чай, знаешь, какой народ у тебя новгородцы?! О вольностях

своих не забыли и каждый час Литве норовят передаться...

— Он на Москве еще к нему пришел, князь Никита мне сказывал, — возразил царь, но в голосе его уже прозвучали ноты подозрительности.

— А с чего же, великий государь, он его столько времени у себя хоронил и тебе не докладывал? Да и сам князь Никита не мог не знать, кто живет в доме его брата. Так с чего же он твою царскую милость не осведомил? Значит, был у них от тебя тайный уговор — скрыть до времени сына крамольника.

— Тэк... тэк... отец параклисиарх... пожалуй, и прав ты... Ну, да уж я помиловал... — почти с раскаянием заметил Иоанн.

— Что ж, что помиловал?.. Коли они тебе очи отвели, так милость к ним на гнев должна обратиться, по справедливости. Ужель дозволишь, великий государь, им над тобой в кулак посмеиваться, мы-де, по-прежнему, царем ворочаем; кого захотим, того он и милует, не разобрав даже путем — кого...

— Как не разобрав? — вспыхнул царь.

— Да так, великий государь, мальчишку-то ты нонче первый раз увидишь и прямо иконой благословлять будешь, вместо отца станешь. А может он, коли не сам, так со стороны подуськан на тебя. Да и пословица не мимо молвится: «Яблоко от яблони недалеко падает». Может, он по отцу пошел, тоже с Курбским в дружестве; али норовит вместе со своими благодетелями перебежать к старому князю Владимиру Андреевичу.

— А разве ты что слышал? — в нескрываемом беспокойстве быстро спросил Иоанн.

— Положительных доказательств нет, на душу и греха брать не буду, — отвечал Малюта; — да не в этом и дело, великий государь, времена-то переживаются тяжелые и милость-то ноне надо оказывать не так, сплеча, а с опаскою: семь раз отмерить, а потом уж и отрезать: мне что, о тебе, великий царь, душою томится твой верный раб. Вести-то идут отовсюду нерадостные... Не до свадеб бы боярам, помощникам царя.

Григорий Лукьянович вынул из-за пазухи грамоту за печатью.

— Перед самым отъездом твоим, великий государь, прибыл в слободу гонец из Костромы, от воеводы князя Темникова, с грамотой; ты уж на коня садился, так я взялся тебе передать эту грамоту.

Иоанн стремительно выхватил ее из рук Малюты, сорвал печать и начал читать про себя. По мере чтения лицо его то бледнело, то покрывалось яркой краской. Прочтя, Иоанн, стараясь быть по возможности спокойным, дрожащим, однако, голосом сказал, подавая грамоту Малюте:

— Прочти и полюбуйся! Вести на самом деле нерадостные... ты прав...

Костромской воевода, князь Темников, уведомлял государя, что граждане и духовенство Костромы встретили его брата, князя Владимира Андреевича, с крестами, хлебом и солью, великою честью и с изъявлением любви. Князь Владимир проезжал Кострому во главе войска, следовавшего для защиты Астрахани, начальство над которым было вверено ему самим царем.

Григорий Лукьянович знал со слов гонца о содержании грамоты, и получение ее именно в тот день, когда царь ехал оказать великую милость семейству князей Прозоровских, было как раз на руку свирепому опричнику, желавшему во что бы то ни стало изменить решение царя относительно помилования жениха княжны Евпраксии, что было возможно лишь возбуждив в

нем его болезненную подозрительность. Он достиг этой цели.

— Что ты думаешь? — прохрипел Иоанн, совершенно красный от пережитого волнения.

— Измена! — лаконически-мрачно произнес Малюта.

— Воистину так! — задыхаясь, вымолвил царь. — Владимир, Владимир, года и милость моя не изменили тебя... Я лежал на дне смерти, а ты, брат мой, радовался этому и подкупал бояр и воинов на измену... Ты хотел отстранить от престола род мой и сам надеть на себя шапку Мономаха... Но я выздоровел... Господь не попустил совершиться несправедливости, и во имя родства я простил преступника, осыпал его милостями, вверил ему начальство над ратью, и что он?.. Он вновь замышляет измену, ласкает и льстит народу и боярам... Неблагодарный! Ты не перестаешь ковать ковы против меня... Но довольно, отныне я снова буду строгим судьей... Я должен защитить себя и род мой от брата-крамольника!..

— И от других его единомышленников, а не метать жемчуг твоей милости перед свиньями, — глухо добавил Григорий Лукьянович.

Иоанн в изнеможении откинулся на спинку кресла.

— Верно, верно, Григорий. Ты один верный слуга мой, не боящийся сказать мне правду.

Лицо Малюты исказилось злобно-довольною улыбкою.

— Слышал я, великий государь, что и в Новгороде, этом гнезде вольности и крамолы, тоже неладно, — начал он пониженным шепотом.

— А что? — испуганным и уже совсем ослабевшим голосом спросил царь.

— Не тревожь себя, государь, я настороже. Как соберу справки обо всем, тебя осведомлю, не допущу торжества крамольников, горло перегрызу своими зубами всякому за тебя, царь-батюшка.

Иоанн протянул ему руку. Григорий Лукьянович почти со страстью прильнул к ней.

— Только хотел я молвить тебе, великий государь, что вотчина та князя Василия Прозоровского близ Новгорода, в Шелонской пятине, и оттуда же он привез к себе этого князька, сына заведомого крамольника.

Царь молчал. Над его высоким челом, медленно приподнимаясь, слегка пришли в движение пряди редких волос — признак прихождения в ярость.

Малюта продолжал:

— Сыскать бы о делах того князька следовало: откуда он, до сей поры где жил, с кем дружествовал. Милость твоя не уйдет, и после оказать успеешь, коли стоит он. А то слышал я наемни от Левкия, что есть люди, напускающие по ветру, кому хочешь, страхи, видения сонные и тоску, и немощь душевную под чарами. Неспроста что-то, что все они милость у тебя вдруг обрели сразу небывалую...

Ему не дал договорить вскочивший Иоанн.

— Слышишь, — загремел он, — чтобы про этого князька я больше не слыхал...

Он не договорил и упал в кресло в судорожном припадке. Волосы его поднялись дыбом, все лицо исказилось судорожными передергиваниями. Малюта, привыкший к подобного рода припадкам Иоанна, схватил его в свои мощные объятия и держал над креслом почти на весу,

не давая удариться головою бившемуся в его руках царю. Припадок ослабел. Григорий Лукьянович бережно усадил царя в кресло и стал около. Иоанн еще не приходил в себя и, с закрытыми глазами, полулежа в кресле, хрипел; у углов полуоткрытого рта выступала белая пена. Так всегда было в конце припадка. Малюта знал это и спокойно ожидал пробуждения царя от болезненного сна. Его дело было сделано: царь изрек жестокое приказание относительно жениха княжны Прозоровской. Более Малюте ничего не нужно было в данное время; гибель обоих князей Прозоровских он решил отложить, так как в его руках не было еще собрано если не данных, то, по крайней мере, искусно подтасованных доказательств их измены, а приступать с голыми руками к борьбе с все-таки «вельможными», сильными любовью народа врагами было рискованно даже для Малюты. Относительно их не вырвешь так легко решения от грозного царя даже во время припадка, а если и получишь его, то царь, придя в себя, может одуматься и тогда придется ему представлять несомненные доказательства, которые он будет взвешивать и рассматривать с присущею ему подозрительностью. Это не какой-нибудь сын опального князя, а еще незапятнанные ни малейшим подозрением князя, столпы древнего боярства, к заслугам которых даже Иоанн внутренне относится с уважением. Их не сломишь сразу, под них надо глубоко подкопаться, да и то, когда будут валиться, умеючи отскочить в сторону, чтобы, неравно, и самого не задавили.

Такие, или почти такие думы проносились в голове Малюты Скуратова, стоявшего около все еще хрипевшего царя.

— «Погубить бы только Яшку проклятого да свалить князя Василия, княжну в свою власть заполучить, а князь Никита пусть живет, по свету валандается... ништо...» — неслись в голове опричника планы будущего.

Иоанн очнулся и помутившимися глазами огляделся кругом. Выражение боязни еще не исчезло с его лица.

— Вернись-ка, великий государь, в слободу, там безопаснее, — наклонился к нему Григорий Лукьянович, — а я здесь останусь, сам доеду до князя Василия, открою глаза и ему, и князю Никите относительно их любимца, может, они и сами согласятся, что, по нынешним подозрительным временам, надобно добраться до истины.

— Дело, Лукьяныч, дело; вели готовить лошадей.

Не прошло и часа, как царский поезд снова выехал из Москвы в Александровскую слободу. В Москве остался один Малюта с избранными им опричниками.

XI

Неожиданный удар

В то время, когда в московских царских палатах происходила вышеописанная сцена, в хоромах князя Василия приготовлялись к встрече царя и гостей из Александровской слободы.

Все лица, начиная с лиц самого князя Василия, княжны Евпраксии, Якова Потаповича и кончая последним княжеским холопом, убиравшим стол для почетного «царского» пира, носили радостно-праздничное выражение.

Челобитье князя Василия перед грозным царем за сына своего покойного опального друга

имело успех, превзошедший даже все ожидания. Царь не только простил заочно будущего его зятя, но сам пожелал благословить его под венец с княжною Евпраксией и сам же назначил день обручения.

— Тогда и увижу твоего молодца; верю тебе, что достоин он быть тебе сыном, а мне надежным и верным слугой, — сказал царь, допуская сиявшего от радости князя Василия к своей руке.

Тот облобызал царскую руку и поклонился ему до земли.

— Да охранит тебя Господь за неизреченную милость ко мне, верному рабу твоему. Дозволь привести его, государь, перед твои царские очи, дабы он сам мог облить слезами благодарности твою державную руку.

— Зачем тебе, старина, возить его сюда, попусту трепать свои старые кости? Погляжу его в день обручения, а к тому времени смекну и дело какое дать ему; коли ты говоришь, что разумен он не по летам, так посажу я его в посольский приказ.

— Разумен, государь, уж так разумен... Да сам увидишь, чего мне выхвалять...

— Увижу, увижу... Зови и моих молодцов на свадьбу, всех зови, — заметил Иоанн, отпуская князя.

Князь Василий не преминул, конечно, исполнить царскую волю и объехал всех приближенных к царю опричников с просьбой — не обидеть его отсутствием на обручение его единственной дочери. С искренним, неподдельным радушием позвал он и Григория Лукьяновича; под впечатлением почти неожиданной радости, он даже забыл свою к нему неприязнь.

— Приедем, приедем, князь Василий! — каким-то загадочным тоном ответил Малюта.

«Только будет ли у тебя в этот день обручение?» — подумал он про себя.

Радостный князь не заметил его тона; ему было не до того, он спешил в Москву, порадовать своих домашних, трепетавших за исход его беседы с царем.

По приезде домой он тотчас же приказал готовиться к торжеству. Тревога заменилась общим ликованием. Один только жених, князь Владимир Воротынский, видимо, по временам не разделял общей радости. Он казался задумчив и печален, хотя и силился подделываться под торжествующий тон его окружающих, но порой очень неудачно. Впрочем, окружающие эти едва ли замечали деланность его настроения, так как не могли допустить и мысли, чтобы «счастливый юноша» мог иметь какую-либо причину не ликовать и не радоваться. Будущее, по мнению их, со всех сторон только улыбалось ему: счастливый любимый жених, не нынче завтра муж первой московской красавицы, уже заочно попавший в милость к царю, обещавшему заменить ему отца, — чего еще можно было желать ему?

Не ускользнуло нервное состояние духа Воротынского от считавшего себя его другом Якова Потаповича, и честный юноша тщетно ломал голову над разрешением вопроса: что бы это могло значить? Он решительно не мог понять этого, так как от одной мысли о том, что, если бы он, Яков, мог быть на его месте, бедный юноша захлебывался от восторга.

«Быть может, в это счастливое переживаемое им время его сильнее удручает его сиротство? Быть может, он вспоминает своих мать и отца и то, как порадовались бы они, глядя на выпадающее на его долю счастье», — догадывался он.

На этой мысли он и остановился. Она казалась ему правдоподобной; сирота сам, он мог представить себе подобное, омрачающее самый светлый горизонт будущего, чувство. И в самый день, назначенный для обручения, по лицу жениха нет-нет да и мелькало какое-то

выражение тревожного ожидания. В расшитом парчовом кафтане, еще более оттенявшем его красоту, он находился с князем Василием и Яковом Потаповичем, заменявшим ему «дружку», в приемной горнице. Тут же стоял аналой и сидел старик-священник, отец Михаил, духовник княжеского дома.

Невеста и жених жили, что случалось редко, в одном доме, а потому первая, уже совершенно одетая в белый шитый серебром сарафан, вся как бы осыпанная драгоценными камнями, в густой белой фате, находилась в своей светлице, окруженная лишь своими сенными девушками, одетыми тоже в совершенно новые нарядные сарафаны, подарок счастливой невесты.

Много было в этих приготовлениях к обручению совершено не по старому обычаю, на что про себя сильно ворчала Панкратьевна. У княжны не было подруги среди боярышень, да на Москве и не было боярышень. Все было готово, и с часу на час ждали приезда царя. У ворот поставлены были люди, чтобы тотчас же доложить о появлении в улице, в конце которой были княжеские хоромы, царского поезда.

— Едут, едут... — прибежал запыхавшийся слуга, и князь Василий бросился на крыльцо для встречи, приказав сказать дочери, чтобы немедленно сходила вниз.

Оказалось, что слуги ошиблись; это приехал из Александровской слободы князь Никита, с разрешения царя опередивший его по дороге. С ним было множество слуг. С радостным лицом обнял он брата, поцеловал племянницу и дружески поздоровался с князем Владимиром, Яковом Потаповичем и священником отцом Михаилом.

— Скоро ли государь? — спросил князь Василий.

— Теперь, должно, скоро, вместе выехали из слободы, только я для встречи и чтобы тебя оповестить со своею челядью поторопился, — отвечал князь Никита.

Княжна снова удалилась в свои горницы.

— Государь-батюшка стал ноне совсем как при царице Анастасии, царство ей небесное, место покойное, — заговорил князь Никита, — доступен, ласков и милостив ко всем, а ко мне нечего и молвить, уж так-то милостив все это время с твоего, брат, отъезда был, как никогда; шутить все изволил, женить меня собирается... О тебе расспрашивал, о женихе, о невесте... Я все ему, что знал, доподлинно доложил...

— И ноне весел?

— Весел, не в пример другим дням весел... Алеша Басманов мне сказывал, что везет он с собой целый ящик камней самоцветных в перстнях, запястьях и ожерельях в подарок дочери твоей, а моей племяннице, а для жениха соболей...

— Подай, Господи, великому государю многие лета здравия и благоденствия, — почти хором сказали все присутствующие, кроме князя Воротынского.

Он сидел понурился голову и, видимо, думал невеселые думы, что даже обратило внимание князя Никиты.

— Ты чего, сокол ясный, затуманился? Кажись, не ко времени?

Владимир вскинул на него свои красивые глаза, но тотчас прикрыл их выражение ресницами.

— О покойном батюшке взгрустнулось. Кабы был он жив, подумалось, быть может, царь-то и его бы помиловал... — отвечал он после некоторой паузы.

— Чего же думать о том, чего не воротишь? С того света его не вернешь, царство ему небесное! — заметил князь Василий.

— Он теперь на небе за кровного радуется, — счел нужным вставить слово отец Михаил.

— Истинно, батюшка, радуется. Его праведными молитвами, может, все и сделалось... Услышал его Господь Вседержитель и смягчил к сыну его цареву сердце на радость нашу с братом, друзьям покойного князя Никиты, — подтвердил витиеватый царедворец.

— Верно, верно! — закивал головой в сторону брата князь Василий.

Владимир Воротынский между тем пересилил себя и с веселым лицом начал беседовать о чем-то с Яковом Потаповичем.

— Чего же это не едет государь? Уж в дороге чего, избави Бог, не случилось ли? — стал беспокоиться князь Василий.

— Чему случиться?.. Может, едут с прохладцем... — успокаивал его брат.

— Едут, едут! — раздались крики на дворе.

Вбежавший слуга подтвердил известие.

Княжна Евпраксия снова вошла в горницу, где находились мужчины.

Через несколько минут двор наполнился опричниками, и выбежавшие на крыльцо для встречи царя и гостей князь Василий и Никита увидели входящего по ступеням одного Малюту.

На его толстых губах змеилась злобная усмешка.

Холодом сжались сердца обоих братьев.

— А государь? — упавшим голосом спросил князь Василий, вводя в горницу «царского любимца».

— Государя вам долго, смекаю, подождать будет надобно... — растягивая умышленно слова, отвечал Григорий Лукьянович и обвел всех присутствующих торжественным взглядом, метнув им в особенности в сторону княжны Евпраксии.

Лица всех приняли вопросительное выражение.

— Государю сильно занедужилось, и он вернулся в слободу, а меня послал сюда уведомить...

— А не наказал, до какого дня отложить обручение? — спросил князь Василий.

Князь Никита, поняв сразу, что Малюта, этот вестник несчастья, ведет с ними злую игру, молчал, бессильно опустив голову на грудь.

— Нет, не наказывал, — злобно усмехнулся опричник, — да только, смекаю я, и обручение отложить в долгий ящик придется, потому что до молодца вот этого, — он указал на князя Владимира и сделал к нему несколько шагов, — у меня дело есть... По государеву повелению, надо мне будет с ним малость побеседовать.

— Где прикажешь? Может, нам выйти?.. — начал было князь Василий.

— Не здесь, князь; мы место для беседы найдем укромное, без лишних людей, да и тебя с

семьей беспокоить мне не приходится, я его с собой возьму... Пойдем, князь Воротынский, — он с особой иронией подчеркнул его титул, — по приказу царя и великого князя всея Руси Иоанна Васильевича, ты мой пленник! — торжественно произнес Малюта, подходя к Владимиру и кладя ему руку на плечо.

Тот стоял, низко опустив голову.

Князь Василий понял.

В тот же момент раздался душу раздирающий крик. Княжна Евпраксия, как разъяренная львица, бросилась между князем Владимиром и Григорием Лукьяновичем и с силой хотела оттолкнуть последнего. Все это произошло так быстро, что никто не успел удержать ее.

— Не дам его, не дам...

— Не замай, красавица, на твой пай молодцов хватит, да и с этого красота-то не слиняет вся, я его самую малость пощупаю... — захохотал Малюта, одною рукою с силой отстраняя княжну, а другою направляя к выходу Воротынского.

— Будь же ты проклят... — не договорила княжна и без чувств упала на руки подскочивших отца, дяди и Якова Потаповича.

Григорий Лукьянович насмешливо оглядел эту группу, злобно сверкнув глазами в сторону Якова Потаповича, и вышел, пропустив впереди себя князя Владимира. Последний тотчас же по выходе на крыльцо был окружен опричниками, связан и положен в сани, в которые уселся и Малюта. Вся эта ватага выехала с княжеского двора, оставив в полном недоумении собравшуюся поглазеть на царя княжескую дворню.

Находившиеся в княжеских хоромах также долго не могли прийти в себя от неожиданного удара. Княжну Евпраксию замертво отнесли в опочивальню. Бледный, испуганный насмерть отец Михаил стоял в глубине горницы. Яков Потапович с помощью сенных девушек понес бесчувственную невесту. Князь Василий и Никита в застывших позах стояли посреди комнаты и растерянно глядели друг на друга.

— Что же это значит, брат? Шутка, что ли, над верным слугой? Глумление над ранами моими, над кровью, пролитой за царя и за Русь-матушку? Али может, на самом деле царю сильно занедужилось и он, батюшка, к себе Владимира потребовал!.. Только холоп-то этот подлый не так бы царскую волю передал, кабы была она милостивая, — почти прошептал князь Василий.

— Не видать разве, святая ты простота, — горько усмехнулся князь Никита, — что слопал, видимо, нас рыжий пес, улучил минуту, когда я вперед ускакал, и обнес змеиным языком своим. Такую, быть может, кашу в уме царском заварил, что и не расхлебашь. Подозрителен государь не в меру; в иной час всякой несуразной небылице поверит, а прощелыга Малюта ой как знает улучшить такой час...

— Да чем мы ему-то поперек дороги стали? Я, кажись, далече от царя, а ты с ним был в дружестве...

— В дружестве... — снова усмехнулся князь Никита. — Это было, да давно сплыло; почитай с год как на меня он зверь-зверем смотрит.

— Да за что же?

— А пес его разберет, что в его дьявольской душе таится!.. Танька-ли, цыганка, что перебежала от тебя, да у него, баят, в полюбовницах состояла, чего нагуторила, — ноне мне сказывали, и от него она сбежала, — али на самом деле врезался старый пес в племянницу...

— А, так вот что!.. Теперь я понял... Горе нам, горе! — всплеснул руками князь Василий и, упав на грудь своего брата, зарыдал.

Князь Никита сам стоял погруженный в мрачные думы о неизвестном, тревожном будущем.

— Господь милосерд!.. — подошел к ним отец Михаил. — Скорбь отчаянная — грех тяжкий... Надо спешить к царю, может, вам и удастся расстроить козни вражеские и положит он снова гнев своей царский на милость.

— И впрямь, — заметил князь Никита, — батюшка разумное слово молвил... Едем в слободу... Только бы не было поздно?

XII

Опала

Оказалось, на самом деле было поздно. В слободе князей Прозоровских ожидал далеко не приветливый прием: царь не допустил их перед свои очи. Опричники, накануне дружившие с князем Никитою, а иные даже заискивавшие в нем, встретили обоих братьев холодным невниманием и злобно радостными усмешками. Князья вернулись в Москву «опальными». Это страшное слово во всем его тогдашнем громадном значении не совсем и не всем понятно в настоящее время. Не видать очей государевых по его приказу было самым тяжким наказанием для истинно русских душою бояр; в описываемое же время оно соединялось в большинстве случаев с другими роковыми и кровавыми последствиями. «Опала», кроме того, имела и чисто внешние формы, говорившие всем видевшим боярина, что царь повелел ему «отойти от очей своих». Опальный боярин не имел права во все время опалы чесать бороды и волос, а также и стричь их, он должен был ходить в смирной одежде, то есть в кафтане без всякого шитья. Все это, по понятиям того времени, страшно усугубляло тяжесть и без того сурового наказания.

Разное, впрочем, впечатление произвело так неожиданно обрушившееся на них несчастье в уме и душе князей Прозоровских. Князь Никита был положительно убит. Ему казалось, что все это он переживает во сне.

Как, потративши столько ума и хитрости, чтобы быть, не поступая в опричину, одним из первых царских слуг, почти необходимым за последнее время для царя человеком, облеченным силою и возможностью спасать других от царского гнева, давать грозному царю указания и советы, играть почти первенствующую роль во внутренней и внешней политике России, и вдруг, в несколько часов, именно только в несколько часов, опередивши царя, ехавшего даровать великую милость свою в доме его брата, ехавшего еще более возвеличить их славный род, потерять все, проиграть игру, каждый ход которой был заранее всесторонне обдуман и рассчитан! Это невозможно!..

Так думал князь Никита, сидя рядом с братом в просторных пошевнях, с низко опущенною на грудь головою. К этим мыслям еще примешивался страх. Князь Василий не ошибался, его брат был на самом деле малость трусоват. Картины виденных им зверских казней неотступно стояли в его уме.

«Что если и меня ожидает подобная участь?» — возникал у него вопрос.

Красные кровавые круги вертелись перед его глазами.

«Надо себя вызволить... Теперь не до других, даже не до родичей»... — появилась

эгоистическая мысль, и он даже искоса злобно посмотрел на брата, как будто он один был виновником этой гнетущей и могущей быть страшной по своим последствиям опалы.

Всю почти дорогу братья сидели молча. При въезде в Москву князь Никита холодно, по обычаю трижды, облобызался с братом, пересел в следовавшие сзади его собственные пошевни и поехал домой. Князь Василий, тоже немало огорченный всем происшедшим, был сравнительно покоен. Оправившись от неожиданности удара, он это душевное спокойствие обрел в глубине своей совести, не упрекавшей его ни в малейшем дурном поступке, ни в малейшем помышлении против царя, того самого царя, который подверг его такому незаслуженному наказанию и позору. Страх никогда не находил места в душе старого воина, так что за свое будущее, готовый умереть каждую минуту, он не боялся. Его сердце томила жалость к брату, утешить которого он не находил слов; в минуту общего несчастья разность воззрений и резкая отчужденность их друг от друга выделялась рельефнее, и те слова утешения, которые он, князь Василий, мог сказать брату, не были бы им поняты. Князь Василий с грустью признавал это. Беспокоила же его наиболее участь его любимой дочери.

«Что будет с нею? Перенесет ли она постигший ее удар?»

Князь Василий за последнее время видел, как сильно и горячо любила она избранного им ей жениха. На минуту у него явилось даже раскаяние, зачем вздумалось ему устроить эту свадьбу, но честное сердце тотчас подсказало ему отбросить эту мысль. Он с любовью стал думать о несчастном князе Владимире, томящемся теперь в тюрьме или стонущем под пыткой изверга Малюты, и сердце доброго князя обливалось кровью при мысли, что он не может спасти своего спасителя. Затем думы его снова перескакивают на дочь, на княжну Евпраксию.

— Что, как она? — было первым вопросом, который задал князь Василий по возвращении домой, пройдя тотчас же в комнаты дочери.

— Вся полымем горит, грудь заложило, воздуху свободного нету, — отвечала Панкратьевна.

— Опасно? — с дрожью в голосе чуть слышно произнес князь.

— Бог весть, батюшка-князь. С чего приключилось: ежели с глазу, то легче, а ежели с порчи — не в пример тяжелей... А я смекаю, что с порчи, потому я ее с уголька sprysнула, святой водой окропила, и кабы с глазу, давно бы прошло, а тут нет, все пуще... Надо будет теперь ее эроей[16] обкурить, натереть, да и в нутро испить дать, может, и полегчает, Господь милостив! Ты-то себя не тревожь, князь-батюшка!

— Уж ты постарайся, Панкратьевна! — умоляющим голосом произнес князь.

— И что ты, батюшка, у самой сердце болит пуще чем о родной дочери: и просить-то меня тебе как-то не складно!

Князь с поникшею головою ушел в свою опочивальню и там склонился перед образом в жаркой молитве о спасении дочери.

«К чему молюсь? — вдруг внезапно пришла ему мысль. — Не лучше ли будет, коли Господь приберет ее к себе? Что ожидает ее после моей смерти, весьма вероятной, как последствие опалы? Надругание извергов»...

Князь побледнел; холодом сжалось его сердце при этой мысли.

— Господи, да будет воля Твоя! — окончил он свою молитву.

Воля Господа совершилась; княжна Евпраксия стала поправляться, хотя выздоровление ее шло очень медленно. От глубокого обморока, в который она впала с момент увоза ее жениха

опричниках, она очнулась в страшной нервной горячке, державшей ее несколько дней между жизнью и смертью. Панкратьевна положительно потеряла голову и даже веру в свое искусство и целительность средств sprыскивания с уголька наговоренною водою и натирания зроей. Князь Василий ходил мрачнее тучи и за короткое время, казалось, состарился на десять лет. На Якова Потаповича болезнь княжны не производила такого удручающего впечатления; он глубоко верил в то, что она выздоровеет. Будучи, как мы уже имели случай заметить, очень религиозным, он вместе с тем отдавая дань своему времени, был и крайне суеверен. Он был твердо убежден, что начавший уже сбываться его «вещий сон» был неспроста, что это было указание свыше на ту роль, которую он должен был играть в жизни княжны.

«В жизни! Следовательно, она будет жива!» — так рассуждал он.

Самый арест князя Владимира, так поразивший своею неожиданностью всех окружающих, не поразил Якова Потаповича. Он как бы внутренне ожидал его. Он, с самого начала, еще в вотчине, старался отогнать даже от самого себя, а не только сообщать Воротынскому и другим, свое томительное предчувствие, что сватовство княжны Евпраксии не обойдется так благополучно, как оно казалось по ходу дела. Даже тогда, когда сияющий радостью князь Василий вернулся из слободы с известием о снятии опалы с молодого Воротынского и о грядущих обещанных царем милостях, даже тогда, повторяем, из головы Якова Потаповича не исчезла мысль, что должно случиться что-нибудь такое, что повернет начавшую было входить в ровную колею жизнь в доме Прозоровских в другую сторону. Иногда ему казалось, что эта мысль рождалась в его уме из затаенного им эгоистического желания, чтобы безумно любимая им девушка, обладать которой ему не было суждено, не принадлежала никому, и он мучился сознанием этого грешного помышления и всеми силами старался от него отделаться, но оно преследовало его против его воли.

— Нет, это не то, это просто предчувствие. Да и как же может быть иначе? Если все устроится по общему и даже по его искреннему желанию, если жизнь княжны Евпраксии потечет безмятежным руслом, без бурь и тревожений, то что же значит этот «вещий сон»? — говорил он сам себе.

— Что сон, пустяки! — старался он порой, как мы уже видели, уверить себя, но какой-то внутренний голос авторитетно говорил ему, что это далеко не так.

Сквозь мрачное настроение опального боярина князя Василия, в тяжелом, гнетущем, видимо, его душу молчании, в этом кажущемся отсутствии ропота на поступок с ним «грозного царя», в угнетенном состоянии окружающих слуг до последнего холопа, сильно скорбевших о наступивших черных днях для их «князя-милостивца» и «княжны-касаточки», — красноречиво проглядывало молчаливое недовольство действиями «слободского тирана», как втихомолку называли Иоанна, действиями, неоправдываемыми, казалось, никакими обстоятельствами, а между тем Яков Потапович, заступившийся в разговоре с князем Василием за царя еще в вотчине при задуманном князем челобитье за Воротынского и при высказанном князем сомнении за исход этого челобитья, даже теперь, когда эти сомнения так ужасно оправдались, не находил поводов к обвинению царя в случившемся.

— Он является орудием высшего промысла, — думал Яков Потапович. — Его приспешники несомненно более виновны во всех его жестокостях.

Суд беспристрастной истории доказал, что светлый ум несчастного «подкидыша» мыслил правильно. Уверенность Якова Потаповича, что княжна выздоровеет, оправдалась; она стала поправляться, но болезнь положила на нее страшный отпечаток. В этой исхудалой, бледной восковой бледностью девушке можно было с трудом угадать всего за каких-нибудь три-четыре недели тому назад цветущую здоровьем красавицу. Медленность выздоровления обуславливалась, главным образом, отсутствием спокойствия духа — неперменным

условием для укрепления нервов. Подтачивающая и без того слабые силы молодой девушки мысль о судьбе ее ненаглядного нареченного жениха князя Владимира Никитича не покидала головку выздоравливающей и мешала ей успокоиться и окончательно поправиться.

Окружающие ее были бессильны помочь ей; у них даже не поворачивался язык сказать ей слово утешения. Это слово звучало бы ложью, и все хорошо понимали, что это знала больная; с полною основательностью ее грусти и беспокойства никто не мог не согласиться.

О взятом опричниках, с Малютой во главе, князе Воротынском не было, как говорится, ни слуху ни духу. Где он, что с ним, жив ли он, или уже умер — на эти вопросы никто не мог ответить. Опальный князь Василий не мог ни с кем иметь сношений, а в особенности с придворными сферами, где только и можно было узнать что-нибудь. Князь Никита не появлялся в доме опального брата, несмотря даже на посланное ему извещение о тяжелой болезни племянницы. Он прислал сказать с посланным, что сам болен и ожидает смерти, и что в настоящее время может только завидовать тому, к кому она скорее придет, и желает ее всякому. По этому ответу можно было судить, в каком нравственном состоянии духа находился опальный царедворец, — если только ответ этот не был фразой, добавим мы от себя.

Когда княжна Евпраксия Васильевна настолько окрепла, что могла сидеть в кресле, кроме князя Василия, почти безотлучно находившегося у постели дочери, к ней был допущен, по ее просьбе, и Яков Потапович. С последним бедная девушка отводила душу, говорила и не могла наговориться о ее милом Владимире. Отца она продолжала стесняться и не решалась излить ему все, что наболело на ее душе, а Яков Потапович умел слушать ее жалобы, и хотя этим, за отсутствием и у него какого-либо для нее утешения, был для нее дорогим собеседником. Эгоизм человека, на которого обрушилось несчастье, мешал ей видеть, какой страшной пытке подвергает она любящего ее безгранично человека, мучаясь и убиваясь при нем о судьбе другого, который явился, хотя невольно, но все же причиной ее тяжелой болезни.

— Боже, Боже! — чуть не ежедневно восклицала княжна с отчаянием в голосе. — Хотя бы мне что-нибудь узнать о нем, хорошее или дурное — все равно. Во всяком случае мне было бы легче, чем эта ужасная неизвестность.

Во время одного из таких восклицаний больной, сжимавших мучительною жалостью сердце Якова Потаповича, в его голове блеснула мысль во что бы то ни стало успокоить княжну, разузнав о судьбе князя Воротынского через единственного знакомого ему близкого ко двору человека — его бывшего учителя, Елисея Бомелия.

Это было в последних числах декабря 1658 года.

XIII

Посланный Бомелия

Царский доктор Елисей Бомелий, вскоре после отъезда Иоанна в Александровскую слободу как свою постоянную царскую резиденцию, тоже перебрался туда на постоянное жительство, и лишь изредка, по большей части вместе с царем, наезжал в Москву и временно останавливался в отведенной ему избе, находившейся, как мы уже знаем, по ту сторону Москвы-реки, недалеко от хором князя Василия Прозоровского. В отсутствие этот «басурмана, колдуна и чародея», как звали его в народе, жилище его было заперто наглухо, но охранялось скорее страхом суеверия, чем заморскими замками хозяина. Поздним вечером москвичи даже избегали проходить мимо «нечистого капища», как именовали они избу

«заморского ученого», стоявшую особняком, среди громадного пустыря. Некоторые московские смельчаки, еще во время пребывания «царского колдуна» в Москве, из любопытства решились поглядеть в окно басурманского жилья, но то, что представлялось в этом жилье их испуганным взорам, навсегда отбивало охоту к дальнейшему любопытству. Они видели худого, черномазого, мрачного видом хозяина с искусно державшимися на горбатом носу стеклами, освещенного пламенем, которое он раздувал какою-то трубкою, а на пламени этом варилось то «чертово зелье», о котором по Москве ходили смутные слухи. Окружающая «чародея» обстановка довершила ужас: черепа и человеческие кости, банки с частями человеческого тела и толстые в кожаных переплетах книги являлись для массы его современников еще большим пугалом, нежели приготовляемое этим «службой сатаны» «чертово зелье».

Выходец из Германии, даже изгнанник, как уверяет Карамзин, он явился в Москву и, как «иностранный ученый», легко снискал доступ к царю, любившему и ласкавшему «заморских гостей», и вскоре сделался не только его постоянным доктором и астрологом, но прямо необходимым человеком, играя, как и прочие, но еще более искусно, на слабой струне больной царской души: постоянно развивая в нем страх и подозрения, наушничая и клеветая на бояр и народ, дружа с опричниками, видевшими в этом «случайном басурмане» необходимого сообщника и опасного врага. По указаниям последних, Бомелий предсказывал царю бунты и мятежи. Предсказание, естественно, сбывалось, что царь видел по донесениям тех же опричников, и все более и более верил своему любимцу, осыпая его милостями. Ему же приписывают современники мысль, до конца жизни не покидавшую голову подозрительного царя, бежать в крайности за море, для чего, по советам того же Бомелия, царь так ревниво, во все продолжение своего царствования, сохранял дружбу с английской королевой Елизаветой, обещавшей ему безопасное убежище от козней крамольников-бояр. Невежда даже в современной ему медицинской науке, Елисей Бомелий посвящал все свои силы и все свое время изучению токсикологии, учению о ядах. В приготовлениях их он достиг удивительного совершенства. Эта его специальность как раз отвечала требованиям минуты — той эпохи казней и убийств, которую переживала Россия. Может быть, это обстоятельство и служило для ловкого иноземца стимулом его прилежной работы.

Иоанн любил быть зрителем опытов, производимых Бомелием, действия изобретенных и усовершенствованных им ядов над животными.

Часто в «почетных кубках» вина, посылаемых царем за пышными трапезами в Александровской слободе приглашенному тому или другому боярину, находилось «Бомелиево зелье», от которого выпивший кубок, с низким поклоном царю «за честь», падал замертво и умирал в страшных судорогах.

По сказанию современников, Бомелием был изобретен состав для временного обмирания человека, казавшегося мертвым и воскресавшего после принятия «противоядия». Это «снадобье» породило в народе толки об изобретении «царским колдуном» мертвой и живой воды, о которой народ слышал в сказках стариков. В народе же носились упорные слухи, что многих из бояр-изменников и простых «воров», казненных через повешение, Бомелий за громадную плату возвращал к жизни, давая принимать перед казнью «мертвую воду», а после казни всprыскивал «живой водой». Тела таких его «мертвых клиентов» хитрый доктор выпрашивал себе у царя и начальства как бы для научных работ. Оживленные «чародеем» мертвецы, обыкновенно, бежали в чужие земли или же поступали в «вольницу», как именовались в то время шайки лихих людей, одна из которых, под предводительством знаменитого Ермака, перевалила за «Угорский камень», тогдашнее название Уральского хребта, и завоевала для России целое Сибирское царство. Есаул Ермака, не менее известный в истории Иван Кольцо, был, как сохранилось народного предание, не кто иной, как оживленный Бомелием казненный боярин.

Народ, в тяжелые исторические годы, как известно, дает более широкий простор своей

фантазии и создает целые утешающие его легенды, но нет основания полагать, что то или другое народное предание должно быть с корнем отнесено к одной этой фантазии, уже придерживаясь народной же поговорки, что дыму не бывает без огня.

Яков Потапович, как, вероятно, не забыл читатель, был в числе учеников Бомелия, изучая под его руководством «лекарскую науку». Он считался даже одним из лучших его учеников и был любимцем учителя, хотя не мог платить ему тою же монетою: открытая и честная душа Якова Потаповича, несмотря на уважение к знаниям «иноземца», чуяла в нем дурного человека, эгоиста и иезуита. Когда Бомелий уехал на постоянное жительство в Александровскую слободу и перевез туда и своих учеников, Яков Потапович, с разрешения князя Василия, не последовал за ним, хотя не прервал ни своих занятий, ни сношений с «заморским лекарем» во время приездов последнего в Москву. Князь Василий понимал причины, побудившие его приемыша не следовать за своим учителем, и молчаливо разделял хотя и невысказанный ясно взгляд Якова Потаповича на это «звериное логовище», как втайне они оба называли новую резиденцию царя. К этому-то близкому к царю человеку и решил обратиться Яков Потапович, чтобы добыть для больной княжны желанную весточку о судьбе ее ненаглядного жениха. Он не ошибся в источнике и добыл достоверные известия, но они были таковы, что любящий человек не мог решиться передать их любимой девушке, несмотря на то, что княжна Евпраксия уверила его, что ее мучит сильнее всего неизвестность и что она успокоится при получении какой-либо весточки о судьбе Владимира, дурной или хорошей — все равно; что на последнюю она даже не рассчитывает. Несмотря, повторяем, на все это, новости, полученные им от Бомелия, были настолько ужасны, что могли убить слабую княжну, и Яков Потапович решился молчать, томя ее прежнею неизвестностью, и благодарил Бога, что он не высказал ей своего намерения ехать в слободу и разузнать о положении дела ее жениха. Княжна, таким образом, даже не знала о его поездке. Знали о ней один князь Василий да Никитич, сопровождавший Якова Потаповича в Александровскую слободу. От князя, своего приемного отца, Яков не решился утаить роковых результатов своей поездки, тем более, что полученные им известия касались и обоих князей Прозоровских. Он рассказал князю Василию, что Бомелий, разузнавший, по его просьбе, стороной все у Малюты Скуратова, передал ему, что князь Владимир Воротынский сознался под пыткой в сношениях с князем Владимиром Андреевичем, заявив, в надежде смягчить свою участь, что был орудием обоих братьев Прозоровских, друживших со «старым князем», как называли бояре князя Владимира Андреевича, и замышлявших осторожно и втихомолку измену царю и его потомству. Как ни нагла и ни неправдоподобна была подобная клевета, князь Василий понимал, что она могла быть всецело принята за истину «больным» царем, но и при этом спокойно выслушал это известие, равнявшееся смертному приговору ему, брату и всему их роду.

— Что же, спасет ли, по крайней мере, это показание малодушного юношу? — с глубоким вздохом спросил князь Василий.

— Нет, — мрачно отвечал Яков Потапович, — участь его решена: его казнят — через несколько недель он умрет на виселице.

— По своему высокому роду он заслуживал бы более почетной казни... — как бы про себя заметил князь.

— Такова воля царя! Из слов Бомелия я мог заключить, что этою холопскою казнью он обязан именно этой клевете на тебя, князь Василий.

— Как так?

— Царь, слышно, усомнился, что он знатного рода. «Среди русских бояр есть изменники и крамольники, но нет и не было доносчиков», — сказал, как слышно, великий государь по прочтении последнего пыточного свитка, и приказал ему более не докучать этим делом, а

князя Воротынского велел казнить вместе с придорожными татями.

— Узнаю великую душу грозного царя! — воскликнул князь Василий. — Узнаю чистые порывы этой души, изъятые из тлетворного влияния окружающих извергов.

— Но государь ошибается! Воротынский не самозванец, я убедился в его душевных качествах, присущих только высокому роду, но, видно, злодей Малюта чересчур постарался над ним, что заставил решиться солгать и предать. А может, в пыточном свитке записано ложно! — заметил он после некоторого молчания.

Яков Потапович с благоговением посмотрел на старого князя, и яркая краска жгучего стыда залила его красивое лицо. Страшное негодование против самого себя внезапно возникло в его уме.

«Как я мог поверить, что честный и самоотверженный друг мой, князь Владимир, мог быть способен на такой гнусный поступок, как оклеветание отца и дяди своей невесты? Я, подлый, гадкий, низкий себялюбец, порадовался возможности столкнуть с высоты своего соперника и без того несчастного, умирающего, быть может, теперь от истязаний, произведенных пытками, приговоренного бесповоротно к смерти», — пронеслось самообвинение в голове Якова Потаповича.

— Жаль брата... дочь... — чуть слышно произнес между тем князь Василий, как бы отвечая своим собственным мыслям.

— Надо что-нибудь делать... защищаться... бежать... — промолвил Яков Потапович, в уме которого явилось мигмом представление о судьбе князей Прозоровских, как последствию хотя бы ложного показания Воротынского.

— Защищаться нельзя, — горько усмехнулся князь Василий, — а бегство хуже, позорнее смерти...

Он замолк на минуту.

— Брат, может, как-нибудь вывернется, я невинен... мне смерть не страшна, а у дочери заступник — Бог.

Князь закрыл лицо руками и погрузился в думы.

Прошло несколько дней. Яков Потапович находился все в том же угнетенном состоянии духа. Он по целым суткам не выходил из своей комнаты и по целым часам, то всесторонне и сосредоточенно, но совершенно бесплодно, обдумывал положение дела, то в продолжительной горячей молитве призывал на помощь Небесного Отца.

— Из слободы гость; говорит, до тебя дело есть! — вошел в горницу Якова Потаповича Никитич и прервал этим неожиданным сообщением горькие, настойчивые думы, в которые был погружен молодой человек.

— Какой гость? Из какой слободы? — воззрился на него с недоумением Яков Потапович.

— Известно из какой слободы, из Александровской, а кто он такой — не ведаю; он говорит, что ты его знаешь.

— Приведи же его сюда, приведи поскорей... — заторопился Яков Потапович, и сперва побледнел как полотно, а затем вспыхнул.

«Может, с радостью какою, может, молитва моя услышана», — промелькнула у него мысль.

Никитич вышел и вскоре явился в сопровождении скромно, но чисто одетого средних лет мужчины.

— Павел... ты... от Бомелия? — невольно вскрикнул Яков Потапович, увидав вошедшего.

Павел, по отчеству Иванов, был тоже любимый ученик «лекаря-туземца», неотлучно находившийся при нем и помогавший ему и в работе, и в придворных интригах, служа своему учителю исполнением всевозможных его поручений, доносами и наущничеством. Яков Потапович инстинктивно не любил этого товарища по учению, хотя Павел, по-видимому, относился к нему более дружелюбно, но молодой человек позабыл в настоящую минуту о своей антипатии и не на шутку обрадовался неожиданному гостю.

— От учителя, — таинственно произнес Павел. — Дело есть до тебя.

Он оглянулся на Никитича. Яков Потапович также посмотрел в сторону своего бывшего дядьки. Последний, поняв, что он лишний, вышел. Товарищи «по учению» остались одни. Гость уселся рядом с Яковом Потаповичем и таинственным шепотом передал ему, что Елисей Бомелий нашел средство спасти от смерти князя Владимира Воротынского.

— Значит, его помилуют? — радостно воскликнул тот.

— Нет, — покачал головой гость, — об этом нечего и думать... Он должен умереть...

— Как же так спасти? — недоумевающе поглядел на него Яков Потапович.

— Он должен умереть для царя, для Малюты, для всех, кроме учителя, меня, тебя и тех, кому ты открыть это пожелаешь.

Павел Иванов приостановился. Яков Потапович продолжал окидывать его удивленным взглядом; он, видимо, ничего не понимал.

— Его повесят только для вида, — продолжал гость. — Учитель найдет способ передать ему напиток, приняв который перед казнью, он впадет в продолжительный обморок и по виду будет казаться мертвецом; затем тело надо будет украсть, так как учитель не может просить трупа князя Воротынского для вскрытия, его ему не дадут и даже могут заподозрить...

Гость замолчал.

— Что же дальше?

— Дальше... нести прямо к учителю, он в день казни будет в Москве, и он его оживит...

Яков Потапович понял.

— Что же, это можно, но надо это устроить ночью, а до ночи он задохнется в петле.

— Будут приняты меры; среди палачей у учителя есть преданные люди, но...

— Что же но?.. — перебил его Яков Потапович. — Украсть — украдем, у меня тоже есть верные люди: что ни скажу — все исполнят для меня...

— Да... но... — нерешительно протянул Павел Иванов, — надо будет заменить его другим покойником, чтобы утром могильщики не заметили исчезновения одного висельника; заварится такая каша, что и учителю не расхлебать...

— Да... вот оно что! — задумчиво произнес Яков Потапович.

— Учитель и послал меня к тебе, очень он после твоего отъезда закручинился, что помочь

тебе не может, любит он очень тебя, вот и придумал; только за тем, что я сказал, и остановка... Может, сам ты что придумаешь?..

Павел Иванов умолк. Молчал и Яков Потапович, сидя в глубокой задумчивости. Вдруг он поднял голову и в его глазах блеснула решимость.

— Придумал?.. — пронизательным взглядом окинул его гость. — Но где же ты найдешь мертвеца?

— Может, и живой сыщется?

— Живой?

— Да тебе что за забота? — раздражительно ответил Яков Потапович. — Может, я сам заменю его на виселице.

— Сам! Шутник ты, Яков Потапович! — засмеялся было Павел, но, посмотрев в лицо говорившего, сразу оборвал смех.

Выражение лица Якова Потаповича ясно говорило, что он не шутит.

— Так и прикажешь передать учителю? — после некоторого молчания спросил гость, поднимаясь со скамьи. — Мне пора и ко дворам, и то опоздился.

— Так и передай... — как-то машинально ответил Яков и рассеянно простился с Павлом Ивановым.

XIV

Самоотречение

У Якова Потаповича на самом деле явилась безумная мысль — пожертвовать собой для спасения князя Владимира Воротынского, и когда после ухода посланного Бомелия он остался один, эта мысль овладела всем его существом.

«Зачем мне жить? Кому нужно, кому дорого мое постылое существование? Никому! Никому!»

Единственной целью его жизни было — служить защитой безумно любимой им девушки, а эта девушка таяла, как свеча, от неизвестности о судьбе другого, любимого ею всею силою первой любви человека.

«Она несомненно умрет, если узнает о смерти своего жениха! Значит, наступил момент спасти ее от смерти даже ценою моей жизни, — так работала мысль Якова Потаповича. — Хотя князь Василий находит для себя бегство позорнее смерти, но он все-таки перед близкою перспективою своей казни найдет возможность укрыть в Литве спасенного Воротынского вместе с княжной Евпраксией. Надо переговорить с князем! — мелькнуло в его уме. — Нет, нет! Князь не примет подобной жертвы. Он скорее пожелает видеть любимого и уважаемого им сына своего друга казненным, нежели согласится на его спасение при помощи Бомелия, да еще ценою смерти невинного... На первых порах он не допустит и мысли, чтобы его дочь была изгнанницею и женою спасенного хитростью висельника; он скорее будет согласен опустить ее в раннюю могилу... Но это на первых порах; когда же дело будет сделано, когда дочь падет к его ногам с мольбой о вторичном спасении раз уже чудесно спасенного ее жениха, он не устоит: чувство отца победит остальные чувства. Решено! Завтра же еду к

Бомелию и условлюсь во всем...»

Яков Потапович встряхнул кудрями и встал со скамьи. Он решил осторожно поговорить с княжной и для этой цели отправился на женскую половину.

— Поди, поди, покалякай с нею; она о тебе разов десять ноне спрашивала, разговори ее, касатик. Нынче что-то с нею хуже прежнее деется... Сидит, в угол глазища уставит, и на-поди, — встретила его в первой горнице Панкратьевна и провела к княжне.

Княжна, действительно, сидела в кресле с неподвижностью статуи. При виде входившего в горницу Якова Потаповича она сделала радостное движение и даже легкая улыбка появилась на ее побелевших губах.

— Здравствуй, Яков Потапович, садись! — обратилась она к нему.

Он поклонился ей поясным поклоном.

— Как здоровье твое драгоценное, княжна-голубушка? Поправляешься ли? — начал он усаживаться около княжны.

Сенные девушки между тем, убравши работу, вышли. Панкратьевна забралась на лежанку, находившуюся в противоположном углу горницы, и задремала.

Княжна не сразу отвечала на вопрос Якова Потаповича об ее здоровье.

— Здорова-то я почти совсем здорова. Только сердце щемит, точно гложет его кто, покою не дает. Еще, что ли, беду чует, смерть предрекает.

Яков Потапович невольно вздрогнул и побледнел. Это не ускользнуло от устремленного на него пытливой взглядом княжны.

— Али что узнал?.. Говори!.. — стремительно спросила она и даже подалась вперед на своем кресле.

— Где же мне узнать?.. Ничего не узнал. И с чего же это тебе, княжна, показалось? — с трудом проговорил он, потупив глаза.

— Ничего!.. — чуть слышно прошептали ее губы. — Не обманываешь?

— Не кручинься, княжна, не убивайся, не плачь; ведь не поможешь ничему ни кручиной своей, ни слезами. Пожалей себя: только что от болезни Господь Бог тебя исцелил, поправляться бы теперь надо, сил набираться, а ты покою себе не даешь, думами себя вконец травмишь... Пожалей, говорю, себя.

— Чего мне себя-то жалеть?.. Что мне в жизни постылой ожидать теперь, коли взяли вороги моего суженого, а вместе с ним и сердце из груди моей вырвали? — со стоном произнесла она.

— Коли Богом суженый он, так тебе воротится, — не может человек разрушить дело Божие, — а коли неровен час, не воротится...

Княжна опять вся задрожала.

— Говори, говори, ты что-нибудь знаешь, коли говоришь не воротится! — не дала она договорить ему.

— Я к примеру сказал, от слова не случится, — заметил Яков Потапович. — Не тревожь себя коли не для себя самой, так для князя-батюшки, для меня... Или ты думаешь, что легко

смотреть и ему, и мне на муку твою мученскую. Он отец твой, я — с измальства рос с тобою, так сердце у нас, на тебя глядячи, на части разрывается.

— А мне легко, думаешь, и за себя страдать, и за батюшку родимого, и за тебя, братец мой названный? Не вижу я разве, как вы из-за меня убиваетесь? Да с собой ничего поделаться не могу, не в силах из сердца вырвать лютой тоски; гложет она меня, гложет...

Княжна зарыдала. Яков Потапович сидел потупившись, тоже едва сдерживая подступавшие к горлу слезы. Он дал ей выплакаться и, выждав, когда она сравнительно успокоилась, снова начал:

— А ты превозмоги себя, пересиль... Ведь сама знаешь, что помочь в твоей беде никто не может... На Бога одного положиться надо, так ты и положишься на Его святую волю. Сама, чай, знаешь понаслышке, каковы опричники-то! Уж если им в руки попался, так только чудом спастись можно.

— Не говори, не отнимай хоть надежду-то; одною ею и живу я. Если, избави Бог, узнаю, что потерял он навсегда для меня — не переживу, видит Бог, не переживу... Руки сама на себя наложу... Знаю, грех это, страшный грех, но и на грех пойду, не усташуся!.. Без него мне жизнь не в жизнь...

Княжна не произнесла имени Владимира. Было ли ей самой тяжело это, или она думала этим пощадить Якова Потаповича, который тоже, случайно или нарочно, не называл по имени своего друга, — кто знает?! Но при последних роковых словах она выпрямилась в кресле, и в голосе ее зазвучали металлические ноты бесповоротной решимости. От необычайного душевного волнения ее исхудалые щеки покрылись ярким румянцем, а глаза горели каким-то зловещим огнем. Она была неузнаваема, но вместе с тем дивно прекрасна. Яков Потапович со страхом глядел на нее и как-то всем существом своим чувствовал, что она говорит одну правду: что ни князь, ни он не в силах будут изменить созревшего в ее уме решения. По его лбу пробежали резкие морщины, как бы от созревшей в его голове тяжелой мысли.

— В таком случае выслушай меня, княжна, повнимательней, — начал он.

Княжна наклонилась к нему ближе.

— Что такое? Говори!.. — испуганно спросила она.

— Не пугайся: он будет спасен!..

— Царь простит его? Это правда? Ты узнал? Зачем же ты так долго томил меня и молчал.

Все лицо ее осветилось радостью.

— Нет, лгать тебе не стану, — серьезно продолжал Яков Потапович, — царь не прощал и не простит его... он будет приговорен к казни... но, повторяю, будет спасен!..

— Кто же спасет его? — снова, бледная, испуганная, спросила княжна.

— Я!

— Ты?

В ее голосе послышалось недоверие.

— Я, княжна, никогда не трачу по-пустому слов и не говорю на ветер, ты это, чай, знаешь, а поэтому, думаю, должна мне поверить! — строго заметил он.

— Я верю... но как... — прошептала она.

— Как — это мое дело. Все будет устроено, и он явится сюда живой, невредимый.

— Яшенька... Яков Потапович... как мне благодарить тебя? — протянула она к нему свои руки. — Ни я, ни он всю жизнь не забудем твоей услуги, всю жизнь будем только и думать, как вознаградить тебя за нее.

Он сделал вид, что не заметил ее жеста.

— Мне не нужно никакой благодарности; для меня благодарностью будет уже то, что ты будешь счастлива, княжна! — глухо отвечал он, не глядя на нее.

Несколько минут они оба молчали. Яков Потапович заговорил первый.

— Одно помни, княжна: когда он явится сюда, — явится тайком, так как будет считаться казненным, — немедля ни минуты бросайся к ногам князя-батюшки и умоляй его поскорее обвенчать вас и бежать вместе с вами в Литву. Если же князь Василий не согласится следовать за вами, что весьма вероятно, так как ему честь его рода дороже жизни, то бегите вдвоем... Он отпустит тебя, потому что, во-первых, не пожелает твоей гибели, а во-вторых — ты будешь не княжной Прозоровской, а княгиней... Воротынской и последуешь... за мужем.

Он с трудом произнес последние слова.

— Что же ждет отца? Ты пугаешь меня! — дрожащим голосом спросила княжна.

— В переживаемые нами времена ни один боярин не может, вставши утром, сказать наверно, что проживет до вечера, — уклончиво отвечал он. — Но не в этом дело, сделай лишь так, как я говорю тебе. Может, князь Василий и не решится отпустить вас одних и последует за вами, дай Бог, но если, паче чаяния, этого не случится, то, повторяю, бегите вдвоем и как можно скорее, а то быть неминуемой беде. Исполни, княжна, эту мою последнюю просьбу...

— Хорошо! Но разве ты не поедешь с нами?

— Мне зачем же? Меня и тут не тронут, не больно знатен, подкидыш... — с горечью усмехнулся он. — Обо мне-то заботу кинь, о себе заботься.

— Но мне все-таки невдомек, коли его царь казнить хочет? — с тревогой в голосе произнесла княжна, окинув Якова Потаповича умоляюще-вопросительным взглядом.

— Ин будь по-твоему, скажу тебе.

Он в коротких словах рассказал ей план похищения казненного князя Владимира, который будет находиться только в глубоком обмороке и которого Бомелий приведет в чувство.

— А как не приведет?

— Уж об этом не беспокойся. Учителю не впервые дело-то это проделывать... мастак.

Яков Потапович говорил об этом так просто, так уверенно, что княжна положительно успокоилась. Он не сказал ей лишь того, что ему самому придется поплатиться жизнью, чтобы заменить повешенного князя Воротынского.

— Значит, его оттуда пронесут прямо к Бомелию, что насупротив нас, на той стороне реки? — спросила княжна, как бы что-то соображая.

— Да!

— Ты скажешь мне, в какой день и час?

— Скажу, коли желаешь. Только зачем тебе это?

Она смешалась.

— С этого дня я буду ждать его, — с трудом ответила она.

Поговорив с ней еще несколько времени, он оставил ее почти совершенно спокойною за судьбу ее ненаглядного жениха. Весь остальной день и почти всю ночь Яков Потапович провел в горячей молитве, прося у Бога сил довести до конца задуманное дело.

«Настоящая любовь — это самоотречение! Я люблю ее именно этою любовью».

С этою мыслью он лишь под утро забылся тревожным сном.

XV

Мать

Прошло три недели. Была ясная январская ночь. Звезды, мириадами усыпавшие безоблачный небосклон, казалось, спорили своим блеском с матовым диском луны, лившей свой короткий свет на закутанную в белоснежный саван землю. Кругом была невозмутимая тишина. Ни малейшее дуновение ветерка не колебало верхушек вековых деревьев сада князя Василия Прозоровского, покрытых густым инеем, и лишь блеск луны и лучи мелькающих звезд играли в мелких кристаллах последнего, придавая этим свидетелям отдаленной старины — дубам, тополям, елям и соснам — причудливые, почти фантастические очертания. Полоса Москвы-реки казалась в эту волшебную ночь как бы серебряною лентою, конец которой пропадает в бесконечной дали, а крутой берег ее точно был покрыт громадною белою пеленою с рассыпанными там и сям алмазными звездами. Даже скученные постройки в то время далеко не живописного, грязного Замоскворечья представляли красивую, почти грандиозную картину.

Якову Потаповичу, сидевшему в саду, в той самой беседке, где в памятную для него ночь первого столкновения с Малютою с его губ сорвалось первое неудачное признание в любви княжне Евпраксии, было впрочем, совсем не до созерцания величественных картин природы. Ему не спалось; стены горницы, казалось, давили его, в груди не хватало воздуха, и он, одевшись, вышел из дому, машинально дошел до беседки и так же машинально опустился на скамью. Сидя на этой скамье беседки, с опущенными на колени руками, в созерцательной позе, несчастный княжеский приемыш мысленно снова переживал все им пережитое, полное для него роковой содержательности в последние дни. Перед ним проносились на самом деле не поддающиеся забвению картины. Образ красавицы-княжны Евпраксии, исхудалой, истомленной, измученной разлукою с любимым человеком, несся перед его духовным взором. Взгляд прекрасных глаз, полных выражения нечеловеческой решимости, сверкал перед ним.

— Не переживу, видит Бог, не переживу, руки сама на себя наложу! Знаю, грех это, страшный грех, но и на грех пойду... не утрашуся... Без него мне жизнь не в жизнь... — звучали в его ушах слова княжны, ужасные слова, дышавшие бесповоротным отчаянием и побудившие его окончательно решиться на самопожертвование, на самоотречение.

Далее несутся воспоминания. Он поехал в Александровскую слободу, виделся с Бомелием и порешил с ним окончательно, как действовать, узнав от него во всех подробностях

составленный им план спасения Воротынского. И теперь, как тогда, ему на мгновение показалось странным, что любящий его учитель ничуть не был поражен высказанной им ему решимостью покончить с собою во цвете лет и заменить своим трупом мнимоказненного Воротынского. Бомелий, действительно, нимало не удивился; он как бы и не ожидал услышать ничего другого от него, «первого русского врача», как именовал его сам же «бусурман» в прежние годы и на которого он возлагал свои научные надежды. Но и теперь, как и тогда, Яков Потапович быстро нашел этому объяснение. Он настолько горячо и убедительно говорил о своей привязанности и благодарности ко всему семейству князей Прозоровских, что самая жертва жизнью для счастья этой семьи являлась лишь простым логическим последствием этой привязанности.

«Понял он меня, сразу понял и оценил; умен учитель, да и сердце есть; чувствует, хотя и немец», — пронеслось, как и тогда, в уме Якова Потаповича.

Что Бомелий несомненно «чувствует», подтверждало, по крайней мере по мнению Якова Потаповича, и то, что «учитель» внимательно расспрашивал его о княжне Евпраксии, о чувствах ее к Воротынскому и об ее намерениях. Яков Потапович доверчиво рассказал ему все и даже не скрыл, что княжна спрашивала, когда привезут князя в московское жилище Бомелия. «Бусурман» чуть заметно улыбнулся. Так, по крайней мере, показалось Якову Потаповичу, но он не обратил на это особенного внимания, и даже, раздумывая теперь, решил, что это ему именно «только показалось». Увы, несчастный, он не мог даже догадаться о страшной истине, которую ему суждено было узнать в близком будущем, при исключительных обстоятельствах.

Хотелось Якову Потаповичу какими-нибудь судьбами повидаться с его «несчастливым другом», томившимся, как он, по крайней мере, думал, в одной из слободских тюрем, но ему не удалось выхлопотать «свиданье». Сам Бомелий, охотно взявшийся похлопотать, оказался бессильным, и Яков Потапович вернулся в Москву.

Он глубоко вздохнул, невольно вздрогнув всем телом; лицо его на мгновение приняло мрачное, страдальческое выражение: несчастный дошел в своих воспоминаниях до рокового момента.

По возвращении из слободы Яков Потапович несколько раз виделся с княжной Евпраксией, но не по долгу. Ему стали тяжелы эти свидания, эти разговоры все на одну и ту же тему. Его дух был бодр, но плоть оказывалась немощна: от душевных страданий он начал чувствовать чисто физическую боль, стал ощущать незнакомое ему до сих пор расслабление во всем организме и чувство страха, что решимость дойти до намеченной им цели — а эта цель все более и более приближалась — вдруг покинет его в последний, решительный момент, стало закрадываться в его душу. Он начал искать поддержки и помощи в горячей молитве. Поздняя зимняя заря заставляла его коленопреклоненным или расprostертым ниц перед образом Богоматери — этой заступницы сырых и несчастных, божественный лик которой, освещенный кротким светом лампы, с небесною добротою глядел на молящегося юношу из переднего угла его горницы.

Наступил конечный день святок, прошедших в этот год в княжеском доме без игр и гаданий. Будущее казалось таким суровым и мрачным, что страшно было поднимать его завесу. Наступало 6 января — день Крещения, памятный день для Якова Потаповича. Еще в ночь под этот великий праздник, во время молитвы, у него внезапно явилась мысль посетить на другой день Новодевичий монастырь, отслушать обедню и проститься с могилою его приемной матери, княгини Анастасии Прозоровской. Мысль эта твердо засела в его голове, и он, ранним утром, проведя, как это было обыкновенно за последнее время, бессонную ночь, отправился пешком в эту святую обитель инокинь, расположенную на берегу Москвы-реки, в довольно далеком расстоянии от княжеских хором. Обедня еще не начиналась, но богомольцев в просторном храме было такое множество, что негде было, как говорится,

упасть яблоку. Яков Потапович с трудом протискался сквозь толпу к левому клиросу и забылся в искренней, теплой молитве. Он помнил, будто сквозь сон, как началась литургия, как хор свежих голосов молоденьких клирошанок, точно отзвучие ангельского небесного хора, проник ему в душу, но далее... далее он не помнит ничего. Он лишился чувств, очнулся он в узкой высокой комнате со сводчатым потолком и одним глубоким небольшим окном с железной решеткой; яркие солнечные лучи освещали скромную обстановку этого незнакомого ему жилища: деревянную скамью, несколько табуретов, стол, аналой, стоявший в переднем углу под иконостасом со множеством образов, озаренных едва заметным при дневном свете огоньком лампы, и, наконец, деревянную жесткую кровать, на которой он лежал. Его верхняя одежда была бережно повешена на гвозде, вбитом в стене, рядом с другими гвоздями, на которых была развешена женская монашеская одежда. Он был в келье одной из монахинь Новодевичьего монастыря. Голова его и лицо были смочены каким-то пахучим спиртом, кафтан и ворот рубашки расстегнуты, а поверх последней лежал, выбившись, его алмазный тельник. Все это он осмотрел взглядом полуоткрытых глаз, — в голове он чувствовал еще сильную тяжесть и совсем не мог поднять отяжелевших век, он даже не в силах был пошевелить головой. У постели, на которой он лежал, стояла коленопреклоненная монашенка: черный клобук с длинной вуалью указывал на полнейшее отречение ее от мира, и этот мрачный головной убор, как и вся черная одежда, рельефно оттеняли ее худое, далеко не старое и когда-то, видимо, отличавшееся недюжинною красотой лицо с выразительным профилем и большими, полными еще далеко не потухшего огня, глазами. Казалось, горе и страдания удесятирили количество прожитых инокиней лет и положили свой роковой отпечаток на гордое лицо и стройный стан бывшей красавицы. Постороннему взгляду кинулось бы в глаза поразительное сходство между этой стоящей на коленях заживо похоронившей себя женщиной и лежащим на кровати бледным, исхудалым, но все еще полным жизненных сил юношей. Слабый взгляд полуоткрытых глаз Якова Потаповича остановился с недоумением на лице женщины. Она не заметила, что он пришел в себя, так как все ее внимание — он видел это — было поглощено блестящим на его груди крестом, в алмазах которого солнечные лучи переливались всеми цветами радуги. Она, казалось, не могла оторвать от него глаз, и на ее строгом, как бы высеченном из мрамора лице все более и более сгущались мрачные тени. Большие широко раскрытые глаза выражали страдание и ужас. Взгляд их стал наконец до того странен и страшен, что этот ужас сообщился Якову Потаповичу, а он, собравшись с силами, сделал движение. Монашенка вскочила с колен.

— Жив, жив! — радостно произнесла она.

— Где я? — слабо прошептал он.

— В келье, родимый, в моей келье. Я — Досифея, недостойная раба Божия.

— Как попал я сюда? — с недоумением спросил он.

— Упал ты во храме, добрый молодец, и обмер, словно дух из тебя вон вышел; мать-игуменья приказала тебя вынести и в чувство привести; я ноне очередная, ко мне в келью и принесли тебя, раздели и уложили...

— А-а!.. Спасибо, мать Досифея. И с чего это со мной таково приключилось? — заметил он, приподнявшись и садясь на кровать.

— Народу-то во храме ноне много было, может, от духоты, а может, и от расстройства какого душевного; молился-то ты больно истово, сама мать-игуменья это заметила...

Яков Потапович промолчал и грустно опустил голову: он вспомнил, о чем была его молитва. Затем он хотел было встать, но ноги были настолько слабы, что он снова сел.

Монахиня заметила его движение.

— Посиди еще, отдохни, или приляг, а то так на улицу идти негоже, не равно опять что приключится. Идти-то тебе далеко? — спросила она.

— Да, да, я посижу; а идти не то чтобы далеко, да и не близко: в дом князя Прозоровского, — отвечал он.

— Прозоровского?.. Василия?.. — задыхаясь он волнения, спросила монашенка, и мертвая бледность разлилась по ее лицу.

— Да... Василия... Чего ты, матушка, испугалась? — спросил он с недоумением, видя перемену в ее лице и то, что она судорожно схватилась рукою за спинку кровати, чтобы не упасть...

— А ты... ты кто же ему... приходишься?.. — не отвечая на вопрос, дрожащим шепотом спросила она.

— Я? Я — никто... Я без роду и племени... подкидыш... — печально произнес он.

Все в незнакомой ему монашенке, даже самое непонятное ему ее волнение, внушало какое-то безотчетное доверие, и он рассказал ей все, что знал сам и что знает читатель о его происхождении. Мать Досифея слушала, затаив дыхание, и по ее лицу, по мере его рассказа, разливалось выражение неизъяснимого счастья. Он кончил.

— Сын... дорогой сын мой!.. — вскрикнула она, бросилась к его ногам и стала обнимать его колени.

— Сын... — с недоумением повторил Яков Потапович, глядя на склонившуюся плачущую женщину.

— Да, сын!.. — встала с колен мать Досифея и, сев рядом с ним на кровать, продолжала: — Слушай же, я расскажу тебе грустную повесть о моей жизни. Она коротка, как и самая жизнь, окончившаяся девятнадцати лет. Более двадцати лет минуло со дня, когда, дав жизнь ребенку, плоду моего невольного греха, или, скорее, несчастья, я, оправившись от болезни, надела на него свой тельник и подкинула его к калитке сада князя Василия Прозоровского, а сама пошла в эту святую обитель и, бросившись к ногам еще прежней покойной игуменьи, поведала ей все и умоляла ее оставить меня в послушницах. Просьба моя была ею исполнена, но она взяла с меня клятву, страшную клятву — забыть не только о мире, но и о моем ребенке. Я дала эту клятву и исполняла ее до сих пор, не наводя о его судьбе ни малейших справок. Но Бог судил иначе! Он сам разрешил меня от клятвы, приведши тебя в мою келью... Я узнала мой крест на твоей груди, когда расстегнула тебе ворот рубашки. Ты — сын мой...

— Матушка! — со слезами на глазах воскликнул Яков Потапович и упал в ее объятия.

Она склонилась к нему и смешала свои материнские слезы со слезами найденного сына.

Когда они оба выплакались, она поведала ему, что она — княжна, племянница казненного князя Кубенского; рассказала, что произошло с ней, в доме ее дяди, в день его казни, и в роще под Москвою, словом, все то, что уже известно нашим читателям. Она не назвала лишь виновника своего несчастья, не назвала ему его отца, и на вопрос: кто был он, после минутного раздумья отвечала:

— Не ведаю.

Она не нарушила, таким образом, условия принятой ею схимы — всепрощения врагам.

С трепетным вниманием слушал Яков Потапович роковое для него признание.

«Сам Бог благословил меня на задуманный подвиг, — проносилось в его голове. — Меня не может привлекать теперь жизнь даже желанием отыскать свой род. Я нашел мать, но все же, как сын греха, остаюсь без роду и племени».

«Даже для матери ты являешься лишь олицетворением ее несчастья, причину заживо погребенной в стенах монастыря молодости», — с особою горечью раздавался в его ушах какой-то внутренний голос.

В течение десяти дней, протекших с этого памятного для Якова Потаповича утра, он несколько раз еще виделся с своею матерью, открыл ей свою душу, рассказал события последних лет, свою любовь к княжне Евпраксии, свой вещий сон и свое решение спасти князя Воротынского, пожертвовав своею, никому не нужною жизнью. При упоминании имени Малюты — он заметил это — лицо его матери покрывалось мертвою бледностью. Она была сначала поражена его исповедью, но напрасно старалась поколебать его бесповоротную решимость и, наконец, сегодня дала ему свое благословение...

«Да, сегодня!» — вспомнилось Якову Потаповичу.

Завтра 16 января — день, назначенный для казни Владимира Воротынского. Завтра он должен предстать, вместо него, перед престолом Всевышнего. Все уже приготовлено, княжна уведовлена, Никитич и еще один старый княжеский слуга согласились помочь ему. Жить ему оставалось менее суток. Он как бы что-то вспомнил, встал и пошел по направлению к калитке, ведшей на берег реки. Ему захотелось в последний раз посмотреть на то место, где его несчастная, опозоренная мать положила его — свое дитя невольного греха, дитя несчастья. Отодвинув засов, он вышел на берег, но не успел сделать двух шагов, как перед ним, точно из-под земли, выросла темная фигура какого-то человека, закутанного в широкий охабень с поднятым высоким воротником и с глубоко надвинутою на глаза шапкою, так что лица его не было видно.

Яков Потапович остановился и смело опросил его:

— Кто ты? Что тебе надобно?

— Кто я — тебе этого до времени знать совсем лишнее; знай только, что я друг тебе, а надобно мне от тебя, чтобы ты меня послушался.

— Как же мне тебя слушаться, если ты от меня хоронишься?

— Значит, так надобно; а слушаться надо не человека, а речей его. Возьми вот эту скляночку, да как завтра на лобное место придешь, перед тем, как петлю будешь на себя накидывать, выпей, а петлю до зари погоди накидывать и чурбана из-под ног не вышибай. Послушаешься — послезавтра увидимся, тогда и узнаешь, кто я. Теперь же скажу еще, что рановато умирать тебе: твоя услуга еще понадобится княжне Евпраксии.

Проговорив залпом последние слова, незнакомец кубарем скатился вниз к реке и исчез так же быстро, как и появился.

Яков Потапович остался на том же месте, и, если бы не пузырек с какою-то жидкостью, который остался в его руке, он бы подумал, что это был сон.

«Все знает... Кто бы это был? И голос знакомый... Умирать, говорит, рановато... Услуга моя еще понадобится княжне Евпраксии. Может, и правду бает... Ништо, послушаюсь... Да, пожалуй, и впрямь правду...» — подумал Яков Потапович, вспоминая свой «вещий сон».

Прежде, нежели перейти к описанию дальнейших роковых событий жизни наших героев, мы просим наших читателей возобновить в своей памяти все рассказанное в первых трех главах

первой части нашего правдивого повествования.

XVI

Последняя ставка в опасной игре

Мы, как вероятно не забыл читатель, оставили Малюту Скуратова, после доклада ему Тимофеем Хлопом о самоубийстве Якова Потапова, погруженным в глубокую, ему одному ведомую думу.

Не прошло и часа, как в дверь комнаты, в которой сидел грозный опричник, раздался легкий стук.

— Войди! — очнулся Малюта.

Дверь бесшумно отворилась, и перед Григорием Лукьяновичем появилась снова неуклюжая фигура Тимошки.

— Ты? — воззрился на него опричник.

— Как видишь, боярин, я, — с низким поклоном ответил холоп.

— Зачем?

— Да что, боярин, дело совсем дрянь выходит.

— Что, что такое? — вскочил на своем кресле Малюта.

— Да княжну-то, как она вчера вечером бежать к Бомелию хотела с суженым своим повидаться, нянька, старая карга, накрыла да напрямиком к отцу. Князь Василий, старый пес, допрос чинить начал дочери, а она ему все доподлинно и рассказала. Осатанел страсть... «Не князь он Воротынский, коли от казни воровским манером схоронился, честь свою родовую на бабу променял!..» Дочь в светлицу крепко-накрепко запер, а жениха ее, князя Владимира, если явится, приказал холопьям со двора шелепами гнать, сам же к царю собирается с новым челобитьем... Только теперь ему сильно занедужилось... отложил. Разузнал это я от Бомелия, да сейчас к тебе, боярин, живым манером и обернулся. Голову совсем потерял и придумать что не ведаю.

Верный слуга замолчал. Григорий Лукьянович тоже молчал, видимо обдумывая положение дела. От умственного напряжения жилы на его лбу налились кровью.

— Успеешь сейчас с приставами обыскать без шума погреба князя и подбросить коренья? — спросил он глухим голосом после довольно продолжительной паузы.

— Это чего не успеть — успею... — отвечал Тимофей.

— Так собери приставов от моего имени и делай; да торопись; главное — не терять времени... Ступай!

Тимошка вышел, а Григорий Лукьянович вскоре после его ухода помчался во дворец.

Было еще далеко до полудня 17 января 1569 года. Царь уже несколько раз спрашивал о своем любимце, что для его приближенных было несомненным признаком его дурного расположения духа. Он на самом деле был мрачен. Когда Григорий Лукьянович прибыл в

царские палаты, Иоанн находился в опочивальне. Находившиеся в смежной комнате любимцы ходили на цыпочках и разговаривали шепотом, боясь нарушить царившую в палатах гнетущую тишину, ту тишину, которая, обыкновенно, предвещает бурю. Малюта заметил это; по его губам скользнула довольная улыбка, и он, высоко подняв голову, как бы гордясь своим бесстрашием, быстро прошел в опочивальню. Сердце его, впрочем, усиленно билось; несмотря на благоприятное для него расположение духа царя, Григорий Лукьянович понимал, что для него наступил момент последней ставки в опасной игре.

— Или пан, или пропал! — пронеслось в его голове.

Он стоял перед сидевшим в кресле Иоанном.

— Измена, государь, явная измена. Опасность неминуемая... для тебя... для государства... — глухим голосом воскликнул грозный опричник, кланяясь царю в пояс.

— Что, что еще такое? — привскочил царь, видимо застигнутый в смислях, имевших совершенно иное направление.

— Да надясь обозвал ты меня, великий государь, змею подколенною, а я молвить осмелился тебе, что иных змей у сердца своего ты пригреваешь, ан вышло по-моему...

Григорий Лукьянович остановился. Иоанн, опершись на костыль, сидел на самом краю кресла, каждую минуту готовый снова вскочить с него, и глядел на Малюту помутившимся взглядом.

— В чем же дело, в чем же дело?.. Говори... не краснобайствуй... — прошипел он.

— А в том, что казненный вчера князь Воротынский не осквернил уста свои ложью перед смертью, а сущую правду рассказал о князе Василии Прозоровском.

— Дался тебе этот князь. И так старик... больной и хилый... не нынче-завтра в могилу ляжет без твоей помощи... — усмехнулся царь.

Он, видимо, успокоился и сел глубже в кресло.

— Ох, государь, притворяется старик, хворью и немочью глаза тебе отводит. Хорошо, что меня послушал ты, опалу на него наложил, пока я делом его будущего зятя занимался, а то, может, петь бы теперь нам над тобой панихиды.

— Типун тебе на язык, рыжий пес! Да как он у тебя поворачивается говорить мне такие речи скверные! — сверкнул Иоанн глазами и, вскочив с кресла, замахнулся на Малюту острием костыля.

— Бей верную собаку, что охраняет тебя от твоих ворогов, — не потерялся Григорий Лукьянович, — бей, да не убей во мне и себя, и свое царство. Недолго мне тебя на том свете дожидаться будет, спроводит тебя как раз туда князь Василий зельями да кореньями...

Костыль задрожал в руке царя, и она бессильно опустилась.

— Зельями!.. Кореньями!.. Какими?.. Где?.. — прошептал он, обводя Малюту почти бессмысленным, помутившимся взглядом.

— Присядь, великий государь, да выслушай, — заговорил Григорий Лукьянович, и чуть заметная довольная улыбка зазмеилась на его губах.

Он слишком хорошо знал своего властелина, чтобы не понять, что игра его выиграна. Царь еле держался на ногах. Малюта взял его под руку и как малого ребенка усадил в кресло.

— Говори!.. — дрожащим шепотом произнес Иоанн.

— Не велел ты докучать себя делом князя Воротынского, а он между тем дал важные показания: он раскрыл целый адский замысел князя Владимира Андреевича, главным пособником которого является князь Василий Прозоровский. Замыслил он извести тебя, государь, и зелья для того припасены в амбарах князя... Я взял на себя смелость без твоей воли, государь, и сейчас только что послал приставов обыскать эти амбары без шума, без огласки, так как князь Владимир, царство ему небесное, точно указал и место, где они хранятся.

Малюта истово перекрестился. Царь, видимо, машинально, последовал его примеру.

— Известился я, кроме того, что гонца послал он с грамотою к «старому князю» — перенять и его распорядился я... Дозволь, великий государь, допросить хитрого старикашку... Отведи беду от себя, от своего потомства, от России.

Иоанн молчал.

— Не говорит во мне ни злоба, ни неприязнь к князю Василию, — продолжал Григорий Лукьянович. — Самому ведомо тебе, что хлеб-соль даже когда-то мы водили с ним, но стал я замечать за ним, что и тебя, государя, и всех нас он сторонится, и сердцем почуял неладное, ан вещун-то мой не обманул меня. К примеру взять князя Никиту: хотя он и одного отродья, а слова против него не молвлю; может, по любви к брату да слабости душевной какое касательство до дела этого и имеет, но я первый буду пред тобой его заступником; сам допроси его, после допроса брата, уверен я, что он перед тобой очистится; а коли убедишься ты воочию, что брат его доподлинно, как я тебе доказываю, виноват кругом, то пусть князь Никита вину свою меньшую с души своей снимет и казнит перед тобой, государь, крамольника своею рукою.

— Как своею? — вскинул на него царь глаза.

— Так... своею... перед твоими очами, государь, — невозмутимо отвечал Малюта. — При мне не раз похвалялся он тебе, что хоть и не записан в опрочину, а верней его ты не сыщешь будто бы слуги, так вот, пусть и докажет он, что исполнит «не сумняся и молчав всякое царское веление, ни на лица зря, ни отца, ни матери, ни брата», как в присяге нашей прописано.

Взгляд Иоанна загорелся болезненно-злым огнем, а черты лица исказились зверскою улыбкою. Это было почти постоянным последствием долгой беседы с его кровожадным любимцем.

— Занятно придумал, Лукьяныч! Исполать тебе!.. Попробуем!.. А я, признаться, хитрецом-то считал Никитушку, а не брата его — Василия... А может, и прав ты — провел меня старый пес... Убедиться-то оно не мешает, есть ли у меня верные слуги между старыми боярами... Занятно, говорю, придумал, занятно!

Царь засмеялся полубезумным смехом, и вдруг глаза его широко раскрылись.

— Так дозволяешь, государь? — поспешно спросил Григорий Лукьянович.

— Иди... допроси... зелье... грамоту... — произнес царь коснеющим языком и задрожал.

Малюта спешил недаром. Приказание, решавшее судьбу князя Прозоровского, было вырвано. Палачу не было дела, что царь бился в его руках в припадке своей страшной болезни. Он дождался конца припадка и, когда царь захрапел, поспешно вышел из опочивальни.

— Започивал! — бросил он на ходу бывшим в соседней горнице опричникам.

Смысл этого слова был им достаточно ясен.

XVII

На кладбище

Могильщики спешно окончили свою работу. У свежей общей могилы казненных остался один коленопреклоненный юродивый. Оба могильщика направились к стоявшей невдалеке телеге, то и дело оглядываясь на темную фигуру молящегося, одетого в длинный, грубого черного сукна подряснике, с такою же, глубоко нахлобученною на лоб высокою круглою шапкою, имевшею вид монашеского клобука с большими наушниками, завязанными у подбородка, позволявшими видеть лишь длинный нос, части впалых щек и большие глаза в глубоких глазных впадинах, обращенные к небу. Как только могильщики скрылись с глаз и стук колес их телеги о мерзлую землю замолк вдали, юродивый быстро приподнялся с колен, подошел, озираясь, к одному из росших вблизи кустов и вытащил, видимо, заранее спрятанный в его ветвях заступ. Осторожно ступая по рыхлому снегу, он снова вернулся к только что зарытой могиле, несколько минут оглядываясь кругом и как бы прислушивался. Был пятый час утра. Кругом все было тихо. Ни малейшего отзвучья городской жизни не достигало до окраины кладбища, да и самая жизнь в такой ранний час, видимо, еще не начиналась в полумертвой Москве. От самых ближайших жилых строений кладбище было отделено широкою поляною, а само оно занимало небольшую часть леса, тянувшегося на далекое пространство по гористому берегу Москвы-реки. Убедившись, что кругом нет ни одной живой души, юродивый принялся быстро разрывать могилу. Эта «странная» работа положительно преобразила его: он, казалось, вырос на целую голову, а сила, с которою он владел тяжелым заступом, далеко не могла быть присуща старенькому «божьему человеку», каким он казался за несколько минут перед тем. Вскоре обнаружилась крышка крайнего гроба. Осторожный, но сильный удар заступом заставил ее отскочить, и гроб открылся. Юродивый осторожно опустился в яму, схватил поперек туловища лежавшего мертвеца, вынул его из гроба и, сняв с него саван, положил труп на снег у края разрытой могилы. Этот мертвец был казнивший сам себя Яков Потапович. Бросить саван на дно гроба, снова закрыть его крышкой и зарыть могилу землею с снегом было делом нескольких минут. Спрятав заступ в кусте, юродивый вернулся к мертвецу, взвалил его на плечи и быстрыми шагами с этою страшною ношею направился в чащу леса. Его твердая, уверенная походка доказывала, что он знает этот лес и идет к ранее намеченной им цели. Цель это вскоре обнаружилась. Юродивый дотащил свою ношу до сплетенного из прутьев полуразвалившегося шалаша, стоявшего на небольшой полянке, и бережно уложил труп на сложенный в шалаше, в виде постели, сухой валежник. Это убогое ложе да два деревянных обрубка составляли все убранство этого Бог весть чьею рукою устроенного лесного убежища для бесприютных. Юродивый вынул из-за пазухи нож и небольшой пузырек с какою-то жидкостью, наклонился к мертвецу, искусно разжал ему ножом стиснутые зубы и влил в рот содержимое пузырька. Прошло несколько минут. По лицу мертвеца пробежали сперва чуть заметные судороги, затем на бледном, бескровном лице заиграл пятнами слабый румянец и все тело несколько раз конвульсивно вздрогнуло. Наклоненный над лежавшим Яковом Потаповичем юродивый, видимо, с трепетным вниманием следил за возвращающеюся, казалось, в бездыханный труп жизнью. Каждая минута тянулась подобно вечности. Наконец у лежащего вздрогнули веки и он полуоткрыл глаза.

— Пить... — чуть слышно прошептал очнувшийся мертвец.

Юродивый бросился к противоположной стене шалаша, разрыв лежавшую там солому и, вынув глиняный кувшин и кружку, налил ее до краев пенистою влагою. По

распространившемся в шалаше аромату нетрудно было догадаться, что это было дорогое фряжское вино. Подойдя к Якову Потаповичу, юродивый приподнял левою рукою ему голову, а правую поднес к его губам кружку. Тот с жадностью прильнул к ее краям и в несколько глотков опорожнил ее. Вино окончательно подкрепило возвращенного к жизни, и он даже присел на своей постели.

— Где я? Что со мной? — все еще, впрочем, слабым голосом проговорил он.

— Ты жив, спасен и находишься около друга, хотя и не догадываешься, что этот друг — твой недавний злейший враг, — ответил юродивый.

Яков Потапович пристально вглядывался в говорившего; его голос снова, как и третьего дня на берегу Москвы-реки, показался ему знакомым.

— Знай же, вот кто я!..

Юродивый сорвал с своей головы шапку с наушниками и сбросил рясу.

— Григорий... Ты? — мог только произнести Яков Потапович и даже вскочил на ноги, но тотчас же снова опустился на свое убогое ложе.

Он был еще слаб. Перед ним стоял бывший доезжачий князя Василия Прозоровского, затем опричник и верный слуга Малюты и, наконец, обманутый любовник покойной Татьяны — Григорий Семенов.

— Не дивись, Яков Потапович, что видишь во мне, твоим бывшем враге, своего спасителя, не дивись, говорю, а выслушай. Дорого обошелся мне, окаянному, грех мой великий, что пошел я против моего благодетеля, князя Василия Прозоровского, что связался я с цыганскою нечистью и душу свою загубил вконец ни за грош, ни за денежку, ни за медную пуговку. Не замолить мне этого греха ни в этой жизни, ни в будущей. Да и маяться мне на этом свете недолго осталось, чай! Спасу княжну и аминь... Нет мне суда людского, сам предстану на суд к Всевышнему...

Григорий Семенов в мельчайших подробностях рассказал Якову Потаповичу обнаруженную им измену Татьяны Веденеевой и смерть ее от его руки, возникшее в его уме решение, затаив свою злобу против Малюты, остаться у него на службе с единственною целью вызнать его намерения относительно княжны Евпраксии и помешать привести в исполнение грязные замыслы этого дьявольского отродья, что он, по мере сил, пока и исполнял.

— Не домекнулся старый пес, что я укокошил его черномазую зазнобушку. Измучился я и исхудал от угрызений совести, а он приписал это грусти по исчезнувшей полюбовнице, еще больше приблизил меня к себе и доверять стал самые свои сокровенные мысли, а мне это было и на руку, — продолжал говорить Григорий Семенов. — Узнал я от него, что тебя подвести хотят, чтобы ты пожертвовал собою за этого бродягу подлого, что прикрылся честным именем князя Воротынского...

— Как бродягу?.. Что ты вздор мелешь? — вскинул на него глаза Яков Потапович.

— Вестимо, бродягу!.. Петр он, по прозвищу Волынский!.. Тимошка Хлоп где-то разыскал его и привел к Лукьяновичу, а тот вручил ему тельник и перстень убитых в Тверском Отрочьем монастыре отца и сына Воротынских, подучил что говорить, да и подослал к князю Василию, чтобы и тебя известить, так как от Таньки знал он о любви твоей к княжне Евпраксии, и ее добыть, да и князю Василию чтобы от царя не поздоровилось. Всего добились бы, анафемы, кабы не я. Вошел я в доверие к бусурману Бомелию и стащил у него приготовленное для лжекнязя Воротынского снадобье. Взыскался раз он при мне пузырьков, искал, искал, все у себя перерыл — не нашел, да другие и приготовил, а я один тебе третьего дня отдал, чтобы

ты выпил перед тем, как петлю на себя накинешь и обмер на время, а другим тебя сегодня в чувство привел, словом, проделал то же самое, что нынешнею ночью Бомелий сделал над тем приспешником Малюты, что назвал себя князем Воротынским и сделался женихом Евпраксии. И себя не позабыл я, припас и на свое пай «лихого зелья», — заключил Григорий Семенов.

Яков Потапович, не обратив внимания на последние слова опричника, положительно не верил своим ушам.

— Зачем же ему было спасти жизнь князю Василию... там... в вотчине... и чуть своею не поплатиться? — спросил он.

— И это все заранее было подстроено, чтобы глаза отвести князю Василию; наш же ратник следом за вами туда ездил и напал на старого князя, да ненароком сильнее, чем следует, саданул молодчика, — жаль, что совсем не укокошил. С этим же ратником была им прислана Малюте весточка об успехе сватовства за княжну, — убежденным, дышавшим неподдельною искренностью тоном отвечал Григорий Семенов.

— Значит, и арест его, и казнь — все это было лишь гнусное скоморошество? — все еще с оттенком некоторого недоверия задал вопрос Яков Потапов.

— Вестимо обман один и глазам отвод. Привезли молодчика прямо в слободу, в дом Малюты, отвели ему горницу, там он до самого вчерашнего дня сидел и все писал что-то, да с Лукьянычем по ночам беседовал.

Точно пелена спала с глаз Якова Потаповича: все странности в поведении считавшегося ему другом и князем Владимиром Воротынским, которым он давал те или другие посильные объяснения, приобрели теперь в его глазах иную окраску и явились подтверждающими рассказ Григория Семенова обстоятельствами. Припомнился ему разговор с Бомелием, действовавшим, как оказывается, заодно с Малютою, его выпытывания о намерениях княжны, его чуть заметная усмешка. Яков Потапович понял, что Григорий говорил правду.

— Что же теперь будет с княжной? Ведь она, чай, еще вчера сбежала из дому к Бомелию! — воскликнул он, как бы отвечая на свою мысль.

Ему пришла на память просьба княжны сказать ей, в какой день будет назначена казнь. Он исполнил эту просьбу, но только теперь уразумел истинный смысл ее.

«Она хотела видеть его тотчас же, как его принесут к Бомелию, сама присутствовать при том, как он очнется», — пронеслось в его голове.

— Об этом не тревожься, я через знакомых мне княжеских людишек предупредил Панкратьевну, чтобы глядела зорко в этот вечер за княжною. Небось, старая из глаз не выпустит. Разве до самого князя Василия доберется рыжий пес Малюта, ну, да этого в один день не делается... Ты здесь отдохни, подкрепишься, есть тут кое-что из съестного, — указал Григорий Семенов рукою на разрытую солому, откуда он доставал кувшин с вином, — а я мигом сбегаю и все разузнаю.

— Но тебя могут узнать в доме князя.

— Не узнают, кому не надобно. Под этою ряскою никому невдомек будет искать опричника.

Григорий Семенов снова надел подрясник, нахлобучил шапку, подвязал наушниками у подбородка и стал неузнаваем в этом наряде юродивого.

— Я скоро оберну... — крикнул он Якову Потапову и вышел из шалаша, быстро зашагав по направлению к кладбищу.

Солнце уже высоко стояло в небе.

Князь Василий Прозоровский, не чуя уже совсем нависшей над его головою беды, встал в это утро позднее обыкновенного. Это было весьма естественно, так как князь не спал почти всю ночь. Предупрежденный побег дочери, ее исповедь — все это не могло не отразиться на и без того расшатанных событиями последнего времени нервах старика. Даже продолжительная молитва не успокоила его, и он почти всю ночь пролежал в постели с открытыми глазами, передумывая о прошедшем и с ужасом отгоняя назойливые мысли о мрачном будущем. Вставши с постели, он стал, по обыкновению, ожидать утреннего визита княжны, но проходили часы, а она не являлась. Князь только после тщетного ожидания вспомнил, что он вчера, сдавая ее с рук на руки Панкратьевне, приказал княжне без зова не являться к нему на глаза, и она сидела у себя в светлице, устремив взгляд в одну точку, не обращая внимания на сенных девушек, занятых работою. Перед нею тоже стояли пядьцы, но она и не дотрагивалась до них. В комнате царила какая-то щемящая душу тишина, прерываемая лишь мерным шелестом иголок о канву и стуком чулочных спиц сидевшей на лежанке Панкратьевны. Вдруг какой-то странный шум и лязг оружия донеслись с княжеского двора. Девушки повскакали с мест и подбежали к окнам.

— Княжна-голубушка, никак к нам опричники наехали! — воскликнула Маша.

— Опричники! — машинально повторила та.

— Чего вы, бездельницы, от работы отлынивать да по окнам висеть вздумали? — сползла Панкратьевна с ворчаньем с теплой лежанки и в свою очередь направилась к одному из окон.

Девушки дали ей дорогу. Княжна по-прежнему сидела неподвижно, видимо, ничуть не обеспокоенная роковым известием, или же не понявшая его. Панкратьевна взглянула в окно и обмерла. Двор был на самом деле полон опричниками. Она потерялась, впрочем, только на минуту. Быстро, насколько позволяли ее старческие силы, выбежала она из комнаты, захлопнула дверь и заперла ее на ключ, так что княжна с девушками оказались запертыми, и поплелась вниз. Тем временем в опочивальню князя Василия вбежал, запыхавшись, с растерянным видом, старик-ключник.

— Что надо? — кинул ему князь, потревоженный среди горьких, томительных дум о будущем своей любимой дочери.

— Беда, князь-батюшка, беда, наехали пристава с опричниками, ключи от амбаров у меня отобрали, шарят, какие-то коренья и зелья ищут.

Князь побледнел и невольно задрожал.

— А есть при них царский указ?

— Не показывали, да, кажись, и нет, так как по приказу Малюты Скуратова, бают они, розыск этот делается.

— Позвать сюда ко мне приставов! — вспыхнул князь Василий. — Я им покажу, как без царского указа бесчинства в боярских домах чинить.

Ключник выбежал исполнить приказание, князь вышел из опочивальни, прошел в передние горницы и появился на крыльце, у которого в этот самый момент сходил с взмыленного коня Григорий Лукьянович, прискакавший прямо из дворца.

— Велением великого государя ты мой пленник! — подошел он к князю Василию.

Тот в упор взглянул на него.

— Да будет воля Божья и государева! Бери меня, подлый холоп! — произнес князь.

Лицо Малюты покрылось красными пятнами.

— Вяжите его княжескую милость, да покрепче, юрок вельможный-то боярин; неровен час, выскользнет! — хриплым от нахлынувшей злобы голосом крикнул царский любимец опричникам.

Несколько человек кинулись на князя, скрутили его веревками и бросили в приготовленные розвальни, запряженные парюю сильных лошадей. Ошеломленная княжеская дворня, скучившись в стороне, со страхом и трепетом смотрела на дикую расправу «царских слуг» с их «князем-милостивцем».

— В слободу! — прохрипел Малюта.

Розвальни с связанным князем и усевшимися в них опричниками, конвоируемые несколькими из них верхами, быстро выехали за ворота княжеского дома. Григорий Лукьянович тоже вскочил на лошадь и помчался за ними следом. Оставшиеся опричники стали хозяйничать в княжеских погребах и хоромах. Панкратьевна с воем вернулась наверх, отперла дверь и бросилась к княжне.

— Увезли, изверги, увезли князя-батюшку на муку, на смерть лютую!

Испуганная княжна вскочила с кресла, успев только произнести:

— Увезли... батюшка... — и как сноп упала на пол.

Девушки, видевшие из окон происшедшую свалку, но хорошенько не разобравшие в чем дело, кинулись к ней на помощь вместе с продолжавшей причитать Панкратьевной. Их визг и крики смертельного испуга огласили княжеские хоромы. В этот же момент на пороге светлицы появился князь Владимир Воротынский, схватил бесчувственную княжну и бросился, держа ее на руках, как ребенка, вниз по лестнице. Все это было делом одной минуты.

Через какой-нибудь час времени подробности всего случившегося в доме князя Василия Прозоровского передавал запыхавшийся от быстрой ходьбы Григорий Семенович с нетерпением ожидавшему его в лесном шалаше Якову Потаповичу.

— Ты где же все это разузнал? — спросил последний.

— Сам все время на дворе был между дворней; не до меня им было: насмерть перепуганные и не заметили.

— Что же нам теперь делать?

— Можешь идти со мной до Бомелиева логовища, али слаб еще?

— Конечно, могу, какой там слаб! Я тут еще вина хлебнул, да и наелся досыта; сто верст, кажись, отмахая без отдыха, лишь бы спасти княжну, — торопливо заговорил Яков Потапович, вскочил на ноги и быстро вышел из шалаша.

— Коли так, идем и да поможет нам Бог! — заметил Григорий Семенович, последовав за ним, и перекрестился.

Яков Потапович тоже осенил себя истовым крестным знамением.

Когда они проходили по кладбищу, мимо могилы, в которой несколько часов тому назад был

зарыт Яков Потапович, Григорий Семенович обернулся к нему:

— Запомни это место хорошенько... неравно пригодится, — загадочно произнес он.

— Зачем? — удивленно спросил тот.

— Так... говорю, запомни!

XVIII

В когтях коршуна

Княжна очнулась в незнакомой ей горнице. Она лежала на постели, лучи солнца пробивались сквозь черный шелковый полог. С удивлением приподнялась несчастная, отдернула этот полог и начала осматривать комнату. Скучная обстановка, состоявшая из одной скамьи и кровати, придавала ей вид нежилого помещения.

Княжна сошла с постели, подошла к единственной двери, несколько раз толкнула ее, но дверь оказалась запертою. Затем она бессознательно приблизилась к небольшому окну, взглянула в него и могла лишь разобрать сквозь блестящую слюду, что находится в комнате нижнего этажа, в доме, окруженном обширным пустырем. Только вдали чернелись какие-то убогие постройки. Машинально села молодая девушка на скамью, провела рукою по голове и старалась припомнить, что с ней случилось и как она сюда попала. Но долго, несмотря на все свои усилия, она ничего не могла сообразить; голова ее кружилась, в глазах темнело; в изнеможении добрела она до постели и снова легла. Тревожный сон охватил ее, какие-то бессвязные и одно другого нелепее видения носились в ее воображении.

Часа с два продолжался этот сон, и когда она снова открыла глаза, ей почудились за дверью чьи-то осторожные шаги. Зашумел дверной засов. Княжна едва успела вскочить с постели, как дверь распахнулась и на ее пороге появился Малюта.

— Наконец-то ты моя, красоточка! Сам нареченный женишок твой доставил тебя ко мне в целости; малость похудела ты за это время, осунулась, а все красота писаная, другой такой я и не видывал, — приблизился к ней грозный опричник.

Княжна стояла, как окаменелая. Близость опасности, казалось, укрепила ее нервы, глаза ее горели каким-то странным, почти безумным огнем.

— Как, жених мой нареченный, Владимир... к тебе... Ты лжешь, палач!

— Погляди, коли лгу, — усмехнулся Малюта, — он здесь настороже стоит, совет и любовь нашу с тобой охраняет.

Григорий Лукьянович приотворил дверь, и княжна на самом деле увидела ходившего по соседней горнице князя Владимира Воротынского. Она вздрогнула, но пересилила себя и гордо выпрямилась.

— Верю... — почти спокойно сказала она. — Но что вам нужно от меня? Пустите меня к моему отцу...

— Далеконько, девушка: он в слободской тюрьме, под тремя замками сидит... От тебя теперь зависит: коли добром сдашься — его на свободу выпустят, или же и ты не уйдешь, да и с ним я вечером перевожусь...

Глаза Малюты злобно сверкнули. Он подскочил к княжне, схватил ее в свои объятия и стал покрывать страстными поцелуями. Напрасно она делала усилия, чтобы освободиться, он все крепче и крепче сжимал ее. Вдруг в голове ее мелькнула счастливая мысль, и она, высвободив одну руку, с быстротою молнии выхватила из ножен висевший на его поясе кинжал.

Малюта отскочил назад.

— Слушай, — задыхаясь от волнения, крикнула княжна, — еще один шаг ко мне — и я лучше убью себя, чем позволю надругаться над собою... Иди, убивай отца, ему смерть легче бесчестия его дочери, но меня не тронь... в крайности я решусь на все...

Она стояла в оборонительной позе. Медленно, с пылающим низкою страстью взором подходил к ней Малюта. Еще одно мгновение — и произошло бы нечто ужасное, как вдруг раздался страшный удар в окно. С треском вылетела рама, и в комнату вскочил Яков Потапович.

— Мертвец!.. — воскликнул ошеломленный Григорий Лукьянович и выбежал вон из горницы.

Вместе с своим достойным сообщником, мнимым князем Владимиром Воротынским, выскочил он из избы Бомелия и, забывши о своих конях, оба они спустились на лед Москвы-реки и бросились бежать на другую сторону, гонимые, видимо, паническим страхом. Помощь Якова Потаповича поспела как раз вовремя. Обессиленная после необычайного напряжения душевных сил, княжна лежала в глубоком обмороке, чего, к счастью для нее, не дождался Малюта. Яков Потапович бережно взял на руки дорогую для него ношу, обернул ее в лежавшее на постели теплое ватное одеяло и вынес на двор, где уже дожидался его Григорий Семенович с оседланными лошадьми беглецов.

— Ишь, стреканули, точно их черт погнал! Совесть нечиста, так и перепугались выходца с того света, — усмехнулся последний, помогая Якову Потаповичу сесть на лошадь и укладывая поперек его седла все еще бесчувственную княжну Евпраксию. — Скачи в лес, в шалаш, а я догоню, только последний расчет учиню с этим проклятым логовищем!

— Какой расчет?

— Запалю и шабаш, чтобы следа не осталось от него.

Яков Потапович кивнул головою, как бы одобряя этот план, и поехал быстрою рысью.

Григорий Семенов вернулся в жилище Бомелия, высек огня и поджег все могущее быстро воспламениться, выждал, пока огненная стихия начала пожирать внутренность избы, и затем вышел на двор, вскочил на коня и ускакал.

— Пожар, пожар! — вскоре раздался крики по всей прибрежной части Замоскворечья, и толпы народа сбегались со всех сторон на пустырь, среди которого стояла объятая пламенем изба «басурмана и чародея». Черные густые клубы дыма то и дело прорезывались широкими языками красного пламени, с жадностью лизавшими сухое дерево избы.

Никто, однако, не думал о спасении горевшего жилища или хотя находившегося в нем имущества. Все стояли безучастными зрителями пожара этого «нечистого капища». Время от времени из внутренности горевшей избы раздавался страшный треск.

— Ишь, нечисть-то расходилась! — слышались замечания.

— «Сам», «он» запалил! Видно, осерчал на слугу своего верного, что ушел отсюда в слободу, — догадывались некоторые, благочестиво избегая произнести «черное» слово.

К довершению ужаса окружавших место пожара, верхний накат избы рухнул, и около обнажившегося остова печи показался прислоненный обуглившийся человеческий скелет. Стоявшие в переднем ряду зрители отшатнулись; произошел страшный переполох, там и сям слышался женский визг и детский плач. Пожар между тем продолжался. Толпа успокоилась, тем более, что скелет рухнул и скрылся за горящими бревнами.

Не только жители Замоскворечья, но почти вся Москва перебивала на пожаре Бомелиева жилища, окончившемся лишь поздною ночью, когда от большой просторной избы осталась одна груда дымящихся головней и торчащая посередине обуглившаяся печка с длинною трубою.

Несколько дней это пожарище продолжало привлекать любопытных, делавшихся все смелее. Окончилось тем, что через неделю печь и труба оказались разобранными и разнесенными по кирпичу соседями для своих хозяйственных надобностей. Выпавший вскоре обильный снег покрыл весь пустырь ровною, белую пеленою. Желание Григория Семеновича, таким образом, исполнилось: от «проклятого логовища», действительно, не осталось и следа.

XIX

Гробы не пустуют

Бесчувственная княжна Евпраксия лежала недвижимо поперек седла, не подавая ни малейших признаков жизни. Яков Потапович, отъехав довольно далеко от избы Бомелия, попридержал лошадь и поехал шажком по дороге, ведущей к кладбищу и лесному шалашу, единственному в настоящее время безопасному для него приюту. Вскоре сзади него раздался конский топот.

— Уж и запалил я это бесово капище! — заметил, поравнявшись с ним, Григорий Семенович.

Его конь тяжело дышал и был весь в мыле.

— Как бы не перекинуло на другие избы! — задумчиво произнес Яков Потапович.

— Где перекинуть, кругом пустырь, ветра нет, сгорит, как свеча; часу не пройдет — одни головешки останутся.

Всадники ехали некоторое время молча.

— Куда же нам теперь с княжной укрыться? — первый снова заговорил Григорий Семенович.

Этот, казалось бы, совершенно простой, неизбежный в их положении вопрос положительно поразил Якова Потаповича: он даже приостановил коня.

— Как куда? — удивленно оглянул он Григория Семеновича.

Явившись как раз вовремя для спасения любимой им девушки, вырвав ее из рук врагов, он мчался с дорогою ему ношею, не задавая себе никаких вопросов: зачем? куда? Она была спасена — и это все, что было нужно! О чем он мог еще думать?

— Куда, спрашиваю я, мы с ней денемся? — кивнул Григорий Семенович головою на лежавшую княжну. — Вишь, обмерла, совсем не шелохнется, надо в чувство привести, а это не мужское дело. В ее хоромы везти — не ладно будет, попадешь как раз из огня да в полымя, oprичники наши там, чай, до сей поры распоряжаются; в шалаш — тоже

несподручно, в одеяле-то, неровен час, ознобится, да опять же, повторяю, не мужское это дело.

По мере того, как он говорил, Яков Потапович делался все бледнее и бледнее: выражение отчаяния появилось на его лице. Он понял весь ужас их положения, грозящего опасностью для самой жизни спасенной им девушки.

Вдруг в голове его, видимо, блеснула внезапная мысль: он радостно улыбнулся.

— В монастырь! — почти вскрикнул он.

— В какой?

— В Новодевичий; у меня есть там знакомая монахиня — мать Досифея.

— Это вот дело, там она будет в безопасности, — решил Григорий Семенович. — Надо повернуть назад, да берегом и пробраться, где не ладно, а то на объезд натолкнешься: что, да куда? — и не отвяжешься.

Всадники повернули коней. У ворот монастыря Григорий Семенович бережно снял с седла княжну Евпраксию и передал ее на руки соскочившему с лошади Якову Потаповичу.

Привратница пропустила его без труда с его своеобразною ношею в монастырские ворота, как только он упомянул имя матери Досифеи. Григорий Семенович остался стеречь лошадей. Яков Потапович направился к знакомой ему келье. Мать Досифея была поражена его появлением, так как поминала его уже за упокой в своих молитвах, но для расспросов не было времени: княжна все еще находилась в глубоком обмороке.

— Матушка, спаси ее, приюти; я зайду к вечеру узнать, жива ли? — дрожащим от волнения голосом обратился к ней Яков Потапович, положив, по ее указанию, княжну на постель и рассказав матери Досифее в коротких словах эпизод в доме Бомелия.

— Хорошо, иди, иди, я раздену ее, уложу как следует, а потом к матушке игуменье пойду поклониться, благословение попросить; привратнице надо сказать, чтобы зря по монастырю не болтала. Уж укроем, не тревожься. Пресвятая Богородица охранит ее в своей обители, не даст в обиду врагам. Иди с Богом...

Он не стал дожидаться повторения этого приказанья и вышел.

— Теперь нам лошадей-то не надобно, пешком доберемся, — заметил Григорий Семенович, выслушав рассказ Якова Потаповича о посещении им кельи матери Досифеи.

— Конечно, пешком, оно и безопасливей, — согласился тот.

Григорий Семенович распряг лошадей и пустил их по полю на произвол судьбы.

— А я все же думаю к себе домой понаведаться, посмотреть, что в хоромах княжеских дается... Тебе-то неподручно — со своими встретишься, а я с берега через забор перелезу и погляжу, — заговорил Яков Потапович.

Григорий Семенович ответил не сразу; он, казалось, что-то обдумывал.

— Что ж, иди, понаведайся; только к вечеру на кладбище приходи; дело есть...

— Вестимо, приду в шалаш ночевать, где же мне еще? В доме погляжу, сюда понаведаюсь и приду.

— Не в шалаш, а на кладбище, к могиле, место-то помнишь?

— Помнить-то помню, только зачем же к могиле? — вскинул он на Григория Семеновича удивленный взгляд.

— Говорю, надо... Я там фонарь поставлю, на огонек иди... Не пустовать же гробу, не годится...

— Как не пустовать?.. Что ты говоришь?.. Мне невдомек что-то... — тревожно спросил Яков Потапов.

Григорий Семенович вместо ответа только махнул рукою и пошел к берегу реки, в сторону, противоположную той, куда лежал путь Якову Потаповичу.

— Так приходи! — крикнул он ему издали.

— Приду... — откликнулся тот и проводил его недоумевающим взглядом.

Якову Потаповичу не пришлось перелезть через забор сада князя Василия Прозоровского, так как калитка оказалась отворенною настежь. Он вошел в сад и прошел его. На дворе, так же как и в саду, царила положительно мертвая тишина: не было видно ни одной живой души. У Якова Потаповича инстинктивно упало сердце. Открытые настежь двери людских изб, погребов и сараев, разбитые там и сям бочки и бочонки указывали на то, что дворня разбежалась и что опричники вдосталь похозяйничали во владениях опального боярина. Он понял, что участь князя Василия была решена бесповоротно, что если теперь он еще жив, заключенный в одну из страшных тюрем Александровской слободы, то эта жизнь есть лишь продолжительная и мучительная агония перед неизбежною смертью; только дома безусловно и заранее осужденных бояр отдавались на разграбление опричников ранее, чем совершится казнь несчастных владельцев. Двери дома также не были закрыты. С тяжелым чувством вступил Яков Потапович под кров этого жилища своего благодетеля, где он провел свое детство и юность, где его несчастная сиротская доля освещалась тем светлым чувством любви к той, которая, быть может, теперь, несмотря на старания его несчастной матери, не очнулась от своего глубокого обморока и заснула тем вечным, могильным сном, которым веет и от стен ее родового жилища. Во всех горницах княжеского дома видно было бесцеремонное хозяйничанье непрошенных гостей, вся драгоценная посуда исчезла, черепки разбитых глиняных кувшинов красноречиво говорили о происшедшей пьяной оргии.

Яков Потапович вбежал наверх, на женскую половину. При входе в опочивальню княжны он остановился как вкопанный: у порога лежал обезображенный труп Панкратьевны. Старуха пала под ударами извергов, видимо, охраняя от осквернения и поругания это святилище непорочных девичьих грез и мечтаний своей ненаглядной питомицы — «касаточки-княжны». Он истово осенил себя крестным знамением и даже сам не решился перешагнуть через труп этого верного стража. Не посмели проникнуть туда и опричники, ограничившись убийством старухи, что было видно по господствовавшему, никем не нарушенному порядку в этой комнате княжеского дома. Поклонившись еще раз праху несчастной Панкратьевны, Яков Потапович сошел вниз, осмотрел все комнаты, вышел на двор и обошел вокруг дома, в надежде встретить кого-нибудь из княжеских слуг, но, увы! кроме буквально легкой костьюми верной своему долгу Панкратьевны в доме и во дворе не было никого. Дворня, вероятно, разбежалась, судьба же сенных девушек могла быть еще более печальною. Судя по следам произведенного разгрома, можно было догадываться, какие ужасные, потрясающие драмы могли произойти в этих стенах родового жилища опального боярина, и догадки эти едва ли преувеличивали действительность. Яков Потапович вернулся в сад, прошел к круглой беседке, соединявшей в себе для него столько воспоминаний: отрадных — беззаботного детства и свежих, недавних, мучительно-жгучих — безотрадной юности. Затем он вышел на берег реки и поспешил в монастырь.

«Что с ней? Жива ли она?» — до невыносимой, чисто физической боли ныли в его мозгу

роковые вопросы.

Княжна была жива, но, увы! это известие было далеко не из отрадных: она действительно, попечениями матери Досифеи, была приведена в чувство, открыла глаза, обвела ими окружающую ее обстановку, но ни одна искра сознания не загорелась в них. Она лежала молча и не только словом, но даже жестом не проявила ни малейшего удивления ни к месту ее нахождения, ни к фигуре наклоненной над ней незнакомой монашенки. Искра жизни чуть теплилась в ее слабом теле, но душа уже была освобождена от влияний видимого мира. Княжна очнулась сумасшедшею. Яков Потапович тихо вошел в келью и без слов со стороны матери Досифеи, только глазами показавшей ему на лежавшую в постели княжну, понял эту страшную истину. Он подошел ближе. Княжна скользнула и по нему безучастным взглядом, — она не узнала его.

— Княжна, голубушка, это я... Яков... — простонал он после нескольких минут молчаливого созерцания.

Она, казалось, даже не слышала его. Он схватился за голову и, шатаясь, вышел из комнаты. Мать Досифея последовала за ним и провела его в смежную, никем не занятую келью. Он упал к ней на грудь и зарыдал, как ребенок. Она усадила его на скамью и села рядом.

— Она умрет... она умрет... — прерывистым от несмолкавших рыданий голосом проговорил Яков Потапович.

— Все в воле Господней, Яшенька, все в Его пресвятой воле... Окажет милость свою, к себе призовет — благодарить Его, Всевышнего, надобно... Что ей в жизни-то ожидать, горемычной?.. Не в пример радостнее для любящих проводить ее в обитель горнюю чистую невестою Христовою.

Мать Досифея произнесла это таким искренним тоном глубокой веры и непоколебимого убеждения, что Яков Потапович сразу понял всю неуместность его слез.

«Это слезы не о ней, а о себе... О, подлый себялюбец!» — пронеслось в его голове.

Он провел с ней еще несколько минут в тихой беседе, передал ее подробности своего спасения от смерти и ушел, спокойный за княжну Евпраксию.

«Смерть — ее лучший удел, а может, Господь Бог судил ей и иначе... жить будет... да будет Его святая воля...», — бродили в его голове отрывочные мысли.

Были уже густые зимние сумерки, когда Яков Потапович вышел на двор монастыря. Там и сям по окнам келий замелькали огоньки. Выйдя за ворота, он прибавил шагу. Мысль его остановилась на Григории Семенове, на свидание с которым, назначенное в таких странных, загадочных выражениях, он спешил теперь.

«Что бы это могло значить? Что он задумал? Приходи на кладбище... не пустовать же гробу...» — невольно рождались вопросы и припоминались слова этого несчастного человека.

Что он был только «несчастный», в этом не могло быть ни малейшего сомнения, особенно для Якова Потаповича, находившегося еще под свежим впечатлением выслушанной им утром его искренней исповеди. «Да и маяться мне на белом свете недолго осталось, чай! Спасу княжну и аминь! Нет мне суда людского, сам предстану на суд к Всевышнему», — вдруг пришли на память Якову Потаповичу слова Григория Семеновича, на которые утром он не обратил должного внимания, занятый всецело мыслью о княжне Евпраксии. Он понял все и еще быстрее зашагал по направлению к уже видневшемуся вдали кладбищу. Вот между деревьями блеснул слабый огонек; это горел фонарь, поставленный у могилы казненных

накануне. Яков Потапович бегом пустился на этот огонек, но добежав, несмотря на то, что был приготовлен соображениями во время пути, остановился как вкопанный. Крик ужаса невольно вырвался у него из груди. Часть могилы была разрыта, и в открытом гробу, крышка которого была тщательно положена около ямы, лежал одетый в саван мертвый Григорий Семенович. Почерневшее лицо не оставляло никакого сомнения, что он покончил с собою, приняв громадную дозу сильного яда, того «лихого зелья», что припас он, по его же словам, на свой пай. Яков Потапович простоял несколько минут, растерянным, почти безумным взглядом созерцая эту ужасную картину, затем осенил себя крестным знаменем и поклонился до земли праху покойного. Отдав ему этот последний долг, он закрыл гроб крышкой, засыпал могилу, сровнял могильный холм и, опустившись на колени, стал молиться за душу новопреставленного раба Божия Григория. Утренняя заря застала его в этой горячей молитве.

XX

Слободские зверства

Когда опомнившийся Григорий Лукьянович вместе с Петром Волынским — так мы отныне будем называть мнимого князя Владимира Воротынского — вернулись назад к жилищу Бомелия, чтобы наказать дерзких непрошенных защитников княжны Евпраксии, они застали уже избу «бусурмана» объятою пламенем. Малюта в бессильной ярости заскрежетал зубами и, избегая валившей на пожар толпы народа, окольными путями, в сопровождении своего достойного сообщника, пошел в свои московские хоромы, а оттуда тотчас же оба они уехали в Александровскую слободу, куда, как узнал Григорий Лукьянович, незадолго перед тем уехал и государь. Кровожадный палач, вне себя от клокотавшей в его черной душе бессильной злобы, тешил себя перспективою возможности выместить неудачу своего грязного плана над дочерью на ее беззащитном, отданном в его власть больною волею царя, ни в чем неповинном старике-отце. В тот же вечер князь Василий Прозоровский был подвергнут всем пыткам, какие только мог изобрести этот «изверг человеческого рода». Стоны почти насмерть замученного старика казались чудною мелодией для этого озлобленного, неудовлетворенного в своей животной страсти «человека-зверя».

Прошло около двух недель. Следствие над князем Василием велось Малютой с необычайною быстротою; царю были представлены найденные будто бы в подвалах князя «зелья и коренья» и перехваченная, писанная якобы рукою князя, грамота к князю Владимиру Андреевичу. Читатель, без сомнения, догадывается, что это был лишь гнусный подлог, — дело искусных рук того же бродяги Петра Волынского, недостойная память которого заклеямена летописцами как составителя и другой подложной грамоты, причинившей мучительную смерть тысячам также ни в чем неповинных людей; но не будем забегать вперед: читатель узнает все это в своем месте.

Состояние души Иоанна благоприятствовало замыслам Григория Лукьяновича; он успел нагнать на царя почти панический страх, рисуя перед ним возможность осуществления преступных замыслов со стороны князя Владимира Андреевича, которого царь, по мысли того же Малюты, ласковою грамотою вызвал к себе в гости. Последний не замедлил явиться и, в конце января 1569 года, вместе с супругою и детьми, остановился верстах в трех от Александровской слободы, в деревне Слотине, и дал знать царю о своем приезде. Царь в ответ послал Малюту с опричниками арестовать его по обвинению в замысле на цареубийство. Несчастливого, вместе с женою и двумя юными сыновьями, привели к Иоанну, окруженному опричниками. Они упали к его ногам, клялись в своей невинности, просили дозволения постричься.

— Вы хотели умертвить меня ядом; пейте его сами... — отвечал Иоанн.

Бомелий поднес князю Владимиру чашу с отравой, тот отстранил ее рукой.

— Не наложу рук на себя, не возьму на свою душу тяжкого греха самоубийства.

— Не мы себя, но мучитель отравляет нас: лучше принять смерть от царя, нежели от палача,
— с твердостью заметила князю его супруга, княгиня Евдокия.

— Ты говоришь правду! — воскликнул он. — Прощай, дорогая, да простит мне Бог.

Он выпил яду. Его примеру последовали княгиня Евдокия и оба сына. Они вместе стали молиться под насмешливыми взглядами царя и сонма кромешников. Яд начинал действовать. Иоанн и опричники были свидетелями их мучений и смерти.

— Вот трупы моих злодеев! Вы служили им; но из милосердия дарую вам жизнь, — сказал царь призванным боярыням и служанкам княгини Евдокии.

— Мы не хотим твоего милосердия, зверь кровожадный! Растерзай нас! Гнушаясь тобою, презираем жизнь и муки! — воскликнули те, увидав мертвые тела своих господ и бросившись обнимать их со слезами.

Иоанн велел обнажить и расстрелять дерзких. Мать князя Владимира, престарелая монахиня Ефросиния, была умерщвлена вскоре после сына — ее утопили в реке Шексне.[17] Костромские начальники, допустившие оказать чересчур радушный и пышный прием со стороны народа князю Владимиру Андреевичу, о чем царь узнал из грамоты воеводы Темникова, полученной, если не забыл читатель, в день назначенного обручения княжны Евпраксии, были вызваны в Москву и казнены гораздо ранее. Царь был мрачен и озлоблен; мучительные бессонные ночи сменялись не менее тревожными днями, тянувшимися необычайно долго как для царя, так и для его приближенных, трепетавших ежеминутно за свою жизнь. Один Малюта чувствовал себя превосходно и действовал с неутомимой энергией среди зловещей тишины, наступившей после этой братоубийственной казни. Он готовил опьяненному убийствами царю новую кровавую забаву, решив, что после смерти «старого князя», как называли современники Владимира Андреевича, наступила очередь и для окончательной расправы с его мнимым сообщником, князем Василием Прозоровским, временно как бы забытым в мрачном подземелье одной из слободских тюрем.

По внешности порядок жизни в Александровской слободе не был ничуть нарушен роковыми событиями; она текла своим обычным чередом; общие молитвы сменялись общими трапезами, граничащими с оргиями, от которых снова переходили к молитвам. К одной из таких трапез был приглашен и князь Никита Прозоровский, с которого царь снял опалу. Во главе посольства, отправленного к князю с этою царскою милостью, стоял сам Григорий Лукьянович Малюта Скуратов. Князь Никита встретил царское посольство, по обычаю, у ворот своего дома.

— Князь, — сказал Григорий Лукьянович, — великий государь прислал меня к тебе с свои царским указом: царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси слагает с тебя гнев свой и сымает с главы твоей царскую опалу и прощает тебя во всех твоих виновностях...

Измученный неизвестностью, трепеща ежедневно за свою жизнь и свободу, трусливый князь Никита воспрянул духом и не обратил внимания, что князь прислал к нему с милостью Малюту, а не родового боярина, что считалось в то время умалением чести. Мы знаем, впрочем, что в вопросах о последней хитрый царедворец был куда покладистее своего брата.

— Да благословит же Господь и чудотворцы московские нашего великого государя, —

произнес он дрожащим голосом, — и продлит Всевышний без счета его царские дни... Войди в дом мой...

Малюта вошел вместе с прибывшими с ним опричниками. Все уселись на лавках в передней избе. Слуги стали обносить гостей заморским вином в драгоценных кубках. Хитрый князь Никита, зная происшедшее в доме его брата, ни слова не спросил об участи последнего и своей племянницы. Григорий Лукьянович заговорил об этом первый:

— Неизреченна, князь, к тебе милость великого государя, не внял он наговорам на тебя брата твоего, подлого изменника, что вместе, будто бы, замышляли вы извести его, великого государя, и передаться, ныне покойному, князю Владимиру Андреевичу, царство ему небесное.

Он истово перекрестился и пристально посмотрел своими раскосыми глазами на князя Никиту. Тот задрожал при этом известии.

— Пусть сам он, сказал великий государь, — продолжал Малюта, — накажет низкого лгуна, отрекшись от него, как от брата, доказавши тем мне свою верность... Как древле Господь, Царь небесный, повелел Аврааму заколоть сына своего Исаака, так ныне и я, царь земной, повелю ему заколоть брата его, и этим, так же как Господь Авраама, испытаю его послушание воли моей... Как думаешь, Лукьяныч, спросил меня государь, не обманусь ли я в нем? Заступился я тут за тебя и уверил царя-батюшка, что не выйдешь ты из воли его.

— Убить брата!.. — в ужасе воскликнул князь Никита.

— Смекаю я, что только испытать тебя хочет, а до того не дойдет, — спокойно отвечал Григорий Лукьянович и вдруг остановил на нем свой пытливый взгляд, — А если бы и так? — медленно начал он снова, после некоторой паузы. — В години бедствий мужи древности, преданные отечеству, для блага последнего, не содрогаясь проливали кровь своих родичей: отец не щадил сына, брат — брата; так ужели в нас, русских, нет римской доблести?.. Сам великий государь показал нам пример ее; с сокрушенным сердцем, со слезами отчаяния на глазах, предал он смерти своего ближайшего родственника — князя Владимира Андреевича, уличенного в том, что, подкупив царского повара, он замышлял отравить царя, а твой брат должен был дать для того нужное зелье, которое и найдено в одном из подвалов его дома... Царь явил нам в этом деле истинное величие. «Казню его не за замысел на мою жизнь, а на жизнь царя всея Руси; за себя бы я простил ему, но не могу допустить за Россию», — сказал мне великий государь, отправляя в Слотино. Что скажешь ты на это, князь Никита?

Наступило на минуту тяжелое молчание. Наконец князь Никита встал и поклонился Малюте поясным поклоном.

— Благодарствуй, Григорий Лукьянович, — начал он подавленным голосом, — что молвил за меня доброе слово перед государем. Не ошибся ты во мне, душу свою не задумаюсь я погубить за царя моего...

— Добрый ответ, царю по нраву придется, передам!.. — поднялся с лавки Малюта. — Завтра ждет тебя царь к трапезе.

Он вышел вместе с поднявшимися вслед за ним остальными опричниками. Князь Никита проводил гостей до крыльца. Только когда посланные царя выехали за ворота, он вспомнил, что не спросил у Малюты, куда девалась княжна Евпраксия.

«Впрочем, он не сказал бы. Да и чем теперь могу я помочь ей и брату? Самому-то только впору живым уйти, — успокоил он самого себя. — А как на самом деле заколоть его велит своими руками?»

Холодный пот выступил на его лбу.

«Нет... не может быть... испытывает»... — гнал он от себя эту страшную мысль.

Он чувствовал, что не в состоянии будет отказаться исполнить эту царскую волю: жизнь была еще слишком дорога для этого себялюбца.

Когда князь Никита Прозоровский прибыл на другой день в Александровскую слободу и вошел во дворец, палаты были уже полны опричниками, столы накрыты, но царь еще не выходил. Оглядевшись кругом, князь увидал, что кроме него не было ни одного земского, и самодовольно улыбнулся: он полагал, что царь оказывает ему особую честь. Вскоре зазвонили дворцовые колокола, затрубили трубы и Иоанн вошел в палату вместе с чудовским архимандритом Левкием, Василием Грязным, Алексеем Басмановым, Афанасием Вяземским, Борисом Годуновым и Малютой Скуратовым. Приняв и отдав поклоны, он сел за свой прибор, а остальные опричники разместились по чинам. Князя Никиту царь допустил к руке и усадил рядом с собой по правую руку. Все это Иоанн делал с какою-то загадочною усмешкою на устах. Князь Никита сиял от удовольствия воздаваемой ему чести, не замечая выражения царского лица. Трапеза началась.

— Не перевелись у меня и между боярами верные слуги, не перевелись на святой Руси и люди, не уступающие в доблести героям римским и эллинским, — заговорил царь, искоса поглядывая на князя Никиту. — Одного из них чествуем мы ныне всей братией — это князь Никита. Не в брата своего пошел он: тот замыслил известить меня и род мой наговорными зельями и кореньями, которые и найдены были у него приставами, отослал свою дочь с верными слугами и грамотою к Сигизмунду-Августу, сносился изменническими грамотами с ворогом моим, князем Владимиром, да упокоит Господь его душу в селениях праведных, — Иоанн набожно перекрестился. Все последовали его примеру. — Одна из этих грамот была перехвачена, — продолжал царь, — и оказалась писанною его рукою; он сам подвергнут пытке, но оговорил только одного брата, а чтобы не выдать остальных друзей своих, откусил себе в преступном упорстве язык...

Царь умолк. Он повторял небылицы, сообщенные ему Малютою, который, боясь, чтобы Иоанн, зная о красоте княжны Евпраксии, не потребовал ее к себе, измыслил известие об отсылке ее отцом к Сигизмунду, а дабы царь не учинил сам допроса арестованному князю Василию, Григорий Лукьянович при первой же пытке отрезал ему язык, уверив царя, что князь откусил его себе сам из преступного упорства. Иоанн пока еще безусловно верил своему любимцу, и пыточные свитки, составленные дьяками, подтверждали донесения последнего. Не ведал царь, что дьяки писали их под диктовку Малюты.

— Мы не поверили оговору уличенного изменника, — снова начал царь, — возвратили милость нашу князю Никите с условием, чтобы он очистил себя на наших глазах, заставил бы замолкнуть в себе голос крови и, принеся братскую любовь в жертву любви к царю и отечеству, собственноручно, на наших глазах, наказал бы изменника... Он принял наше условие... Так ли, князь Никита?

— Так, великий государь, — дрожащим голосом ответил тот. — Для меня твоя воля, что Божья — равна...

Он встал и поклонился царю до земли. Трапеза между тем окончилась. Слуги продолжали только наполнять кубки искрометным вином.

— Дай сюда нож, Лукьяныч! — обратился Иоанн к Малюте.

Последний вынул из ножен отточенный нож и подал царю.

— Вручаю тебе орудие казни, но прежде повтори за мной слова присяги опричников. Ты не раз сам похвалялся, что превзойдешь их всех в преданности мне. Готов ли?

— Готов, великий государь! — подавленным шепотом произнес князь Никита.

Иоанн торжественно прочел слова присяги, с особенным ударением произнося слова: «Паче же исполняти ми не сумняся и не мотчав всякое царское веление, ни на лица зря, ни отца, ни матери, ни брата...», и вручил нож. Князь Никита принял его дрожащими руками. Он был бледен как полотно, но старался казаться спокойным. Сцена была настолько тяжела, что всем опричникам было не по себе. Все груди были стеснены, как бы перед наступающей грозой. Никто не решался взглянуть на царя и князя Никиту. Самому Малюте — автору этой потрясающей драмы, было неловко.

— Ввести изменника! — приказал царь.

В ту же минуту двери палаты отворились, и двое ратников ввели под руки князя Василия. Одетый в сермяжный кафтан, он был неузнаваем. Это был буквально скелет, обтянутый кожей, и только одни глаза, казалось, приобрели еще больше прелести от перенесенных их обладателем физических и нравственных мук. Они смотрели открыто, прямо и были поистине зеркалом честной души. Он обвел ими присутствующих. Остановившись на князе Никите, они загорелись радостным огнем. Князь Василий даже сделал по направлению к нему слабое движение и, видимо желая что-то сказать, полуоткрыл рот, но в нем вместо языка виднелся окровавленный кусок мяса. Несчастный болезненно застонал. Зрелище было до того потрясающее, что даже у некоторых из опричников вырвался сдержанный крик ужаса. Князь Никита, казалось, замер с ножом в руках. Сам Иоанн вздрогнул.

— Исполни! — крикнул он князю Никите.

Тот не шевелился.

— Исполни... — повторил царь.

— Государь... пощади... — простонал князь Никита.

— Исполни... коли не одного поля ягода!.. — вскипел Иоанн гневом и вскочил с кресла.

Князь Никита вздрогнул, лицо его исказилось страшными судорогами, он подскочил к брату и с невероятною силою вонзил ему нож в горло по самую рукоятку... Ратники выпустили из рук бездыханный труп, шум от падения которого гулко раздался среди наступившей в палате мертвой тишины. Братоубийца обвел присутствующих помутившимся взглядом, дико вскрикнул и упал без чувств рядом со своею жертвою...

XXI

Вещий сон исполнился

Григория Лукьяновича продолжала душить чудовищная, дьявольская злоба. Его не удовлетворили даже изобретенные и выполненные им описанные уже нами слободские зверства, сплошь залившие кровью страницы русской истории, и не только наложившие вечное позорное пятно на память изверга Малюты, но и заклеившие перед судом потомства несчастного, психически больного царя страшным именем «братоубийца». Повторяем, Григория Лукьяновича не удовлетворяло и это, — он искал новых жертв, на которых мог бы выместить клокотавшую в его душе злобу, и готовил находившемуся в то

время всецело под его влиянием Иоанну небывалую, колоссальную кровавую жатву. Время этой жатвы, впрочем, еще не пришло. Подобное настроение этого «человека-зверя» давало себя знать его подчиненным, семейным и в особенности тем несчастным, которые томились в слободских тюрьмах и ждали смерти, как милости Всемогущего Бога. Трагическая смерть князя Василия Прозоровского и болезнь князя Никиты, увезенного в Москву почти в бессознательном состоянии, не могли уменьшить в душе Григория Лукьяновича ненависть к роду Прозоровских, последняя представительница которого, княжна Евпраксия, так таинственно и загадочно, а главное — так неожиданно ускользнула из искусно и обдуманно расставленной ей западни. Несмотря на то, что он с Петром Волынским вернулся, как мы видели, к дому Бомелия с целью наказать разрушителей их гнусного плана, оба они, с одной стороны отдавая дань общему суеверию того времени, а с другой — лично усугубляя это суеверие сознанием своих, достойных неземной кары, преступлений, — сознанием, присущим, волею неба, даже самым закоренелым злодеям, — были почти уверены, что помешавший им совершить насилие над непорочной княжной был действительно мертвец — выходец с того света. Этою-то уверенностью и объясняется боязнь Малюты предпринимать что-либо для розысков канувшей как в воду княжны, искать которую так близко — в московском монастыре — он не мог и додуматься. Да и кому поручил бы он эти розыски? Тимофей Хлоп и Петр Волынский посланы были им в Новгород, где последний, под наблюдением первого, должен был положить тайком за ризу иконы в Софийском соборе подложную изменную грамоту великого Новгорода на имя польского короля о защите, покровительстве и взятии под свою власть. Эта, окончившаяся пагубно и для Новгорода, и для самого грозного опричника, затея была рассчитана, во-первых, для сведения старых счетов «царского любимца» с новгородским архиепископом Пименом, которого, если не забыл читатель, Григорий Лукьянович считал укрывателем своего непокорного сына Максима, а во-вторых, для того, чтобы открытием мнимого важного заговора доказать необходимость жестокости для обуздания предателей, будто бы единомышленников князя Владимира Андреевича, и тем успокоить просыпавшуюся по временам, в светлые промежутки гнетущей болезни, совесть царя, несомненно видевшего глубокую скорбь народа по поводу смерти близкого царского родича от руки его венценосца, — скорбь скорее не о жертве, неповинно, как были убеждены и почти открыто высказывали современники, принявшей мученическую кончину, а о палаче, перешедшем, казалось, предел возможной человеческой жестокости. Царь не любил Новгорода, не забывшего своих прежних вольностей, и считал этот город гнездом изменников, а потому план Малюты мог быть удачно выполнен. Так размышлял он и, как увидим дальше, не ошибся. Подготовительные работы для доказательства измены целого города начались уже давно. Как только мнимый князь Воротынский был арестован в доме князя Василия и увезен в слободу, то обратившись снова в бродягу Петра Волынского, или Волынца, засел в доме Малюты за подделку как грамоты от князя Прозоровского к князю Владимиру Андреевичу, так и приговора о сдаче Новгорода и подговора князя Владимира на правление в этом городе. На эту мысль навел Григория Лукьяновича его достойный наперсник — Тимофей Хлоп, прочитавший в хартийном летописце, что за сто лет перед тем клеветники новгородские перед Иваном III употребили в дело подобное же доказательство мнимой измены ему отчины святой Софии. Гнев государя разразился тогда больше над духовенством, в руках которого было заведование храмами, и следовательно, нахождение в церкви грамоты, подтверждающей донос, могло быть только при участии духовных властей в воровском деле. Это совершенно согласовалось с первой частью плана Малюты — отомстить архиепископу, и он от радости бросился обнимать своего верного Тимошку. В лице Петра Волынского явился искусный исполнитель этого плана; он был, как оказалось, большой мастак снимать противни[18] с подлинных подписей. Тимошка Хлоп поскакал в Новгород, достал, подкупивши подьячих, множество приговоров из разных мест с рукоприкладством архиепископа и других значительных лиц города, и привез их в слободу. Работа закипела. Противни сквозь масляную бумагу посредством припорошки сажицей проходимец Петр выполнил безукоризненно. Грамоту в черняке много раз читал и выправлял он вместе с Малютой и, наконец, оба они остались довольны исполнением кропотливой работы. Об этой-то работе и рассказывал покойный Григорий Семенов Якову

Потаповичу, передавая ему, что мнимого Воротынского, вместо тюрьмы, привезли в дом Малюты, отвели ему горницу, где он все писал что-то да с Лукьянычем по ночам беседовал. Для окончания этого «адского дела» и отправились оба верные помощника «царского палача» в Новгород.

Прошло уже достаточно времени, чтобы они могли обернуть назад в слободу; между тем день проходил за днем, а они не возвращались. Григорий Лукьянович находился в сильнейшем страхе и беспокойстве. Наконец, дня через три после смерти князя Василия Прозоровского, во двор дома Малюты в александровской слободе вкатила повозка и из нее вышли оба его наперсника. Григорий Лукьянович находился в известной уже читателям своей отдельной горнице и, увидав в окно приезжих, сам бросился отворять им дверь.

— Ну, что, благополучно? — с тревогою в голосе спросил он, впустив их в горницу.

— Все благополучно, боярин! — в один голос отвечали Петр и Тимофей.

— Что же так долго?

— Нельзя было скорее-то... Скоро-то не бывает споро! — заговорил один Петр. — Я, может, раз десять в собор забегал, пока улучил удобное время. Хорошо еще, что там золотили и красили иконостас, так я и прокрался незаметно за леса и свешанные с них рогожи, а когда рабочие ушли обедать и заперли собор, выдернул, не торопясь, целый ряд шпилек, придерживавших ризу на иконе Успения Пречистыя Богоматери, отогнул толстый лист золотой басмы и, вложив туда грамоту, заколотил снова тщательно все шпильки. Окончив дело, я лег между гробницами и пролежал до вечерни, а после ее окончания выскользнул из собора вместе с богомольцами.

— Никто не приметил? — спросил Малюта.

— Кому приметить? Не для того делалось... Оттого и долго, — отвечал Волинский.

— Уж будь без сумления, боярин, дело чисто сделано, комар носу не подточит, — вставил свое слово Тимофей.

— Коли так, большое вам спасибо, — облегченно вздохнул Григорий Лукьянович. — Награду получите больше обещанной.

Оба наперсника низко поклонились и вышли. Малюта остался один, сел на лавку и задумался. Успокоившись относительно открытия грандиозной измены, за которое он рассчитывал получить наконец боярство, так долго и так тщетно им ожидаемое, грозный опричник снова вспомнил об ускользнувшей из его рук княжне Евпраксии, и снова буря неудовлетворенной страсти поднялась в его черной душе.

«Поручить разве Тимофею поискать ее? Малый он не промах, может найдет, коли не сгорела, или»...

Он не dokonчил суеверной мысли.

«А может где и поблизости схоронилась?»

Григорий Лукьянович захлопал в ладоши.

— Позвать сюда Тимофея Иванова! — отдал он приказание появившемуся на зов слуге.

Княжна Евпраксия медленно угасала. Жизнь, казалось, с сожалением покидала это чистое,

все еще прекрасное, хотя и исхудалое до неузнаваемости тело. Сознание окружающей обстановки не появлялось ни на минуту. Своими прекрасными, но безжизненными глазами, производящими странное, потрясающее впечатление именно этим отсутствием всякого сознательного выражения, глядела она на всех проходящих в келью матери Досифеи справиться о здоровье таинственной больной, так как никто в монастыре, кроме самой Досифеи и матушки игуменьи, не знал, кто эта больная. Несмотря на это, все сестры сердечно жалели бедную девушку и ежедневно воссылали искренние теплые мольбы к Всевышнему о ее выздоровлении. Но Господь, видимо, судил иначе. Княжна не поправлялась, но, напротив, слабела день ото дня. Яков Потапович, скрывавшийся в лесном шалаше, ежедневно приходил в келью матери Досифеи и по несколько часов просиживал у изголовья дорогой для него больной. Она продолжала не узнавать его. В тот самый день, когда Григорий Лукьянович задумал поручить Тимофею Иванову розыски княжны Евпраксии, Яков Потапович, движимый каким-то тяжелым предчувствием, ранее обыкновенного пришел в Новодевичий монастырь. Мать Досифея сообщила ему, что больная провела беспокойную ночь, не смолкая, бессвязно бредила, да и теперь находится в каком-то странно, небывалом, тревожном состоянии, несмотря на то, что приобщилась Святых Тайн. Действительно, княжна металась на постели, дико блуждая вокруг себя бессмысленным, стеклянным взглядом. Яков Потапович подошел к ней. Вдруг она остановила на нем свои глаза, в которых на мгновение мелькнул огонек полного сознания, схватила его руку и явственно прошептала:

— Яшенька...

Это было первое слово, произнесенное княжной за время ее болезни. Яков Потапович стремительно наклонился к княжне, думая услышать еще раз этот милый его сердцу голос, но, увы! она конвульсивно вздрогнула и вытянулась. На постели лежал труп. Произнесение его имени совпало с ее последним вздохом. Что хотела сказать несчастная девушка не менее несчастному, безгранично любившему и любящему ее человеку, — осталось тайною, унесенною ею в могилу. Он не сразу понял эту страшную истину, а лишь через несколько минут безмолвного созерцания покойной с глухими рыданиями упал на ее, еще не остывший, труп. Через два дня скромный дощатый гроб с бренными останками княжны Евпраксии, после заупокойной литургии и отпевания, был опущен в могилу на монастырском кладбище. У могильного холма долее всех остался Яков Потапович, в горячей молитве искавший утешения в постигшем его последнем страшном горе. Молитва укрепила его. Он встал с колен и тихо побрел за монастырские ворота. Отошедши на некоторое расстояние от монастыря, он обернулся. Был светлый зимний день. Солнечные лучи весело играли на куполах монастырских церквей и заливали ярким светом стены святой обители инокинь. Яков Потапович вспомнил свой сон. «Исполнился!» — пронеслось в его голове.

XXII

Отцеубийца

В царской опочивальне была такая тишина, что казалось можно было бы слышать полет мухи. Царь в глубокой думе полулежал в кресле за шахматным столом, а против него, затаив дыхание, сидел князь Афанасий Вяземский. Вдруг дверь с шумом отворилась и в комнату стремительно вошел Малюта Скуратов. Вяземский быстро вскинул на него глаза, как бы удивляясь его смелости, но тотчас же, по торжествующему выражению его лица, догадался, что он пришел с какою-нибудь важною новостью. Выражение зависти сменило в глазах князя выражение удивления. Малюта с торжеством посмотрел на князя, которого терпеть не мог за умственное превосходство над собой и как своего главного соперника в царской любви. Иоанн восторженно встретил при шумном входе любимца и окинул его с головы до ног своим

мрачно-орлиным взглядом. Григорий Лукьянович обыкновенно не мог выносить этого жгучего и гневного взгляда, но теперь выдержал его и произнес глухим голосом:

— Великий государь, я пришел доложить тебе важное дело.

— Говори! — резко кинул ему царь.

Малюта взглянул было в сторону князя Вяземского, но заметя нетерпеливый жест Иоанна, продолжал:

— В Новгороде замышляют измену; архиепископ и именитые люди хотят передаться Сигизмунду-Августу.

Царь вскочил с кресла как ужаленный и глубоко вонзил в пол острие своего костыля. Шахматный столик с шумом полетел на пол. Вяземский бросился поднимать его и подбирать рассыпавшиеся шахматы. Иоанн дрожал всем телом. Гнев, ярость и злоба попеременно отражались на его лице. Несколько времени он не был в силах произнести слова и лишь немного оправившись прохрипел:

— Измена?.. Доказательств!..

— Царь, они есть, прикажи говорить.

— Говори!

Григорий Лукьянович сообщил о подложных грамотах, как об известии, привезенном ему Петром Волынским. Молча, не прерывая рассказа, выслушал его царь и вскрикнул, сверкая глазами:

— Сейчас ко мне Волынского!

Малюта не замедлил представить своего сообщника. С сверкающими необычайно яростью глазами, с трясущимися губами и грозно нахмуренным лбом выслушал царь доносчика.

— Изменники, вы дорого поплатитесь! Не будет пощады никому; огнем и мечом истреблю крамольный дух! Я покажу, как карает московский царь измену! — в страшном гневе воскликнул Иоанн.

Петр Волынский стоял перед ним с помертвелым от страха лицом. Вяземский и Малюта молчали.

— Ты, Григорий, — обратился царь к последнему, — съезди сам с ним, — он рукой указал на доносчика, — разузнай на месте под рукою все дело и привези ко мне изменные грамоты.

— Слушаю, государь! — отвечал Григорий Лукьянович и с низким поклоном удалился из опочивальни, уведя с собою и Петра.

На другой же день Малюта с Волынским и десятком опричников уже катили в Новгород, куда и прибыли через два дня. Велико было смущение жителей города и его именитых граждан, когда в их присутствии в Софийском соборе, их же выборный староста Плотницкого конца, муж сановитый и пользовавшийся общим почетом в городе, вынул, по указанию Петра Волынского, из-под ризы иконы Богоматери бумажный столбец, который, когда, по приказанию Григория Лукьяновича, тот же староста стал читать, оказался изменнической грамотою. Всех сразу поразила форма какого-то договора с кем-то. Удивление слушавших росло с каждым словом никому неведомых условий, заключенных будто бы от имени отчины святой Софии с польским королем Жигмонтом о предании великого Новгорода ему, ляхскому владыке.

— Да это совсем неподобное дело... — прошептал про себя сам читавший свиток и бросил его.

— Читай! — крикнул с яростью Малюта. — Не кончил еще... не все...

Страх сковал уши слушавших длинный перечень рукоприкладств. При произнесении своего имени, каждый из присутствовавших невольно вздрагивал.

— Посмотрите поближе подписи, похожи ли на ваши? — спросил Григорий Лукьянович.

— Мы не писали, а подписи сходны... — слышались ответы.

— Так и доложу государю! — заметил Малюта, пряча свиток.

Он вышел вместе с Петром из собора и в тот же день уехал обратно в Александровскую слободу. По дороге, в Твери, он остановился, вспомнив, что в Тверском Отрочьем монастыре заключен бывший митрополит Филипп, сверженный по проискам новгородского архиепископа Пимена. Григорий Лукьянович думал найти в нем свидетеля против последнего, но святой старец не оправдал его ожиданий и отказался даже отвечать на его вопросы.

Рассвирепевший злодей кинулся на беззащитного больного старика, схватил его за горло и задушил. Выйдя из кельи Филиппа, он еще счел необходимым раскричаться на монахов и настоятеля:

— Эк вы, как жарите печи в келье старцевой! Никак уж уходили его в чаду? Вошел я к нему, говорю — не слышит. Подошел, глядь — он не дышит. Государь как узнает — разгневается.

В ужасе никто не думал возражать страшному душителю, пускавшему в ход явную ложь. Игумен и старцы только руками развели, поспешив с приготовлением к погребению, которое и было совершено в присутствии убийцы, и тело великого иерарха российской церкви опущено было в могилу, вырытую за алтарем. Григорий Лукьянович на другой же день был в слободе. Его доклад царю решил участь Новгорода. Иоанн, вместе с сыном, царевичем Иоанном, со всем двором, с своею любимую дружиною выступил из Александровской слободы и через Москву пошел на Новгород. Это было буквально смертоносное шествие: попутные города: Клин, Гродня, Тверь, Торжок, Вышний Волочек и все места до Ильменя — были опустошены огнем и мечом, города ограблены, а жители убиты. Все они без суда были обвинены в предательстве, измене и сообщничестве с покойным князем Владимиром Андреевичем. Всякого, кто встречался на дороге, также убивали, так как поход Иоаннов должен был быть тайной для России. Среди многочисленных ратников, составлявших смертоносный царский легион, был никому неизвестный, ни с кем не разговаривавший угрюмый опричник, следивший взглядом безграничной ненависти за Малютой Скуратовым. Многие из ратников перешептывались о новичке, но, занявшись своею кровавою работою, позабыли о незнакомом им странном товарище. Во время побоища в Торжке между прочими были перебиты и находившиеся там крымские пленники, которые, однако, дорого продали свою жизнь и отчаянно защищались, отступая за город. Их преследовали, окружили под Торжком и перебили, но в свалке одним из крымцев был тяжело ранен Григорий Лукьянович, предводительствовавший отрядом извергов. Ратники сочли его убитым и возвратились в город, оставив его лежащим среди поля между мертвыми крымцами и несколькими опричниками-ратниками. Из живых остался один загадочный опричник. Он наклонился над полумертвым Малютой.

— Пить... — произнес тот, мучимый жаждою.

— Недостаточно напился ты людскою кровью? — глухим голосом произнес Яков Потапович.

Это был он, переодетый в одежду Григория Семенова, оставленную им в лесном шалаше.

Малюта открыл глаза.

— Мертвец... — почти вскрикнул он. Панический страх придавал ему силы, он даже приподнялся на локте.

— Довольно жить тебе на мученье других! — вскрикнул Яков Потапович и ударил его ножом в грудь.

Григорий Лукьянович упал, но успел произнести:

— Ты сын мой... сын княжны Кубенской! — и захрипел...

Громовой удар из ясного неба не произвел бы такого сильного впечатления на несчастного Якова Потаповича, как эти слова умирающего. Он на несколько минут как бы окаменел, затем бросил окровавленный нож и пустился бежать в поле.

— Отцеубийца... отцеубийца... — раздавалось в его ушах, и ему казалось, что это страшное слово произносилось разными голосами гнавшейся за ним толпы.

Он бежал все дальше и дальше...

Малюта не умер. По приказанию царя, он был разыскан и мертвый привезен в город. Искусство Бомелия и сильная натура взяли свое, и через несколько месяцев он оправился совершенно. Смерть, казалось, бежала от человека, жившего смертью. Разгром Новгорода — дело его адских замыслов — произошел без его участия. Не станем описывать ужасных сцен, происходивших на улицах злосчастного города. Полумертвый «любимец», по влиянию на царя, был страшнее живого, — раздраженный царь не знал пределов жестокости. Перо отказывается описывать эти ужасы, скажем лишь, что после окончания кровавой расправы и отъезда государя во Псков, все, еще живые, духовенство, миряне, собрались в поле, у церкви Рождества Христова, служить общую панихиду над тамошнею скудельницею, где лежало десять тысяч неотпетых христианских тел. В это число не входили потопленные в Волхове, тела которых буквально запрудили реку.[19] Псков избежал участи своего «старшего брата», как когда-то именовался Новгород. Утомился ли сам Иоанн видом потоков лившейся крови, или же был испуган угрозами и предсказаниями старца Салоса-Николы, с которым долго беседовал в келье, — вопрос этот остался открытым, но Псков, родина Великой Ольги, был пощажён грозным царем.

— Иступите мечи о камень! Да перестанут убийства! — сказал Иоанн.

И эти слова золотыми буквами должны быть занесены на скрижали русской истории этого кровавого периода.

XXIII

Послесловие

Хотя болезнь Григория Лукьяновича, как мы уже заметили, и не разрушила его планов, и враги его: архиепископ Пимен, печатник Иван Михайлович Висковатый, казначей Никита Фуников, Алексей Басманов и сын его Феодор, Афанасий Вяземский — последние трое бывшие любимцы государя — погибли вместе с другими страшною смертью, обвиненные в сообщничестве с покойным князем Владимиром Андреевичем и в участии в измене

Новгорода, но звезда Малюты за время его отсутствия сильно померкла: появился новый любимец — хитрый и умный Борис Годунов, будущий венценосец. Царь стал косо поглядывать на Григория Лукьяновича.

Прошло два года. Видя невозможность вернуть свое влияние на царя, Григорий Лукьянович отпросился к войску, думая воинскими подвигами добыть не дававшееся ему боярство, но вместо него нашел себе смерть при осаде крепости Виттенштейна в Эстонии. Узнав об этом, царь, как повествует Карамзин, «изъявил не жалость, но гнев и злобу: послав с богатою вкладою тело Малюты в монастырь святого Иосифа Волоцкого, он сжег на костре всех пленников, шведов и немцев, — жертвоприношение, достойное мертвеца, который жил душегубством». По неисповедимой воле Божественного Промысла, в том самом монастыре, где было похоронено тело Малюты, нашел себе, за два года перед тем, приют его побочный сын — Яков Потапов. Он принял схиму под именем Пимена и наложил на себя искус молчания, выдержанный им до самой смерти. Он умер в глубокой старости.

Могила княжны Кубенской, в инокинях матери Досифеи, умершей через три года после княжны Евпраксии, находится рядом с могилою последней на кладбище Новодевичьего монастыря. Каменные плиты, с полуистертыми надписями, сохранились до настоящего времени.

Князь Никита Прозоровский, после совершения своего страшного преступления, прожил всего несколько недель и покончил с собой самоубийством. Мучимый угрызениями совести, он за громадную сумму купил у Бомелия зелье, освободившее его от жизни нового Каина.

Что случилось с наперсником Малюты бродягою Петром Волынским — неизвестно. Пошло ли ему впрок золото, данное Григорием Лукьяновичем за его страшную миссию, или же измученный угрызениями совести, все-таки нет-нет да просыпавшейся, как, вероятно, помнит читатель, в этом молодом, но глубоко испорченном, загадочном человеке, он еще при жизни получил за свои преступления должное возмездие — неизвестно. Летописцы, заклеив его презрением, не следили за его судьбой.

Примечания

1

Воинам — подлинное выражение князя Курбского.

2

Советники — подлинное выражение князя Курбского. —

(Прим. автора)

3

«Стужать» — надоедать — выражение летописца. —

(Прим. автора)

4

Горячкой. Название того времени. —

(Прим. автора)

5

Без замедления. Канцелярское выражение XVI ст.

6

Порох.

7

«Царский суд», историческая повесть Н. Петрова.

8

Стрелков.

9

То есть валом.

10

Горячки. —

(Прим. автора)

11

С. М. Соловьев. «История России с древнейших времен», т. VI.

12

Н. М. Карамзин. «История Государства Российского», т. IX.

13

Там же.

14

Столбами. Выражение летописца. —

(Прим. автора)

15

Н. Петров. «Царский суд».

16

Травой от порчи. —

(Прим. автора)

17

Н. М. Карамзин. «История Государства Российского», т. IX.

18

Копии. —

(Прим. автора)

19

Н. М. Карамзин. «История Государства Российского», т. IX.